

АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ

Проблема «Россия и Европа»
в русских литературных путешествиях
(Фонвизин – Карамзин – Достоевский)



АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ

Проблема «Россия и Европа»
в русских литературных путешествиях
(Фонвизин – Карамзин – Достоевский)



UNIVERSITY OF TARTU

Press

Отделение славистики колледжа иностранных языков и культур
Тартуского университета

Диссертация допущена к защите на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе 3 октября 2022 г. решением совета колледжа иностранных языков и культур Тартуского университета.

Научный руководитель: Любовь Киселева, PhD, профессор-эмеритус по русской литературе

Оппоненты: Мария Плюханова, ординарный профессор по славистике, Перуджинский университет, Италия

Татьяна Смолярова, ассоциированный профессор кафедры Славянских языков и литератур Университета Торонто, Канада

Защита состоится 18 ноября 2022 года в 14.15 в зале Сената в главном здании Тартуского университета (Юликооли 18–204)

ISSN 1406-0809 (print)
ISBN 978-9916-27-040-0 (print)
ISSN 2806-2493 (pdf)
ISBN 978-9916-27-041-7 (pdf)

Copyright: Andrei Solovev, 2022

University of Tartu Press
www.tyk.ut.ee

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. «Россиянин в Париже»: встреча с Европой	16
1.1. Модель «встречи с Европой» в текстах первой половины XVIII века	18
1.2. О пользе и вреде путешествий	29
1.3. От критики нравов к проблеме национального характера	34
Итоги первой главы	39
Глава 2. Пристрастность как прием: «Письма из Франции» Д. И. Фонвизина	42
2.1. Модель «Россиянин в Париже» у Фонвизина	45
2.2. «Философы нынешнего века» у Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина	65
2.3. Субъект и объект «Писем из Франции»: итоги моделирования	73
Итоги второй главы	87
Глава 3. «Наивный путешественник» у Н. М. Карамзина и Ф. М. Достоевского	89
3.1. Путешественник Карамзина и позиция автора. Повествователь и адресаты	91
3.1.1. Организация повествования у эпигонов Карамзина	97
3.1.2. Субъект «Писем русского путешественника». «Русский» путешественник	105
3.2. «Наивный путешественник» как модель	110
3.3. Модель «наивного путешественника» у Достоевского	115
Итоги третьей главы	127
Глава 4. Конструирование национальных характеров европейцев и русских в литературных путешествиях	129
4.1. Национальные шаблоны и национальный характер в «Письмах из Лондона» П. И. Макарова	131
4.2. Путешествия наполеоновского периода. «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки	143
4.3. Национальная характерология в рефлексии о литературе путешествий. «Письма из Франции» Фонвизина в 1830-е годы	155
Итоги четвертой главы	168

Глава 5. «Русские европейцы» и «европейская Европа» в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского	170
5.1. Предшественники «русского европейца» и русский европеизм в травелогах	173
5.2. «Русские европейцы» в «Зимних заметках...»	178
5.3. «Европейская Европа»	195
Итоги пятой главы	203
Заключение	206
Список использованной литературы	213
Kokkuvõte	232
Abstract	236
Curriculum vitae	241
Elulookirjeldus	242
Публикации по теме диссертации	243

ВВЕДЕНИЕ

Славны бубны за горами

Д. И. Фонвизин. Письма из Франции.

Кому из всех нас русских (то есть читающих
хоть журналы)

Европа не известна вдвое лучше, чем Россия?

*Ф. М. Достоевский. Зимние заметки
о летних впечатлениях.*

...но ведь это страшная и святая вещь, Европа!
<...>

эта «страна святых чудес»!

Ф. М. Достоевский. Дневник писателя.

Проблема «Россия и Европа» — одна из ключевых для русской литературы, критики и публицистики нового времени, и особенно это касается литературы путешествий. Практически во всех русских травелогах, к какому бы времени они ни принадлежали, можно найти следы отношения к Европе, а также материал для темы «Европа и Россия», поскольку любое описание путешествия заключает в себе отношение к *Другому* и через этого *Другого* — познание себя. Но в настоящей диссертации мы сосредоточимся лишь на тех текстах, в которых это отношение концептуализируется, явно или скрыто, на произведениях, авторы которых осознавали эту проблему как тему (одну из тем) своего травелога, т. е. не просто использовали модель «русский в Европе», но размышляли о ней. Этот критерий отбора материала связан с тем, что в центре нашего внимания находится лишь один аспект неиссякаемой темы: не идеология отдельных произведений или культурологическая проекция — но история модели «русский в Европе», а также эволюция прагматики этой модели. При этом, конечно, элементы идеологического анализа отношения писателя к Европе и его отражения в текстах будут привлекаться при рассмотрении отдельных произведений¹.

¹ Работы об общественно-политических взглядах того или иного писателя, круга писателей или литературного течения многочисленны, можно сказать даже, что это доминирующая форма исследований, начиная с XIX в. и вплоть до наших дней. Родом из критики, обращавшейся к литературным явлениям прошлого (Н. А. Добролюбов, А. Н. Пыпин), это направление развивалось как в советской традиции, так и в современных работах (см., например, обзор исследований о Гончарове, рассматривающих его как «носителя и/или выразителя ценностей определенной общественной группы» [Зубков 2014: 158–159]), и в совершенно другом ключе в той части филологических исследований, которая соприкасается с историей идей [Зорин 2001; Проскурина 2017; Марасинова 2017: 385–395; Осповат К. 2020]. Из героев нашего повествования в этом отношении меньше всего повезло Фонвизину. О Карамзине см., например, [Black 1975; Лотман 1981], о Достоевском — бесчисленное число публикаций, начиная хотя бы с многократно переиздававшейся статьи Л. П. Гроссмана «Достоевский и Европа» [Гроссман 1915]).

Выбранный нами хронологический период (XVIII – начало XIX века, хотя рассматриваются и отдельные явления 1830-х и 1860-х годов) характеризуется не столь повышенным интересом к проблеме «Россия и Европа», как, например, русская литература середины или второй половины XIX века, но именно в интересующий нас период отношение к Европе начинает осмысляться как проблема и становится предметом изображения в литературе. Без понимания того, как это происходит, вряд ли возможно всестороннее описание данной проблематики на любом этапе развития русской литературы.

Хотя наша тема определяется как «Россия – Европа», но при отборе материала мы руководствовались не географическим прикреплением, а концептуальным отношением к этой проблеме, когда оно влияет на путешествие с любым маршрутом. Поэтому по мере необходимости нами включаются в анализ и травелоги с российским маршрутом, и иностранные травелоги, и такие «путешествия воображения», как радищевское, и подобные ему.

В рамках данной работы понятия «травелог», «литература путешествий» и т. п. используются как более или менее синонимичные. Тексты, объединяемые понятием «путешествия» (и современными западноевропейскими терминами “travel literature”, “travel writing”, “Reiseliteratur” и “Reisebericht”), неоднородны. Определение «жанр» к этой области литературы не подходит: травелоги могут использовать различные жанровые оболочки (от разных стихотворных форм до романа), а могут выступать и в «чистом» виде. Текст о путешествии может содержать «отчет» о поездке в целом или о конкретном впечатлении, дне или эпизоде из поездки; он может описывать Grand tour, как в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина, а может — поездку в имение или даже прогулку (как текст того же Карамзина о Троицкой лавре — «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице»)².

Каждый пишущий о литературе путешествий так или иначе сталкивается с оппозицией «литература путешествий» / «литературные путешествия». Это противопоставление, на наш взгляд, выражающее филологическую проблематику изучения путешествий в наиболее общем виде, впервые стало ключевым в 1920–1930-е годы. Тогда сформировались два подхода к этому материалу. С одной стороны, Т. А. Роболи в статье «Литература “путешествий”», написанной в рамках теории ОПОЯЗа, предложила функциональный взгляд на путешествия, сосредоточенный на элементах, из которых собирается ткань повествования при эволюции путешествия и на которые в ходе неизбежной деградации оно распадается [Роболи 1926]. Таким образом, совокупность текстов принимается за единый феномен, и исследуются его особенности. С другой стороны, такие ученые как

² Обстоятельный анализ терминологии, связанной с литературой путешествий, принят в диссертации Е. Р. Пономарева [Пономарев 2013: 8–16]; его итоги, на наш взгляд, приемлемы для нашего исследования: термин «травелог» при всей «неконкретности», можно считать оптимальным. При этом при исследовании литературных связей конкретного текста вовсе не обязательно ограничиваться только травелогами.

Г. А. Гуковский [Гуковский 1941], Л. В. Пумпянский [Пумпянский 1947; Пумпянский 2012] и некоторые другие (например, [Кучеров 1941]), объясняли специфику конкретных литературных путешествий исходя из представления о выражении в них стиля, который, в свою очередь, является выражением мировоззрения. Это противопоставление актуально и сегодня (подробнее об этом см.: [Соловьев 2021]).

С конца XX века тема русских литературных путешествий привлекает внимание исследователей, рассматривающих их в комплексе [Шёнле 2004; Offord 2005; Dickinson 2006]. Общим недостатком этих работ является, на наш взгляд, то, что они идут в основном по хронологии произведений (так, у Шёнле: Радищев, Карамзин, Шаликов, Жуковский, Измайлов, Батюшков, Бестужев, Муравьев-Апостол, Вельтман, Сенковский, Пушкин; у Оффорда: Петр Толстой, Фонвизин, Карамзин, Погодин, Боткин, Герцен, Достоевский, Щедрин; у Диккинсон: А. и Б. Куракины, Дашкова, Фонвизин, Зиновьев, Радищев, Карамзин, Глинка, Батюшков, Кюхельбекер, Гоголь, Пушкин, Жуковский). В этом отношении статья Роболи, к которой мы будем часто обращаться, значительно превосходит почти все написанное о путешествиях после нее: она занимается типологией, а не генезисом [Роболи 1926: 48]. Но, конечно, написанная в русле формальной теории до ее интереса к соседним рядам, она работает только с техникой, стилем (см. об этом: [Устинов 2001: 309; Левченко 2012: 207; Соловьев 2020]); в ней не исследуется важная для нас тема «Россия и Европа».

Мы часто будем апеллировать также к группе работ Ю. М. Лотмана о «Письмах русского путешественника» [Лотман 1981; Лотман, Успенский 1984; Лотман 1987], которые, в отличие от статьи Роболи, имеют для нас не только значение примера, но и значение методологическое. Рассмотрение позы/маски/функции Путешественника у Карамзина, предпринятое Лотманом, ведет нас к поиску разных моделей повествования, которые всегда являются конструктом. Выявить и описать сами модели отношения к Европе русских путешественников, какими они представлены в литературных путешествиях, их функции и взаимосвязи — это цель нашей работы.

К нашему пониманию модели ближе всего то, что Ю. М. Лотман назвал «литературной позой» повествователя:

Литературная поза Карамзина как автора «Писем русского путешественника» двоилась в расчете на два различных типа аудитории. В России, перед русским читателем, Карамзин предстал в утрированной роли «европейца». <...> Однако в кругу своих европейских знакомцев Карамзин играл подчеркнутую роль «русского», резко отзываясь о тех своих соплеменниках, которые за границей стремятся походить на иностранцев [Лотман, Успенский 1984: 527–528].

Однако не в каждом путешествии образ автора так ярко, как у Карамзина, отражает оппозицию русского и европейца. И в самих «Письмах русского путешественника» проблематика, связанная с данной оппозицией, выражается далеко не только через сам этот образ. Модель «русский в Европе», выделяемую нами в литературных путешествиях, можно определить как

организующую концепцию и ее выражение в повествовании. Она может состоять из нескольких (не обязательно всех) элементов: 1) конструкция, которая описывает самого повествователя, подается читателю как авторское «я» — его образ или поза; 2) декларируемое отношение русского путешественника к Европе; 3) способы его коммуникации с читателем, а также моделируемая в тексте фигура этого читателя. В разных путешествиях представлены разные типы модели, но все они являются вариациями одной.

Русская литература путешествий весьма обширна (см. [Русский травелог 2018]), и ни одно исследование не может исчерпать всего богатства материала, поэтому мы останавливаемся на прецедентных текстах: «**Письма из Франции**» Д. И. Фонвизина, т. е. его письма к родным и к П. И. Панину (написанных в 1778 году); «**Письма русского путешественника**» Н. М. Карамзина (изданных в 1791–1801 годах). К ним мы присоединяем тексты его последователей (В. В. Измайлова, П. И. Макарова, П. И. Шаликова) и «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки; обращаемся и к пародии на «сентиментальные путешествия» (в частности, к «Новому Стерну» А. А. Шаховского). Наконец, третий прецедентный текст — «**Зимние заметки о летних впечатлениях**» Ф. М. Достоевского (1863)³. Хотя именно эти сочинения много раз становились предметом исследовательской рефлексии, но мы предлагаем для их анализа иной аспект.

Произведения Фонвизина, Карамзина и Достоевского представляют собой три самых замечательных примера конструирования разных моделей повествования, и в то же время предложенные в них модели, как нам представляется, наиболее влиятельны в русской литературе. Как уже упоминалось, именно они будут в центре настоящей диссертации.

Тема «Россия и Европа» включает в себя целый ряд аспектов: изучение формирования представлений о национальном характере, преобразование их в национальные стереотипы, столкновение «своего» и «чужого» и т. п. Все эти аспекты будут затрагиваться в нашем исследовании, но в первую очередь нас интересует то, как данная тема/проблема проявлялась в организации повествования. На наш взгляд, наименее исследованным и в то же время важнейшим для раскрытия темы является прагматический аспект, под которым мы понимаем изучение явленных в тексте отношений между предметом и субъектом повествования не в зафиксированном состоянии, а в динамике высказывания; при этом обязательно подразумевается и наличие адресата. В зависимости от того, какое значение в тексте приобретает

³ За более чем полвека от Карамзина до Достоевского описание путешествий — прежде всего, «письмо из-за границы» — прошли эволюцию в рамках журнальной литературы: от сообщений, перепечатываемых из иностранных газет и журналов, через письма «собственных корреспондентов» — к цельным произведениям (или задумывавшимся как таковые): «Письма об Испании» В. П. Боткина, «Хроника русского» А. И. Тургенева. Для Достоевского ближайшим претекстом такого рода были «Письма из Франции и Италии» А. И. Герцена, однако важнейшим контекстом для них оказываются такие разнородные произведения, как «Россия в 1839 году» А. де Кюстина и «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

каждый из компонентов этой схемы до и в процессе повествования, мы выделяем несколько моделей, реализующихся в рассматриваемых нами произведениях.

В каждой из глав диссертации пойдет речь о какой-либо одной из выделяемых нами моделей. Как правило, материал группируется вокруг одного из произведений (так, «наивному путешественнику» в нашем понимании соответствуют «Письма русского путешественника» Карамзина, модели «разочарования» — «Письма из Франции» Фонвизина). Однако, во-первых, в каждом из случаев имеются дополнения и пересечения с другими произведениями, поэтому внутри каждой главы повествование будет следовать хронологии, начиная с того произведения или группы произведений, в которой, на наш взгляд, впервые выделяется данная модель. Во-вторых, три ключевых текста, выбранных нами, содержат элементы или зачатки, или даже в полноценном виде разные модели (в первую очередь, это относится к «Письмам русского путешественника», которые рассматриваются в трех из пяти глав нашей работы, «Зимние заметки...» — в двух). Говоря о связях между самими этими текстами, мы будем обращать первостепенное внимание не просто на наличие чего-то общего, но на то, как авторы обращаются в них с одной и той же моделью.

Диссертация имеет следующую структуру.

В первой главе «“Россиянин в Париже”: встреча с Европой» мы обратились к модели, наиболее ранней по времени — возникшей в петровскую эпоху и распространенной приблизительно до конца второй трети XVIII века, и внешне наиболее простой: русский повествует о том, как происходит его первая *встреча с Европой*. Однако вчитываясь в конкретные травелоги, мы видим, что несмотря на то, что в реальной жизни многие путешественники отправлялись в Европу неподготовленными, не имея представления о том, что они увидят (главным образом это относится к образовательным поездкам), созданные в XVIII столетии тексты о поездках русских в Европу демонстрируют — в каждом случае по-своему — что лицо, ведущее повествование, обладает сформированным до путешествия ожиданием от него. По всей видимости, это было обусловлено сложившейся конвенцией о цели путешествий и об опасности «неправильного» подхода к ним. Мы рассматриваем, как эта модель предстает в текстах разной прагматической направленности: записках дипломата (А. А. Матвеева), переводах и частных письмах (А. Д. Кантемир), в веденных для себя и семьи журналах (Н. А. Демидова), в мемуарных рассказах об образовательных путешествиях (А. Р. Воронцова), — а также помещаем эти произведения в контекст, во-первых, появившихся в русской литературе рассуждений о путешествиях (А. П. Сумароков и др.), а во-вторых, образов русских в западноевропейских источниках (в частности, у Вольтера). Следует помнить, что эти метатексты направлены не столько на повествование о путешествии, сколько на представление о путешествиях как таковых. Но они важны, поскольку раскрывают проблему отношения к Европе. Мы стремимся показать, что описанная нами модель есть литературная конструкция травелогов XVIII века,

и поэтому впоследствии она могла быть задействована произведениями и документальной, и безусловно литературной природы, к которым относятся все три указанных текста.

Вторая глава «Пристрастность как прием: “Письма из Франции” Д. И. Фонвизина» посвящена модели, в чем-то вырастающей из первой, — *разочарованного путешественника* — проявившейся в «Письмах» Фонвизина. Мы обратим внимание на то, что повествователь, заявляющий, что цель его описания — исследование национального характера французов, моделирует не сам характер, а именно отношение к нему. Использованный Фонвизиним прием восходит к западноевропейской традиции, мы проводим сопоставление «Писем из Франции» с нею (Ш. П. Дюкло, Л. С. Мерсье). Еще один тип претекста, не связанный с этой традицией, но являющийся, на наш взгляд, предметом полемики Фонвизина, — это сочинения иностранцев о России.

К 70-м годам XVIII века россияне были уже хорошо знакомы и с французской литературой, и с французскими произведениями о России, в которых притязания русских на европейский уровень просвещения подвергались критике (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Д'Аламбер, Шапп д'Отрош). Это вызвало потребность ответить на несправедливые, как казалось, обвинения, и эти ответы могли выражаться в формах, заимствованных у самих европейцев. Поскольку на этом этапе работы с проблемой «Россия и Европа» русские авторы травелогов уже имели больше возможностей, модель встречи с Европой, знакомство с которой состоялось до путешествия, наполняясь новым содержанием, трансформировалась в новую модель.

Обе модели не остались в хронологических пределах, в которых они зародились. Чтобы показать это, мы сопоставляем отношение к философам-просветителям в «Письмах из Франции» и в «Письмах русского путешественника» Карамзина, который в этом аспекте использует ту же модель, что и Фонвизин. В этой главе мы также обращаемся к прагматическому аспекту произведения Фонвизина, рассматриваем отношение между образами повествователя и конструируемого адресата — оппонента, который локализуется не только в Европе, но и в России.

Карамзин в «Письмах русского путешественника» помещает своего читателя в ситуацию первого знакомства с Европой — в ту самую, в которой находились реальные путешественники петровского времени. В **третьей главе** диссертации «“Наивный путешественник” у Н. М. Карамзина и Ф. М. Достоевского» мы рассматриваем, как Карамзин моделирует эту ситуацию через образ повествователя, представляющегося *наивным путешественником*, а также анализируем приемы, основанные на этом образе, которые определяют отношение текста к проблеме «Россия и Европа».

«Письма русского путешественника» пронизаны самоопределениями путешественника, то скрытыми, то явленными, ведущими к обобщающему и вынесенному в заглавие «русскому путешественнику». Организация голоса повествователя в тексте неразрывно связана с аспектом проблемы «Россия и Европа», раскрывающимся в этом произведении. Для выявления

специфики предложенной Карамзиным модели мы сопоставляем его текст с путешествиями его продолжателей, или эпигонов (В. В. Измайлова, П. И. Шаликова, П. И. Макарова), которые более прямо используют его находки, тем самым проявляя их потенциал. Образ «наивного путешественника» в нашем понимании проявляется, во-первых, в уравнивании повествователя с читателем (мы рассматриваем это на нескольких примерах на композиционном и образном уровнях), во-вторых, в демонстрации процесса познания через сопоставление разных точек зрения (в буквальном смысле этого выражения). Наивность как свойство путешественника определяет взгляд на Европу не в целом, но в частностях, деталях, из которых складывается мозаика «Писем русского путешественника». И эта модель, как и две предыдущие, живет еще очень долго, отражаясь в построении «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского. Правда, здесь она используется для полемики с ее создателем в отношении и повествования, и авторской позиции. Нас интересует, как апелляция к Карамзину в «Зимних заметках...» выполняет роль ключа для модели, которую Достоевский пытается взломать.

Модель, описывающая отношение русских к Европе, подразумевает выведение на первый план как одной стороны — повествовательной инстанции, так и другой — сконструированного *национального характера*. После Карамзина, акцентировавшего внимание на *русском*, этот поворот кажется неизбежным. В течение XVIII века в путешествиях встречаются и национальные образы, и общие суждения о национальном характере. В **четвертой главе** «Конструирование национальных характеров европейцев и русских в литературных путешествиях» мы прослеживаем, как изменился основной объект русских травелогов после «Писем русского путешественника», произошел ли действительно поворот к «Другому» или чужой национальный характер оказался не так интересен, как собственный. В соответствии с целью исследования мы останавливаемся на способах конструирования, от литературной игры с метафорами и парадоксами до подчинения описания идеологеме, соответствующей теме и эпохе произведения. Причем если первый вариант усваивается из предшествующего опыта Стерна, то вторая из названных разновидностей была общей для русской и западноевропейской традиции травелога и, по-видимому, одновременно развивалась в них на рубеже XVIII–XIX веков. Наконец, смена модели не могла не повлиять на рецепцию тех травелогов, которые были созданы в период господства предыдущих моделей. Мы рассматриваем ее на примере судьбы «Писем из Франции» Фонвизина в 1830-е годы как в узком кругу участников литературного процесса, так и в отзывах, рассчитанных на широкую публику.

Текст Достоевского, которому посвящена **пятая глава** «“Русские европейцы” и “европейская Европа” в “Зимних заметках о летних впечатлениях” Достоевского», выполняет в нашем исследовании роль произведения, развивающего и обобщающего ранее рассмотренные модели; соединяются

они в образе *русского европейца*, в его функции внутри произведения. Фигура «русского европейца», как она сложилась в литературе путешествий, подлежит трактовке, отличной от предлагаемых современной историей идей и философским литературоведением подходов. Мы рассматриваем его как часть субъектно-объектной организации травелога, и с этим подходом обращаемся сначала к материалу «Писем русского путешественника» и современных им произведений, а затем к тому, как Достоевский одновременно закрепляет и трансформирует эту модель. Основной сигнал, говорящий о конструировании, — это использование чужих литературных образов (Чацкого и др.), которые, выполняя функцию «русского европейца» внутри «Зимних заметок...», становятся персонажами Достоевского. Модель «русского европейца» в «Зимних заметках...» подразумевает особую коммуникацию между собственно «русским европейцем» и простым народом, от успеха которой, по Достоевскому, зависит будущее страны. Обращаясь к европейскому контексту, мы стремимся показать, что «Зимние заметки о летних впечатлениях» были запоздалой, но точной репликой в вообразимом диалоге с европейцами, осмыслявшими отношение России к Европе. Сама же Европа превращается у автора в характеристику «русского европейца».

В Заключении мы подводим итоги работы и намечаем дальнейшие пути изучения проблемы.

Я хотел бы выразить мою признательность сотрудникам кафедры русской литературы и всего отделения славистики Тартуского университета за годы насыщенного и увлекательного обучения в докторантуре; кафедральным и официальным оппонентам Л. Л. Пильд, Р. Г. Лейбову, М. Б. Плюхановой, Т. И. Смоляровой за благожелательную заинтересованность в моей работе и за высказанные замечания, которые помогли ее улучшить.

Каждый этап моей работы, от выбора темы до финальных штрихов, сопровождался подлинно научным обсуждением с Любовью Николаевной Киселевой — обсуждением, каждый раз продвигавшим диссертацию на качественно новый уровень, приносящим удовольствие и дававшим пищу для ума.

Благодарю организаторов конференций и научных семинаров в Тарту, Москве и Петербурге, на которых я выступал с отдельными положениями диссертации; участников обсуждений, предлагавших интересные и иногда неожиданные повороты темы, в особенности же докторантов и всех посетителей семинара Л. Н. Киселевой.

Мои замечательные коллеги в Пушкинском Доме безусловно заслуживают того, чтобы назвать каждого поименно, но решающее значение для диссертации имело сотрудничество с отделом XVIII века, библиотекой и редакцией журнала «Русская литература».

Я никак не могу обойти вниманием фонд Зиминых, благодаря которому были возможны поездки в Тарту для учебы и подготовки диссертации,

а также оказавших мне в разное время поддержку и содействие А. А. Агапова, Н. Ю. Алексееву, В. Е. Багно, М. Э. Баскину (Маликову), А. С. Бодрову, А. Ю. Веселову, Т. Т. Гузаирова, И. Ф. Данилову, А. А. Костина, Е. Э. Лямину, Н. В. Поселягина, А. С. Федотова.

Благодарность, которая только увеличивается со временем, относится к тем, кто направлял мои занятия филологией, начиная со школьных лет — это Р. В. Крылова, В. А. Акимова, С. Д. Титаренко, Е. Б. Белодубровский, П. А. Клубков, Е. В. Кулешов, П. Е. Бухаркин, Н. Д. Кочеткова.

Этот список мог оказаться значительно длиннее, но никогда не был бы полон без имен двух женщин, благословляющее терпение и любовь которых сопровождали меня на всем пути, — моей мамы Людмилы Соловьевой и моей жены Веры.

ГЛАВА 1

«РОССИЯНИН В ПАРИЖЕ»: ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ

Для образованного европейца XVIII века, в том числе россиянина, Франция — квинтэссенция цивилизации, а Париж — средоточие французского образа жизни (ср.: «“История Парижа <...> — это история Франции и история цивилизации”» [Карамзин 1984: 453]), и нас будут в первую очередь интересовать тексты, фиксирующие французские впечатления. Их описания в путешествиях не могут формироваться по принципу «увидел и рассказал» (если они строятся так, то это признак эпатажа, как в «Сентиментальном путешествии» Л. Стерна), это всегда конструируемый объект. Конструируемый — означает «воображаемый» (в смысле Б. Андерсона, который использует термин «воображаемое сообщество» применительно к понятию «нация» [Андерсон 2002]), т. е. такой, который невозможно охватить в реальности во всей полноте конкретных проявлений и который можно только помыслить. Такой объект всегда собирается, согласно общественно-политической и эстетической позиции автора, из деталей, почерпнутых им в литературе и публицистике, отчасти дополненных личными впечатлениями и рассказами современников. Автор травелога, оказавшийся в столице Франции, моделировал взгляд русского на столицу культурного мира, тем самым принимая на себя роль «россиянина в Париже». Эта модель будет в центре нашего рассмотрения в данной главе. В зависимости от задач произведения она наполнялась авторами различным содержанием, но ее легко проследить на протяжении всего XVIII века. Мы полагаем, что эта модель — ключевая для русских травелогов этого столетия. Важнейшее следствие использования этой модели в травелоге, в отличие от драматургии, стихотворной или прозаической сатиры, заключается в том, что субъект описания имеет в виду свойства не столько объекта, сколько самого себя.

Свойства такого субъекта проявлялись, конечно, не только в литературных травелогах, но и в тех, которые можно причислить к прямым, нехудожественным высказываниям. Они как раз и отличаются по типу субъекта.

Так, русские путешественники петровской эпохи предстают внимательными наблюдателями, нацеленными на сбор сведений, образование, выяснение того, чему можно поучиться у европейских народов: «...велено комнатным столникам <...> ехать в европские христианские государства для науки воинских дел»⁴, — так формулирует задачу путешествия в своем описании путешествия в Европу в самом конце XVII века П. А. Толстой [Толстой 1992: 5]. Наблюдения путешественников петровской эпохи не противостоят расхожим представлениям о перенимании русскими опыта европейцев

⁴ Здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация источников по возможности сохранены.

в XVIII веке. Насколько они непосредственны в этом действии, верят ли в свою миссию, мы не можем обоснованно судить, и нам это не важно для литературной оценки их произведений. Субъект здесь тождествен себе — биографическому автору, насколько это возможно. Те или иные свойства субъекта выдвигаются в произведении на первый план (например, его стремление к образованию и следующее из этого добродетельное поведение, как мы это увидим ниже, в § 1.3, на примере записок А. Р. Воронцова, или умение извлекать из окружающей европейской жизни сведения, идущие на пользу российскому государству, как в практической, так и в идейно-символической сфере, см. в § 1.1 о записках А. А. Матвеева). Здесь, в этих нелитературных путешествиях, это имеет отношение к выстраиванию путешественником своей биографии, отчасти к идеологическому заданию, — в отличие от них литературные путешествия конструируют литературный субъект. Данное положение принципиально для нашей работы. Намерения тех, кто выполнял эстетические задания — совершал «действия при помощи слов» (Дж. Остин), трудно уловить, однако именно это и предстоит сделать.

Составивший подборку травелогов XVIII века и снабдивший их своим комментарием К. В. Сивков трактовал различия между разными типами путешествий (он распределил их по двум хронологическим полюсам — начала и конца века), говоря в современных терминах, антропологически (как изменились модели поведения людей) [Сивков 1914]. Нас же интересует то, как изменились модели, работающие в этих текстах.

Имея в виду перспективу всего исследования, мы лишь коснемся момента генезиса образа литературного путешественника, а большую часть главы посвятим его эволюции. Необходимо, во-первых, дать понятие о разновидностях этого литературного образа, во-вторых, показать, как он использовался в русских травелогах XVIII века, и, наконец, в общих чертах наметить путь его развития впоследствии.

В настоящей главе мы постараемся показать, что в русских травелогах XVIII века явлены два основных подхода к трактовке образа «россиянина в Париже»: первый связан с критикой нравов и уходит корнями в моралистическую и сатирическую литературу — как русскую, так и западноевропейскую, особенно французскую; другой, также с опорой на западноевропейскую традицию, стремится к формированию представления о национальном характере (как французском, так и русском). При этом следует напомнить, что сама национальная тема приходит в литературу лишь в конце XVIII века из философии И. Г. Гердера, вместе с историзмом, и ее проявлением будет не всякий разговор о какой-либо нации, ее представителях и языке.

Смена тем не была простой и единовременной, разные тенденции могли сосуществовать в одном тексте. Так, антифранцузские статьи новиковского «Кошелька», как убедительно показала В. Проскурина, были вызваны к жизни дипломатическим противостоянием России и Франции на рубеже 1760–1770-х годов, закончившимся со смертью Людовика XV и перестановками во французском кабинете [Проскурина 2017: 44–45]. Вместе с тем

они продолжали критику галломании россиян в фонвизинском «Бригадире» (1769) и давали материал для будущих выступлений на тему национального характера, находясь на границе двух тенденций.

1.1. Модель «встречи с Европой» в текстах первой половины XVIII века

Русские тексты о путешествиях раннего Нового времени — это большой и активно пополняемый в последнее время корпус (см., например, [Козлов 2003, 2007, 2009, 2011, 2016; Братья Демидовы 2006; Климов 2011] и мн. др.); помимо введения в оборот новых источников исследователи предпринимают научные переиздания ранее известных текстов [Россия и Запад 2000, 2003, 2008], а также пополняют репертуар библиографических разысканий (в этой области отметим недавно вышедший указатель [Русский травелог 2018]).

Из этих материалов видно, что русские путешественники в течение XVIII века посещали многие страны Европы, но, конечно, больше всего их привлекала Франция. Мы также уделим больше всего внимания этому маршруту по нескольким причинам. Во-первых, галломания — тема, которая в русской литературе этого периода разрабатывалась наиболее подробно внутри проблемы «Россия и Европа». Во-вторых, текстов, посвященных Франции, в том числе, ключевых для нашего исследования, — больше всего. Наконец, именно с Францией связана сформировавшаяся к концу века модель разочарованного путешественника (о которой пойдет речь в главе 2).

Русские отправлялись в Европу по разным причинам (дипломатические, военные, торговые миссии, известные и до XVIII века, к которым теперь добавились новые цели: образование, лечение, Grand Tour и т. п.) и по-разному относились к своим поездкам (от восторга до ужаса; ср.: «...путешествие нередко ассоциировалось с *изгнанием из страны*, ссылкой, даже с возможной гибелью» [Тиме 2007: 4]). Радикально новыми для литературы, на наш взгляд, были не цели путешествия в Европу и даже не отношение к ней, а осмысление места повествователя в общей конструкции текста, описывающего путешествие. Обратимся к двум сочинениям, которые демонстрируют появление такой рефлексии, ставшей впоследствии неотъемлемой частью описания путешествия.

Первое из них — это путевые заметки А. А. Матвеева⁵. В 1705–1706 годах он предпринял инкогнито дипломатическую поездку из Гааги в Париж,

⁵ Андрей Артамонович Матвеев (1666–1728) был постоянным русским послом в Гааге (1699–1712), графом Священной Римской империи (1715), а также — что немало важно для нашей темы — владельцем обширной по своему времени библиотеки. Об убийстве во время стрельцкого бунта 1682 года его отца, боярина Матвеева, повествуют его «Записки» [Матвеев 1997].

а вскоре после этой миссии, очевидно, опираясь на какие-то предварительные записи, составил текст о своем путешествии [Матвеев 1972]⁶. Хотя этот текст обычно характеризуют как «первую русскую книгу, посвященную Франции» [Шокарев 1997: 425] (см. также: [Пыпин 1899: 255–258; Сивков 1914: 18]), в действительности представленный в нем подробный перечень разнообразных фактов не складывается в цельный образ страны, и из всего обширного отчета можно извлечь лишь одну мысль, претендующую на обобщение наблюдений:

О остроте народа того. Народ как парижской, так и во всей Франции весьма многообразной и ко внутреннему исследованию всяких художеств поятной <так! — А. С.>, где художества больше прочих всех государств европейских цветут и всех свободных наук ведения основательное повсегда умножается [Матвеев 1972: 51].

Да и эта запись говорит не столько о характере народа, сколько о его умениях и свойствах, т. е. о том, чему можно учиться, что можно русскому почерпнуть у европейцев. Дело, однако, не в обобщениях, вернее, не столько в них. Чтобы считать подобные высказывания важными для структуры текста, нужно, чтобы они действительно подытоживали собой повествование о частностях, — как это будет, например, у Фонвизина, который после многих сведений о жизни Франции, сообщенных им в письмах к П. И. Панину, дает обобщенный очерк о национальном характере французов в отдельном многостраничном письме (см. об этом ниже, главу 2). Здесь это не так, и конструктивный принцип повествования Матвеева следует искать в другом.

Мы уже упомянули, что в путевых заметках русских, побывавших в Европе в Петровскую эпоху, как тридиционно считается, субъект тождествен себе — биографическому автору⁷. Такой подход неизбежно означает, что прагматика этих произведений неотделима от непосредственных задач собственно путешествий, которые предпринимались их авторами, — образовательных и дипломатических. Между тем к концу XX века появились и другие подходы. Так, М. Я. Билинкис отмечает, что в первой трети XVIII века русская литературная культура начинает различать жанры записок и жизне-

⁶ Сочинение, оставшееся в рукописи, полтора столетия было известно по спискам, опубликовано в извлечениях в XIX веке, а полная научная публикация, подготовленная И. С. Шарковой, состоялась лишь в 1972 году. Два списка, по которым публиковался этот текст, относятся к 1730–1740-м годам. В них дано название «Архив, или Статейный список». В черновой же рукописи автор озаглавил сочинение как «1705 года сентября Дневник частного посольства ко французскому двору» (в оригинале на латыни: “1705. 7 bris. Diarius privatae legationis ad Aulam Galliae” [Матвеев 1972: 29]; сам текст написан по-русски).

⁷ Это мнение разделяли, в частности, В. О. Ключевский [Ключевский 1957: 236], К. В. Сивков и др. Оно сохраняется и в работах современных исследователей, ср.: «Авторами путевых записок были <...> дилетанты, свободно и ярко проявлявшие свою индивидуальность в художественном творчестве» [Ольшевская, Травников 1992: 252].

описаний, в центре которых находятся событие и личность соответственно [Билинкис 1976: 6; Билинкис 1995]. Мотивировка для записей о путешествии в таком случае должна быть в том, что мы имеем дело с событием — поездкой, которая достойна описания (независимо от того, велись ли записи для себя или для любого круга адресатов). Авторские суждения в записках-путешествиях излишни, автор «включается в сюжет их совершенно особо, ориентируя при этом читателя на специфическое восприятие данного текста» [Билинкис 1976: 8]. На место события — дипломатического путешествия — у ездившего инкогнито Матвеева ставится описание новой для России культурной модели.

Произведение Матвеева на первых страницах сосредоточено на каждом пункте поездки, а в дальнейшем сообщает сведения о Людовике XIV, его окружении, и собственно дипломатических встречах⁸. Описание Парижа в первой части записок Матвеева построено как путеводитель; сведения о достопримечательностях нанизываются на маршрут посольства, с севера (предместье Сен-Дени) в расположенный в центре Парижа квартал Сен-Жермен, за Новым мостом (Pont Neuf).

Обращает на себя внимание пристрастие Матвеева к описанию памятников («подобий», как он их называет) и надписей на них. Автор приводит не только детали скульптурных изображений, но и многословные латинские подписи.

Например, о памятнике Генриху IV на Новом мосту сообщается следующее:

Подобие Генрика 4, короля Франции. Подале того обретается изваянное подобие медное, от большой части с серебром смешанное, короля Генрика 4 в латах, на лошади великой в изрядном зело художестве, котораго зело изрядная ж лошедь итальянской работы дивной есть.

Сие изваяние поставлено на мраморном белом столпе высотой сажени в две, при в самом въезде в перспективу домов, кои от мосту до самых старых королевских полат, или Пале, протянулись.

Сие подобие поставлено от Людовика 13, сына его, от отца нынешняго короля, 1635 году.

По сторонам сего столпа четверугольного вбиты доски медныя, где изображены все знаменитыя большия дела и победы сего короля.

Подпись с приходу к лошаде последующая есть.

Подпись при подобии. «Генрику 4, императору французскому, королю наварскому, Людовик 13, сын его, труд начатой и положенной за достоинство благочестия и империи пространнее и ширшее окончал.

Превосходительнейшей кардинал господин Ришелье общее желание народа произвел и чрез изящнаго де Буиллион Бутиллие сие создати повелел 1635 году».

Под сею подписью внизу:

«Всяк, кто сие прочитатъ будет, так прочитай яко изрядному королю желай войска крепкаго, народа вернаго и государства безопаснаго».

⁸ О дипломатическом задании Матвеева и его влиянии на его текст, рассмотрение которого не входит в задачи нашей работы, см. [Берелович 1996].

С трех протчих сторон подписи, которые только служат к изрядству повестей объявления его дел [Матвеев 1972: 60–61].

И так далее. Надписи Матвеев сразу переводит с латинского на русский язык, сообщает их своему потенциальному читателю без комментариев.

Встречаются утверждения, что, хотя Матвеев «хорошо переводил с французского, но переводы с латинского торжественных надписей ему не удались» [Там же: 18]. Опубликовавшая полный текст Матвеева И. С. Шаркова полагает, что «стремясь найти в русском языке что-то адекватное лаконичному латинскому синтаксису, он вынужден ломать строй русской речи» [Там же]⁹. Не беремся оценивать, насколько переводы Матвеева соответствуют уровню современных ему русских переводов с латинского, но отметим, что, на наш взгляд, они по крайней мере точно отражают содержание оригиналов.

Слово «оригинал» в данном случае относится не к материальным надписям, ставшим известными автору записок из непосредственного наблюдения, а к печатным источникам. Если Матвеев и делал копии надписей, то во всяком случае не в те моменты, когда они появляются в его повествовании: посол торопился к месту ночлега и вряд ли мог тратить время на долгие остановки на площадях. И. С. Шаркова установила, что «вся вступительная часть описания Парижа <...> заимствована А. А. Матвеевым» из ряда работ французских авторов, в частности, из «Описания города Парижа» Жермена Бриса (1-е изд. 1698) [Там же: 243], которое находилось в его библиотеке [Библиотека Матвеева]¹⁰.

Иногда Матвеев приводит надписи не только к скульптурам, но и к архитектурным сооружениям:

Ворота светаго Мартина. Потом ворота светаго Мартина проезжал посол, кои в лето 1674 зделаны. Они построены на манеру, или на образец, арка Триуфальнаго о трех проездах.

Лицо тех ворот имеет около 50 пасов, или стоп, в высоту и в ширину, работою, коя именяется по французски боссаже рустике, с резьбою, подобною работе чеканной.

Над малыми въездами, над коими положен антаблемон дориченской с резьбою сих слов на латинском языке с стороны въезду.

Подпись над ворота. «Людовику великому везоне и секванам городам дважды взятым и пораженным немецким, гишпанским и голанским войскам лета 1674».

⁹ «Латинский строй речи», но уже в другом сочинении Матвеева — «Записках о стрелецком бунте» отмечал и Е. Ф. Шмурло: [Шмурло 1896: 778].

¹⁰ Помимо Бриса, были другие источники, издания которых были доступны Матвееву: книга Л. Морери (L. Moreri) “Le grand dictionnaire historique” (Lyon, 1674; Paris — различные годы издания, какое именно было у Матвеева, установить не удалось), а также опубликованное анонимно описание французского двора “L’Etat de la France” (Paris, 1702. Vol. 1–3), из которого он заимствовал сведения о чинах [Матвеев 1972: 243, 259–260].

А з другой страны сие последующее: «Людовику великому понеже взял Лимбург безмочная неприятельския грозы вничтожил лета 1675» [Матвеев 1972: 59].

Обращение Матвеева с источниками свидетельствует о том, что особенный интерес у него вызывали именно объекты, связанные с прославлением французских монархов.

Так, глава с описанием Вандомской площади (площади Великого Людовика) в источнике (т. е. у Бриса) занимает 7 страниц [Brice 1706: 1, 182–189], у Матвеева — один абзац, пересказывающий основное содержание. Следующая глава Бриса — «Конная статуя короля» [Ibid.: 189–191]. Русский автор переводит первый абзац, добавляя от себя сведения о внешнем виде статуи Людовика XIV. Далее идет полный перевод надписи, занимающий, естественно, столько же места у Матвеева, сколько в книге Бриса; затем следует краткое описание площади, опирающееся на предыдущую главу Бриса. Потом он пропускает несколько десятков страниц источника с описаниями улиц и отдельных зданий квартала Рош и переходит к площади Виктуар — следующее в источнике место, где описывается памятник «королю-солнцу» и надпись на его пьедестале [Ibid.: 226].

Конечно, использование не только личных впечатлений, но и информации, взятой из чужих рук, является свойством травелога вообще, а конкретные произведения лишь по-разному его осуществляют. В тексте Матвеева есть и примеры восприятия, вероятно, не опосредованного источниками. О памятнике Карлу V в Генте он, например, писал:

...том же <так! — А. С.> городе на большем рынке, которой называется Новой торг, на великом пирамиде, или столпе, довольной вышины стоит подобие Карола 5, цесаря римского, в короне и скипетром, с его прямого изваяно (*как слышится*) лица, медное, вызолочено на красно. <...> украшена изрядными резьми всех в его цесарскую жизнь славных бывших побед и дел, *которую посол видел*. В той же каморке написано над комином латинскими литерами, что в день светого Матвеа в малой сей каморе рожден Карол пятый [Матвеев 1972: 40–41; курсив мой. — А. С.].

Здесь автор, в отличие от других мест, отмечает то, что видел и слышал сам. Возможно, у него и не было источника, в котором он мог бы взять текст надписи, — зато видел ее в «каморе» и привел ее в своих записках.

Исследователи отмечают, что в этом произведении отразилась личность русского посла, его интересы и пристрастия. Это, безусловно, так: автор «Записок о Московии» де ла Невилль, познакомившийся с Матвеевым в Москве в 1689 году, отмечал: «Этот молодой господин очень умен, любит читать, *хорошо говорит на латыни*, очень любит новости о событиях в Европе и имеет особую склонность к иностранцам» [Невилль 1996: 131]. Известно, что Матвеев занимался переводами с латинского¹¹. В составе его библиотеки почти половину занимали книги и рукописи на латинском

¹¹ См.: «...сохранился (в рукоп.) перевод М. “Анналов” Барония, сделанный в 1690-х гг.» [Шмурло 1896: 778].

языке (444 тома из 902); кроме того, в ней были представлены путешествия и описания разных стран. Так что общий его интерес к европейским государствам и географическим жанрам мог влиять на стремление создать свое произведение о поездке¹², а увлечение латинским языком — на копирование и перевод латинских надписей. Однако это еще не дает нам объяснения, какую роль это играет в тексте.

Был ли задачей автора перевод как таковой?

М. А. Алпатов отмечает в качестве особенности построения повествования Матвеева то, что иногда его сочинение носит характер «обращения к другому лицу (в котором нетрудно угадать Петра I), перед которым автору надлежало отчитываться» [Алпатов 1976: 206]. Но очень трудно предположить, что Матвееву, помимо его дипломатических обязанностей, было дано задание переписать надписи на постаментах: достаточно было привезти в Россию книгу, из которой они были взяты, а если Петру по какой-либо надобности потребовались бы эти надписи на русском языке, а не на латыни, можно было поручить ее перевод менее занятому лицу. Так что Матвеев, скорее всего, приводит (и переводит) их по собственной инициативе. На наш взгляд, Петр для Матвеева мог выступать как заказчик и адресат только в самом отдаленном смысле: царь лично занимался выбором книг для перевода и составления, и по большей части это были практические пособия. О прямом задании собрать сведения о скульптурах речи быть не могло; существовал лишь «заказ» в общем виде на достижения европейской науки и «всяких художеств» для целей пропаганды культурных новшеств, которая должна была иметь «зрелищно-ритуальный характер», чтобы быть действенной [Живов 2002: 382]. Полагаем, что в «зрелищный» регистр может быть включена и скульптура.

Дипломатическими заданиями Матвеева никак не объяснить те подробности, которыми он уснащает свое повествование: они должны играть роль в общем замысле книги. Даже если он *просто собирает* воедино все те сведения о Франции, которые ему удалось разыскать (прочитать или увидеть своими глазами или — что важно и характерно для путевой литературы — прочитать, а потом увидеть), то *принцип отбора* говорит нам о прагматике, повествовательном задании его труда. О том, что Матвеев не копировал из источников все подряд, свидетельствуют приведенные выше количественные сопоставления с книгой Бриса.

С нашей точки зрения, принцип отбора у Матвеева имеет прямое отношение к идеологии царствования Петра I в культурной сфере. В понимании этой идеологии мы опираемся на лингво-культурологическую концепцию В. М. Живова:

Разрыв с прошлым был важнейшей составляющей той концепции русской истории, которую царь-реформатор внушал своим подданным. <...> Понятно, что

¹² Ср.: «Францию, Париж, Версаль и французов А. А. Матвеев описал не столько для отчета, сколько для себя» [Матвеев 1972: 4].

в этом контексте все сферы поведения получают первостепенную политическую и идеологическую значимость <...> в каждой сфере образуется оппозиция нового и старого, европейского и традиционного, секулярного и клерикального. Именно в этом контексте борьбы противостоящих начал является царство бинарных оппозиций [Живов 2017: 934–936].

Исследователь рассматривает процесс размежевания как конституирующий языковую политику Петра I: «Новая культура должна была создать для себя новый язык, отличный от традиционного» [Там же: 936]. Живов говорит о том, что генетическая разнородность, которая обычно приводится как основная характеристика языка Петровской эпохи, может и должна отступить перед функциональной характеристикой, эвристически более ценной.

Те же процессы нужно изучать и на уровне высказывания в целом.

Сочинение Матвеева, на наш взгляд, — характерный пример такого размежевания.

О Матвееве пишут обычно, что он, наряду с П. А. Толстым, выделяется среди русских авторов путешествий петровского времени тем, что мог по достоинству оценить увиденное им как *новое*, а не просто как странное¹³.

Опираясь на собрание книг Матвеева, на оригинальность его рассказа о путешествии в сопоставлении с работами других дипломатов обратил внимание французский исследователь В. Берелович. Несмотря на неудачу миссии,

...в культурном и политическом отношении в широком смысле этого слова, можно говорить о несомненном успехе. Знакомство с Версалем, скульптурами, фонтанами, дворцом и парком — все это свидетельствует не только о столь свойственном европейскому путешественнику той поры стремлении серьезно выполнять работу «туриста», но являет собой яркие символы особой культурной модели западноевропейского королевского двора, которую Петр Великий собирался в скором времени внедрить в России и которую одним из первых Матвеев описал изнутри. Здесь он выступает не просто как ловкий дипломат, но один из тех людей, посредством которых происходило окультуривание русской элиты [Берелович 1996: 204, 207]; см. также: [Berelowitch 1995: 389–403].

Согласимся с этим высказыванием и попробуем его конкретизировать.

Надписи на пьедесталах, которые Матвеев дает в своем переводе, — такие же заимствованные элементы его текста, как и описания того, что посол увидел своими глазами. По сути, всё, что описывается в путешествии, — это заимствования: сведения, заимствованные из источников, образы, заимствованные из реальности чужого географического и культурного пространства.

¹³ И. С. Шаркова и А. Д. Люблинская задаются вопросом, «не были ли эти черты усилены ощущением сдвигов, совершавшихся в его родной стране, убеждением, что именно новое достойно внимания для изучения, а возможно, и для пересаживания на родную почву?» [Матвеев 1972: 17]; впервые на это обратил внимание Н. П. Павлов-Сильванский; см.: [Павлов-Сильванский 1897: 9–10].

Их функция, на наш взгляд, заключалась в том, чтобы показать новый для России способ прославления правящего монарха, соединяющий слово и объемное изображение. Ко времени Петра I русские могли видеть публичные изображения своих правителей разве только на монетах, а трехмерных «подобий», кроме рельефных или скульптурных изображений святых, русская культура не признавала. Первые светские скульптуры — заказанные за границей украшения Летнего сада — появились только в 1710-е годы, но и это были не правители, тем более ныне здравствующие. Бюст Петра I работы Б. К. Растрелли был закончен в 1723 году (до этого им был создан бюст Меншикова, 1717). Растреллиевский конный памятник первому российскому императору при жизни Петра не был завершен (одним из образцов служило как раз «подобие» Людовика XIV на Вандомской площади). Оба изображения были призваны воплощать идею императорской власти, абсолютизма, в правление Петра переживавшего персонификацию и расчленение понятий «государь» и «государство» [Мозговая 1995].

Кроме того, в петровское время надписям на сооружениях, выполнявших функцию знака того или иного государственного события, придавалось большое значение. Так, на триумфальных воротах и знаменах начиная с 1696 года появились надписи, подчеркивавшие деятельность императора Константина для установления христианского царства, в противовес папской власти, параллелью чему должна была стать, как считал В. М. Живов, деятельность самого Петра [Живов 2002: 398–399]. Мы не знаем, был ли Матвеев причастен к созданию хотя бы одной из таких надписей, но этот контекст должен был быть ему знаком; главное же, что это было одним из ключевых интересов эпохи.

Еще один контекст, который следует хотя бы мельком здесь упомянуть, — это частные и придворные коллекции XVI–XVIII веков, кабинеты редкостей, в том числе книг, табличек и надписей, которые органично входили в «микрокосм» подобных собраний. Известно, что петровская Кунсткамера при ее учреждении мыслилась не исключительно естественнонаучным кабинетом, но была непосредственно связана с библиотекой Петра. Экспонирование, которое, будучи неотделимым от собирательства, в петровской концепции Кунсткамеры играло роль репрезентации нового Российского государства [Николози 2007: 157], в случае «коллекции» Матвеева, впрочем, не было репрезентацией *вовне*, а уходило «внутри» текста.

Некоторую параллель матвеевским «подобиям» представляют и памятные медали, отлитые в петровское царствование в честь военных побед: на Неве над шведскими кораблями («Небывалое бывает»), Полтава, Гангут, Ништадтский мир и др. В 1717 году, когда Петр I «благоволил воспринять путешествие в Париж, чтобы обозреть тамо изящность зданий, разные учреждения, и из того почерпнуть нечто для пользы своего государства», в его честь была вытиснена медаль:

...на первой стороне ее грудной образ, увенчанный лаврами, в латах, покровенный порфирию, с надписью: Petrus Alexiewicz Rex Mag. Russ. Imperator; на обороте представлена от земли парящая и проповедующая Слава, при восходящем

солнце, с надписью: *Vires acquirit eundo*. Внизу: Lutet. Parisiorum. MDCCXVII [Журнал 1841: 402].

С медалями, оставшимися до середины XVIII века одним из главных предметов интереса коллекционеров, описания памятников сближает то, что и те, и другие «соединяют образ и текст», будучи способом продемонстрировать славу монарха, причем таким способом, в котором «искусство является прислугой истории» [Pomian 1987: 151–154].

Итак, «коллекционирование» Матвеевым «подобий» монархов и надписей к ним ни в коем случае нельзя приравнивать к описанию непосредственных впечатлений русского человека, впервые оказавшегося за границей. Он не был новичком в европейской жизни и, как уже говорилось, до поездки в Париж провел несколько лет в Нидерландах, т. е. был подготовлен к восприятию нового. Однако в своих записках Матвеев применяет стратегию описания именно с позиции первой «встречи», что также надолго задержится в традиции русских тревелогов.

В тексте о дипломатической миссии, которая призвана была подчеркнуть изменившуюся роль России в Европе, Матвеев выделяет то новое, что демонстрирует интерес русской культуры к разрыву со старым. Описания памятников и перевод надписей к ним — один из наиболее ярких элементов произведения Матвеева. Функция этого элемента — в его политической новизне, и он характеризует не столько знакомство с Францией, сколько размежевание со старой культурной традицией в петровскую эпоху, происходящее в форме «встречи с Европой»¹⁴.

Второй текст, который мы хотели бы здесь рассмотреть в связи с темой позиции повествователя, — выполненный в 1726 году А. Д. Кантемиром, на тот момент 17-летним поручиком Преображенского полка и слушателем Академического университета в Петербурге, перевод с французского языка «на славянорусской» памфлета Дж. П. Мараны “*Lettre d’un Sicilien à un de ses amis*” (1692)¹⁵, озаглавленный «Перевод с италианского на французской язык некоего италианского писма, содержащаго утешное критическое описание Парижа и французов, писанного от некоего сицилианца к своему приятелю» [Кантемир 1868].

В этом тексте читателю с самого начала дается понять, каких философских воззрений придерживается автор:

Я встаю вдруг с солнцем¹⁶ <...> Главная моя забава есть чтение <...> я гуляю в изрядных и долгих аллеях в сени древес <...> Нужды мои всегда теже суть:

¹⁴ Воспользовавшись выражением М. Б. Плюхановой о другом путешественнике Петровской эпохи, кн. Б. И. Куракине, можем сказать, что Матвеев решал «семиотическую задачу» [Плюханова 2015: 34].

¹⁵ См. о датировке оригинала, возможном конкретном источнике перевода и т. п. [Хэн Фу 2022: 23–28, 92–95].

¹⁶ Уже в этом тексте мы находим жалобы на французскую погоду (естественные для автора-итальянца, но курьезные для потенциального русского читателя): «...сие великое светило не часто здесь является, <...> иногда чрез целую полгода невидимо

хлеб, постеля и платье. <...> Буде же я лишаюся чего либо, ищю оное в книгах Сенеки (и абие найду): «хощешь ли быть богат, и ничтоже желай» [Кантемир 1868: 359–360].

Можно было бы ожидать, что стоические добродетели противопоставляются образу жизни жителей Парижа, утопающего в роскоши и расточительстве. Отчасти это так:

...кажется, что Париж повседневно приближается к падению своему; буде то правда, некоторый из древних сказал сиречь, яко чрезмерныя роскоши есть знак града, ищущаго разоритися [Там же: 368].

Но в том же тексте отмечаются и положительные качества парижан, особенно простого народа: трудолюбие, почтение к церкви («одни токмо благороднии и вельможи приходят <в храм. — А. С.>, дабы позабавиться, поговорить и делать любовь свою» [Там же: 374]), мужество в перенесении невзгод от беспрестанных войн Людовика XIV. Вообще кажется, что «памфлетность» в «Письме» Мараны, по крайней мере в переводе Кантемира, не так ярко выражена, как ирония. Причиной этому могла быть как сложность передачи на «славянороссийской», т. е. гибридный язык обличительной интонации оригинала¹⁷, так и сама позиция повествователя. Находясь в Париже уже около десяти лет, он «еще не мог хорошо познать град сей» [Там же: 359], потому что его жизненные установки шли вразрез с поведением, которое позволяет иностранцам войти в светский круг. Любитель чтения и одиноких прогулок, философ, довольствующийся малым, предлагал читателю «остраненное» описание жизни разных слоев парижского общества, разных сторон быта бурлящей столицы, ее культуры и науки, религии и власти. В результате то, что могло стать предметом сатиры, если бы автор письма обличал свой круг, своих соотечественников (или напротив — идейных противников или представителей варварской страны), очерчивается легкими штрихами. Непостоянство французов (один из основных

бывает» [Кантемир 1868: 359]; зима «продолжается чрез целые осмь месяцев с превеликими свирепствами, в те времена обычайно бывающими, которые одно за другим следуют, дождит, снежит, град падает, мерзнет, туманы и воздух толь темные, что скрывает от очес наших солнце по целому месяцу» [Там же: 370]. Если в чисто географических сочинениях погода и климат, не зависящие ни от формы правления, ни от свойств того или иного народа, становятся частью *описания*, то в литературных путешествиях они зачастую парадоксальным образом оказываются вписанными в общую *оценку* страны. Концепцию Ш.-Л. Монтескье, который в трактате «О духе законов» (1748) сделает обратный ход, выведя свойства политического устройства из климатических условий жизни народов (географический детерминизм), тоже возьмут на вооружение авторы путешествий.

¹⁷ Анализ расхождений с оригиналом, а также особенностей гибридного языка перевода см. [Руднев, Хэн Фу 2019]. Исследователи утверждают, что заимствованные слова использовались для описания «предметно-бытовой сферы», а церковнославянские словообразовательные модели — «для передачи поведенческой сферы» [Там же: 249], и отмечают концентрацию славянизмов «в тех фрагментах, где говорится о монархах, о древности, а также в предложениях» [Там же: 250].

штампов описания характера этой нации) подается как забавная черта, не подвергаемая осуждению или насмешке, и даже полезная:

Легкость есть пятый элемент французов. Любят все новое знать, делают все, что могут, чтоб не долго знаться с одним приятелем, в одно и тоже время склоняются и к теплу, и к стуже, по вся дни новья выгадывают моды своего платья и понеже скучают жить в своем отчестве, ездят то по Азии, то по Африке, то в Ишпанию и безчисленные города... [Кантемир 1868: 366].

Опубликованный только в 1868 году, этот перевод, как и текст Матвеева, не был встроен в историко-литературный процесс XVIII века¹⁸. Юный Кантемир, переводя Марану, какие бы цели он ни преследовал (предположим, что учебные), моделировал встречу с Европой, в которую самому переводчику еще только предстояло отправиться. Читая текст, мы можем убедиться в том, что, хотя в 1720-е годы русской культуре еще только предстояло узнать значение Парижа как центра моды, развлечений и индустрии роскоши, очарование Францией с последующей реакцией разочарования вовсе не было единственным сценарием для русских литературных путешествий. Функция перевода в контексте развития литературы путешествий определяется следующим. На восприятие повествователя влияют его установки, и читатель об этом предупрежден. Невозможно передать только объективные сведения; любой отчет путешественника (*Reisebericht*) неизбежно содержит взгляд путешественника, его позицию, субъектность. Избранная позиция стойка позволяет увидеть смешное и нелепое в поведении французов, не игнорируя достойные стороны. Будь эта позиция другой, иным стало бы и описание.

Как и в случае с Матвеевым, это тоже новая культурная модель, не избороженная, конечно, Кантемиром, но привносимая им в русскую словесность. Подразумевается, что может быть и иной взгляд на те же самые вещи, которые описываются в «Письме». Это было не чуждо самому Кантемиру, что ясно в первую очередь из его позднейших писем на французском языке товарищам по дипломатическому цеху, где говорится о Париже. Так, в письмах к А. Дж. Осорио, послу Сардинии в Лондоне, он сообщает:

Если вы когда-нибудь приедете пожить в этот город, вы лишитесь многих иллюзий, кои внушают нам иностранцы (от 28 ноября 1738 года [Россия и Запад 2003: 116]);

...в Париже, чтобы развлекаться, нужно играть и иметь крепкое здоровье. Что касается до вас, *возможно, вы нашли бы его очаровательным* (от 14 января 1739 года) [Там же: 123; курсив мой. — А. С].

¹⁸ Тем не менее его опыт не остался в России без внимания: так, в архиве Паниных в РГАДА хранится недатированный список «Письма» [РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 3076], в переплете, формат 1/6. Был ли интерес к данному тексту вызван парижскими впечатлениями подопечного Паниных Д. И. Фонвизина или, напротив, обсуждался с ним до его поездки за границу, нам неизвестно. Очевидных и уникальных пересечений с Мараной / Кантемиром в тексте Фонвизина нет.

В тот же день он писал к генуэзскому послу в Лондоне Дж. Б. Гастальди:

Более чем правда, что я скучаю в славном граде Париже: вечно надо играть и иметь хорошее здоровье, чтобы ужинать и бодрствовать, если после ужина следуют развлечения. Если вам интересно *мое мнение*, оставайтесь в Лондоне. Я сделаю все возможное, что снабдить вас двумя *Горациями*, а вас умоляю прислать мне с оказией через Господина Вебера нижеупомянутые книги [Россия и Запад 2003: 122].

В переписке же Кантемира с сестрой Марией основное впечатление от Парижа — разочарование. Из написанных по-итальянски писем Марии к брату мы знаем, что в августе–сентябре 1736 года, вскоре после поездки Кантемира в Париж к врачу, он делился с ней негативными впечатлениями от французов, предпочитая им англичан:

Меня поражает, что Париж и дофин не показались Вам достойными тех похвал, которые воздают им многие — быть может, потому, что французы следуют обычаю всегда иметь карты в руках, но я умоляю Вас им не подражать: лучше держать в руках книги, которые дают больше удовольствия, чем карты <...> Преклоняюсь перед англичанами, которые предпочитают книги картам, и умалчиваю о нас, коорые не имеем ни того, ни другого [Кантемир 2002: 48–49].

Если Париж скучен и мрачен, то, значит, те, которые так хвалили его, говорили неправду. Если женщины там безобразны, то у них есть повод изменить свою внешность и казаться красивыми <...> Раньше нравы были грубыми, а теперь французы изобрели всякие новшества и моды. Может быть, теперь им больше ничего не остается делать, кроме как развлекаться картами и обыгрывать друг друга. <...> Французам даже некогда слушать музыку, так как, по Вашим словам, опера там еще не начиналась. Между англичанами гораздо больше людей, которые предпочитают литературу картам [Там же: 51–52].

Здесь проявляется тот же образ философа за книгой, что и в переведенном десятью годами ранее письме Мараны. Позиция этого путешественника и разделявшей его взгляды сестры приближается к модели разочарования. Полагаем, если бы «Письмо» Мараны в переводе Кантемира и его собственные отзывы о Франции были опубликованы в XVIII веке, они бы выполнили ту же роль в формировании этой модели, что и «Русский в Париже» Вольтера (см. ниже, § 1.3). При этом, насколько нам известно из других писем Кантемира, на него произвели плохое впечатление «Письма об Англии» Вольтера: «Причина такого неприятия <...>, по-видимому, заключалась в его <Вольтера. — А. С.> насмешливо-критической манере письма» [Блудилина 2005: 27]. Между моралью и сатирой в изображении Европы русская литература в его лице выбирала в этот момент мораль.

1.2. О пользе и вреде путешествий

Неизвестные современникам произведения Матвеева, Кантемира (как и других авторов сочинений о Европе первой половины XVIII века), как мы уже отмечали, лишь показывают тенденции, по которым могла развиваться

тема «Россия и Европа» в литературе путешествий. Реальное ее развитие было связано, на наш взгляд, с теми теоретическими высказываниями о путешествиях, которые появляются в 1760-е годы. Большая часть этих текстов была рассмотрена Э. Вагемансом как выражение взглядов русских на путешествия в контексте общеевропейского интереса к этой теме [Waagemans 2005]. Однако пока не рассматривалось их влияние на развитие моделей в собственно травелогах.

В 1764 году А. П. Сумароков написал заметку, опубликованную Новиковым в посмертном собрании сочинений писателя под названием «О путешествиях» [Сумароков 1787: 9, 369–373]¹⁹. Хотя этот проект в первую очередь следует рассматривать в ряду неудачных намерений Сумарокова по применению себя в государственной службе, но для истории концепции путешествий в русской литературе заметка Сумарокова не менее важна и интересна.

Начало правления Екатерины II — расцвет образовательных поездок, в это время было больше всего русских студентов за границей (так, в Страсбурге учились А. Я. Поленов и И. И. Лепехин от Академии наук, в Лейдене — целая группа студентов-медиков). Тогда же (9 июля 1763 года) в Лейпцигский университет был зачислен гр. В. Г. Орлов, младший из братьев Орловых [Андреев 2005: 410]. Почти параллельно (июнь 1764 года) Ломоносов добивался отправки студентов в иностранные университеты на регулярной основе за казенный счет.

В апреле 1763 состоялась отправка покровительствовавшего Сумарокову И. И. Шувалова за границу в почетную ссылку [Бартенев 1857: 52]. В начале 1764 года он находился уже в Париже. Возможно, Сумароков надеялся на его покровительство и там.

С миссией, на которую рассчитывал Сумароков (или с похожей), вскоре, с августа 1765 по ноябрь 1766 года, был командирован в Западную Европу И. А. Дмитриевский — «смотреть английского и французского театру» (и вторично — в 1767–1768 годах) [Кукушкина, Старикова 1988: 266].

Цель, с которой Сумароков собирался в путешествие, — написать книгу, отчет о виденном — выделяет это обращение как среди других сумароковских документов, так и среди поездок россиян в Европу:

На Российском языке путешествий нет ни каких. <...> Должен путешествователь имети о своем отечестве совершенное знание и искусен быти в литературе; ибо и свинья видит солнце, но о нем ни какова не имеет понятия. <...> Я предпримлю зделати описание путешествия, и из оставших лет середины моего века,

¹⁹ В письме к Екатерине II от 3 мая 1764 года [Письма 1980: 95–98] содержалась повторная, вероятно, просьба рассмотреть его записку о проекте путешествия, переданную через Г. Г. Орлова. Письмо и записка во многих местах совпадают или очень близки как в общем, так и в отдельных формулировках. Какой-либо письменный или устный ответ на просьбу неизвестен, как и реакция Екатерины II, последствием записка Сумарокова не имела. Возможно, были еще какие-либо этапы работы над проектом, не дошедшие до нас.

два года и четыре месяца считая от Маяя сего года, употребити в сию пользу моего отечества [Сумароков 1787: 9, 369–371].

По-видимому, это первое свидетельство осмысления заграничного путешествия не просто как средства набраться практического опыта для принесения пользы отечеству, но как особой формы культурной деятельности. Важно, что за счет казны составлялись только описания путешествий по провинциям Российской империи. Сумароков же подает свой проект не как личную просьбу, но как дело на «пользу моего отечества», причем особо подчеркивает важность того, чтобы автор путешествия был россиянин:

Путешествования чужестранныя не могут большой пользы принести Россиянам, хотя бы они и лутчим духом и лутчим пером писаны были; ибо не довольно того, что нечто описывается; но кем оно описывается, и с чем сравнивается; ради чего описатель должен быть Россиянин [Там же: 370].

Помимо этого обращает на себя внимание мотив развенчания «путешествия невежды», надолго зафиксированный в русской культуре благодаря «молодому российскому поросенку» Новикова, но распространенный в печати уже в 1760-е годы (см. ниже в этом параграфе):

Путешествие описанное невежею служит ко вреду ево отечества. <...> Такой описатель вместо просвещения смущает и самага разумнаго читателя, и приводит ево иногда на кривую дорогу. Слепова следам верить не лъзя. <...> Многия наши путешествователи показывают экипажи свои чужим народам, а я не за тем ехать собираюся; ибо наши экипажи и головы с наружи чужестранным уже со излишком известны [Там же: 371–372].

Многое из того, что пишет Сумароков о пользе путешествий, близко к идеям, высказанным Ж.-Ж. Руссо в книге «Эмилъ, или О воспитании» (1762), в главе «О путешествиях». Книга была запрещена в России в 1763 году, но самое распоряжение об этом Екатерины II содержит указание на то, что до запрета «Эмилъ» продавался в академической книжной лавке [Сб. РИО 1871: 318], так что исключить знакомство с ним Сумарокова нельзя.

К тому же периоду принадлежит появившийся в русской сатирической литературе, прежде всего в журналах Новикова, особый образ «россиянина в Париже» — «молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенно свиньею, желающие смотреть могут его видеть безденежно по многим улицам города» [Новиков 1951: 186]. Здесь, как и полагается в сатире, наличествует идеал — заманчивое для русских европейское просвещение, но сам россиянин при этом отнюдь не стремится к нему. Мишенью новиковской сатиры был внутренний российский объект, хотя его моральная критика и опиралась на европейскую просветительскую традицию.

Переходным представителем этой традиции — русским прозаическим переводом со стихотворного оригинала — была «Епистола к Ротенбургу»,

опубликованная в «Сочинениях и переводах, к пользе и увеселению служащих», в 1760 году. Автором оригинала был не кто иной, как Фридрих Великий, написавший по-французски стихотворное послание “*Sur les Voyages*” (1749), обращенное к генералу Фридриху Рудольфу фон Ротенбургу [Friedrich der Große 2012: 150–165]. Это сочинение осуждает злоупотребление обычаем отправлять детей «прямо из училища в путешествие» [Епистола к Ротенбургу 1760: 452]. При том, что само по себе такое предприятие признается достойным, оно принесет пользу только при соблюдении двух условий: «Надобно путешествующему иметь намерение и остроту» [Там же: 462]. В противном случае Grand Tour не пойдет впрок, а юный путешественник заслужит осмеяние:

Пускай же, когда быть тому так, шатается он ныне по свету. Я смело ожидаю его при возврате. Что приобрел он в долговременное свое отсутствие; имеет ли он разум Стиля? имеет ли его пронищание? Нет, взгляни на красное перо его, глупец он был, глупец он и остался... [Там же: 454].

Результат путешествия оценивается по возвращении: сможет ли быть хорошим судьей тот, кто учился в «университете французского театра», а хорошим военным — тот, кто лучше знает Овидия, чем Эвклида? [Там же: 458–459]. Хотя высмеивается и собственно времяпровождение юных путешественников в Лондоне и особенно в Париже («...имение его прежде года расточенное с непотребною женою, и в карты проигранное, доведет сего разумного сына мотовством его до крайнего недостатка...») [Там же: 455]), главное — научатся они чему-нибудь полезному или будут подражать недостаткам иностранцев:

Есть ли заедет он в Англию, <...> сей новой Киник присвоит себе все пороки жителей ея. <...> Сохрани еще Боже от вящшаго безумия, чтоб он по вкусу не вздумал иметь сплин, и подражая безрассудно агличанам до конца, в доказательство, что с пользою путешествовал, не повесился в цвете своих лет [Там же: 454–455].

К тому же типу сатиры можно отнести анонимное сочинение «О путешествии в чужие края», опубликованное в 1769 году в журнале «Полезное с приятным», издававшемся преподавателями Кадетского корпуса и содержавшем по большей части переводы и переработки из «Английского смотрителя» (“*The Spectator*”), «Французского смотрителя» (“*Spectateur français*”) и других иностранных изданий, преимущественно морально-дидактического характера (о журнале см.: [Берков 1952: 239–242]). Не исключено, что и данное сочинение было подражанием какому-либо английскому или немецкому источнику или даже его «преложением» (с добавлением русской специфики, прежде всего в лексике). Здесь также высмеивается «детинка», вернувшийся недавно «из чужих краев»:

Так и он ездил не с тем, чтобы сделать себя достойным сыном отечества, но за тем, чтобы посмотреть комедианок, постоять у них в передней и за то заплатить несколько сотен самой лутчей русской монетой; <...> Всего же смешнее, когда

зачнет он о путешествии своем разказывать, что он в такой-то деревушке оставался пить и видел там индейского петуха; в другой хлебал суп á л'уаньон, а по руски воду с луком; в третей переменял лошадей, и влюбился в крестьянскую девку, которой еще и теперь из мыслей своих изтребить не может. Но в заключение своей речи произносит всегда с восторгом: О! как много удовольствия и утех в путешествии найти можно! [О путешествии 1769: 13–14]²⁰.

Поведению «детинки» противопоставляется просветительское представление о пользе путешествий:

Чрез странствование познаем мы нравы, обычаи, склонности и силы разных народов, и сравнивая их между собою, доходим ближе до истинных средств к споспешествованию славы и благополучия своего отечества [Там же],

и подчеркивается, что осуждаемое явление не является всеобщим (важно, что порицается не французмания общества в целом, а лишь отдельных недостойных его представителей):

...многие благоразумные люди возвратясь в свое отечество показывают плоды употребленных ими трудов на путешествие... [Там же: 16]²¹.

Список источников, критикующих русское подражание французам, можно расширить очень значительно, даже если иметь в виду только те из них, которые работают непосредственно с образами непутевых путешественников или так или иначе затрагивают тему путешествий. Объединяет их сатирическое начало: это статьи в журналах, подобные рассмотренным выше, а также стихотворные сатиры, комедии, басни.

Новиковская версия модели «россиянин в Париже» в течение XVIII века развивалась в драматургии (комедиях Сумарокова, Екатерины II, Фонвизина) под воздействием европейской критики галломании (прежде всего Х. Гольберга), а в конце XVIII – начале XIX века не менее ярко была выражена в комедиях И. А. Крылова и А. А. Шаховского; ее следы заметны и в «Горе от ума»²².

Конечно, осуждение пороков, свойственных путешествующим молодым людям, проявлялось и в житейском опасении, а не только в литературной форме. Так, И. И. Шувалов в 1770 году в письме сестре из Рима развивал схожие идеи:

Кажется незачем ездить, естли только знать театры, и — наизусть имена танцев и комедиантов, и, незная прямо нации, давать оней иное понятие. Втаковом обстоятельстве, многие молодые люди, которые ездят смотреть свет, и которые, вместо пользы, возможной вред приобретают. Я незнаю опаснейших мест, как Лондон и Париж для молодости: видел жалостные следствия со многими; и для

²⁰ Имеется ли в виду конкретный путешественник, неизвестно. П. Н. Берков считал, что статья метила в В. И. Лукина [Берков 1952: 241].

²¹ Таким благоразумным путешественником был, например, родной брат одного из издателей «Полезного с приятным» Игн. А. де Тейльса — Ив. А. де Тейльс, по-видимому, изучавший медицину в Лейденском университете [Лаппо-Данилевский 2010: 224].

²² В наши задачи подробное рассмотрение этой темы не входит.

того мне весьма хотелось, чтоб племянник сомною вместе в обеих оных местах был [Шувалов 1845: 149].

Подобные свидетельства любопытны, однако в силу их чисто документальной природы мы не будем их касаться. Важно, что в литературе осуществлялось развитие этой модели, а взгляд на нее был связан с сатирическим началом, что в XVIII веке означает исправление нравов.

1.3. От критики нравов к проблеме национального характера

Для того чтобы говорить о существовании модели «россиянин в Париже» (версия — «любопытный наблюдатель»), недостаточно внешнего импульса в виде благоволения власти к путешествиям и даже материала отчетов о путешествиях и рассказов о них: необходим пример какого-либо «сильного» текста. На наш взгляд, таковым можно считать сатирическую поэму «Русский в Париже» Вольтера (“Le Russe à Paris”, 1760), которая в прозаическом переводе И. Г. Рахманинова вышла в 1789 году [Сатирический дух 1789] (но, конечно, русские ее читали и в оригинале). В ней Вольтер, противопоставляя северные и южные народы, конструирует образ молодой (северной) русской нации (см. об этом [Строев 1999]):

Итак, ты переплыл Гиперборейские моря, переехал те обширные степи, и те холодные страны, в которых сын Алексеев, наставник всех Государей, поселил науки и художества, исправил нравы и дал новые законы. Почто ты удалился от семизвездия медведицы? от тех прекрасных мест, куда наши ученые французы ездили измерять небесный горизонт и околевать от стужи близ полюса²³ <...> [Сатирический дух 1789: 3–4].

Построенная в форме диалога поэма включает горячие расспросы Россиянина, приехавшего в Париж с надеждами на просвещение, а также о его состоянии во Франции («<...> я приехал сюда для просвещения моего разума, я хочу у вас научиться, увидеть здешний славный народ, слушать их, и примечать здешние обычаи <...>» [Там же: 5]). В ответ звучат саркастические реплики Парижанина, весьма нелестно отзывающегося о своей нации, погруженной в религиозных предрассудках и превозносящей плохих писателей, чье единственное достоинство — умение втереться в доверие к сильным

²³ Под «учеными французами» имеется в виду прежде всего географ и астроном Ж.-Н. Делиль, работавший в петербургской Академии наук и написавший «Путешествие в Сибирь» (1740). Интересно, что ко времени перевода поэмы Вольтера в России успеет поработать еще один французский астроном — Шапп д’Отрош, который напишет в качестве своеобразного отчета свое, несомненно более знаменитое «Путешествие в Сибирь» (публ. 1768, посмертно), вызвавшее мгновенную отповедь Екатерины II — «Антидот, или Разбор дурной, великолепно напечатанной книги...» (1770). В какой мере эта дополнительная коннотация могла учитываться Рахманиновым и его читателями, сказать трудно. Она могла усилить противопоставление французов и русских, данное Вольтером.

мира сего (обратим внимание на последний мотив, важный для истории восприятия «Писем из Франции» Д. И. Фонвизина; см. об этом ниже, в § 2.2). Ответы Парижанина в основном сводятся к тому, что «ныне здесь все переменялось» [Сатирический дух 1789: 10].

Хотя основное содержание «Русского в Париже» — литературная критика в форме сатиры, а не изображение русского визитера, сам выбор этого персонажа характерен. Вряд ли для этой роли мог быть избран слишком «ориентальный» турок или, например, сосед-немец²⁴. Вольтер в это время работал над «Историей Петра Великого». Об этой работе в Петербурге хорошо знали, в т. ч. о подробностях сбора материалов (см., например, свидетельство А. Р. Воронцова [Сивков 1914: 67–68]); книгу ждали, а после ее выхода было предпринято несколько попыток перевода [Заборов 1978: 67]. Впереди были наставления философа императрице Екатерине II. Противопоставление образа представителя молодой европейской нации развращенным и переставшим развиваться парижанам позволяло автору «Русского в Париже» критиковать французские порядки и одновременно выражать надежду на, можно сказать, передачу эстафеты народу, лишь вступающему в общую европейскую семью. Вольтеру было важно показать, что русский наблюдает центр цивилизованного мира с его же периферии, а не судит обо всем, как гурон из «Простодушного», с точки зрения дикаря. Русский для Вольтера — житель молодой страны, которому принадлежит будущее, в отличие от старой Европы, и он может здраво судить о ее настоящем.

Сатирические произведения русских современников сатиры Вольтера, например, А. П. Сумарокова, еще не содержат каких-либо подобий образу Русского, созданному в ней. Понятие же *общей семьи*, в которой русские хоть и младшие, но уже равноправные члены, с наибольшим эффектом будет развито у Н. М. Карамзина.

Мы не беремся утверждать, что поэма Вольтера стала *непосредственным* источником образа «россиянина в Париже» для авторов русских травелогов. Скорее всего, это и не было так: прямых свидетельств о знакомстве с этим текстом кого-либо из них у нас нет. Но она демонстрирует набор характеристик, придававшихся образу русского путешественника по крайней

²⁴ М. Б. Велижев, напоминая, с опорой на исследователей творчества Вольтера, что поэма была «направлена не столько на развенчание французских культурных достижений, сколько на осмеяние собственных противников» (и впоследствии этот контекст был утерян даже соотечественниками автора), сопоставляет ее с «Персидскими письмами» Монтескье. В обоих случаях, с точки зрения исследователя, право судить Францию предоставлено жителю «варварской» страны [Велижев 2007: 45–46]. Соглашаясь с тем, что сочинение Монтескье конструктивно близко «Русскому в Париже», укажем на важность для Вольтера концепции общеевропейского и даже всемирного прогресса, в которую вписывалось его вполне умозрительное представление о России и ради которой он даже замалчивал ряд фактов или упрощал их трактовку, что ставили ему в вину его критики. «Варварской» Россия могла быть для читателей, но не для автора поэмы, писавшего в эти же годы Дидро о том, что «скифы покровительствуют философии».

мере до середины XIX века. В его состав стабильно входит компонент «приобщение к европейской цивилизации» — в процитированном выше фрагменте оно отмечено как заслуга Петра I, — получающий разное содержание, от ориентации на Европу до отторжения от нее «почвенников». Колебание между этими полюсами или их комбинация во многом будет определять и позу каждого путешественника по отношению к Европе.

Обе модели, «вольтеровская» и «новиковская», отразились в травелогах, авторы которых либо воспроизводили путь вольтеровского Русского (от восторга к разочарованию), либо вынуждены были отвечать на обвинения в «парижелюбстве». Каждое произведение, рассматриваемое ниже, имеет дело по крайней мере с одной из названных версий этой модели.

Так, граф А. Р. Воронцов в «Записках», рассказывая о своем путешествии 1758 года в Париж, совершенном им в 16-летнем возрасте, дает оценку увиденному им (делал он это ретроспективно, в 1805 году, а «Записки» впервые были опубликованы только в 1872–1883 годах). Он показывает себя не как «молодого поросенка», а как готового к поучительному путешествию воспитанника благородного семейства:

Мое семейство имело ко мне достаточно доверия, чтоб не назначать никакого ко мне гувернера для сопровождения меня до Парижа. Мне шел тогда семнадцатый год; но я могу сказать, что мое поведение во время пути оправдало доверие моих родных, так как я ни разу не впал в те увлечения, которые так свойственны молодым людям моих лет <...> Я могу сказать, что этот отъезд во Францию имел большое влияние на склад моего ума, так как он способствовал моему умственному развитию и еще усилил мою склонность к деловым занятиям (цит. по: [Сивков 1914: 66]).

Текст Воронцова содержит не только декларацию сознательного подхода к путешествию, якобы проявленного 16-летним юношей, но и доказательства этой позиции в его поведении. В Мангейме на обеде у курфюрста случайно встретив Вольтера, Воронцов буквально приклеивается к нему, вслушивается в каждое его слово; посещая спектакли по пьесам Вольтера, следит за реакцией автора; наконец, наносит ему визиты раз в два дня и проводит в разговорах с ним по нескольку часов.

Потом появляются и оценки увиденного:

...жилища там <в Венгрии. — А. С.> <...> похожи на наши деревенские дома, с той только разницей, что там в каждом селении есть порядочная гостиница <...>; императрица-королева завела там несколько немецких колоний, <...> устроив это дело очень толково (а не так, как это делается у нас); <...> чиновники ее не совершали постыдных и скандальных грабежей <...> все было вовремя заготовлено для колонистов <...> [Там же].

Впрочем, это уже взгляд из 1805 года, взгляд горячего сторонника союза с Австрией и Англией [Удовик 2005: 131, 140–141], склонного поэтому с преувеличенным вниманием относиться к удачным, на его взгляд, заведениям в этих странах. Приписывать эти оценки молодому Воронцову

нельзя²⁵. Тем не менее то, каким он себя показывает, свидетельствует, что авторы записок о путешествиях в течение XVIII века серьезно обдумывали модель «россиянин в Европе» и осмыслили ее применительно к себе. Воронцов-юноша предстает в описании зрелого Воронцова любознательным и нацеленным на пользу, образование:

Я старался познакомиться с Парижем, много ходил пешком, посещал лавки и книжные магазины. Огромное число этих последних поразило меня. <...> Меня, естественно, очень поразила и громадность Парижа, и многочисленность его населения, и предприимчивая деятельность жителей [Сивков 1914: 69]²⁶.

Имеется и фрагмент о «национальном характере». Говоря о соучениках по рейтарскому училищу в Страсбурге (поступление в которое и было целью путешествия), Воронцов отмечает:

<...> живя там, можно было составить себе понятие о духе различных провинций. Некоторые из воспитанников сохраняли свой провинциальный характер и в школе, как например бретонцы, которые были большею частью горячие головы [Там же: 69–70].

Но в этом рассуждении отсутствует такой важный компонент национальной характеристики, который мы увидим в других произведениях, как взаимообусловленность различных обстоятельств жизни народа, например, географических и политических, так что его нельзя назвать полновесным взглядом на другую страну.

В ретроспективном одобрении рассудительности юноши, отправленного на обучение, к Воронцову чрезвычайно близок его протеже в Коммерц-коллегии А. Н. Радищев. В «Житии Федора Васильевича Ушакова» (описывающем жизнь группы русских студентов пусть и не в Париже, но за границей, в Лейпциге) заглавный герой оказывается в трактовке автора пылким, но благонамеренным юношей, который стремится к саморазвитию на пользу отечества и заступает за несправедливо обиженных товарищей. К «Житию» приложены философские рефераты покойного Ушакова, таким образом, юноша представлен читателю и как будущий философ (см. подробнее об этом [Костин 2005]).

²⁵ Ср. взгляд опытного в государственных делах И. И. Шувалова на жизнь прусских крестьян (в письме к сестре от 20 мая 1763 года): «...истинно надивится довольно не можно с каким прилежанием и усердием все подеревням, где ехал, приказы исполняют; правители же все имеют самое малое жалованье. Мужики знающия, разумные истари, итак кажется малаго счастья своему состоянию ожидать могут. Доволен каждый своим состоянием, и главное удовольствие во исполнении своей должности почитает. Сие приобретается долгим временем добраго воспитания. Везде по деревням мальчики и девочки учатся грамоти и божескому закону. Всякой получает пропитание своими трудами. Молодые видя пример в старых привыкают ктрудолюбию свозрастом» [Шувалов 1845: 133–134].

²⁶ Ср. выделенное им качество «предприимчивая деятельность» с процитированным выше утверждением Матвеева: «Народ как парижской, так и во всей Франции весьма многоработной и ко внутреннему исследованию всяких художеств поятой» [Матвеев 1972: 50].

Можно предположить, что мы имеем дело с общим топосом (восходящим, например, к «Размышлениям» Марка Аврелия, хорошо известным в России XVIII века), возможно также, что Воронцов и Радищев обсуждали между собой заграничный опыт и сформировали близкие взгляды на него. Воронцов мог ориентироваться на книгу Радищева (вышедшую значительно раньше, чем он приступил к мемуарам). Не исключено, что у обоих сказалась практика писать студенческие отчеты тем, кто платил за обучение. Для нашей работы важен не генезис этой общности. Оба автора — моралисты, их герои молоды, стремятся развиваться и нацелены на добродетель.

Если появление «моральной критики» в «Записках» Воронцова может быть обусловлено ретроспективным взглядом, то в другом травелоге она вполне современна записи. Речь идет о «Журнале путешествия» Н. А. Демидова, описывающем его с женой поездку для лечения на воды в 1771–1773 годах (опубл. 1786). Как сообщается в предисловии, это произведение было издано для его семьи как рассказ о его жизни: «Сей же журнал издается для его фамилии в единственное напаятование тех мест, кои в чужих краях по возможности видеть случилось» [Демидов 1786: III нenum.]. Польза издания прозы, в том числе путевой, должна была идти на первом месте. «Журнал путешествия» представляет собой ежедневные записи, которые Демидов вел во время поездки. Нам неизвестен автограф, и судить о степени обработанности записей потому невозможно, но ясно, что они ближе всего к дневнику (журналу, по терминологии XVIII века).

Париж был лишь промежуточной целью четы Демидовых, однако его описания занимают в «Журнале» значительное место. Французская столица, по словам Демидова, «в рассуждении всего наивеликолепный и славный город в Европе, и где что ни родится, ни делается и ни производится, из других частей света привезенное в нем все найти можно» [Там же: 23]. После подробного перечисления, куда ходили путешественники и что они видели в течение нескольких месяцев пребывания в Париже («соборная Богородицына церковь», т. е. Нотр-Дам [Там же: 24], Королевская библиотека, Итальянская комедия и т. д.), уже сообщая об отплытии в Англию, в Дувре Демидов пишет: «Здесь примечено было не малое различие, как в одеянии, так и во всех ухватках между французами и англичанами, столь близкими соседями» [Там же: 47], но это рассуждение не развито. Кроме того, речь идет, скорее всего, не о национальном характере, а о бегло отмеченном внешнем впечатлении.

При этом в «Журнале» Демидова есть целый раздел «Заключение о Париже», выведенный за пределы подневных записей и выдержанный в паралистических тонах:

Здесь от излишнего оказания дружбы беспрестанно обнимаются; а некоторые <из обнимающихся. — А. С.> друг друга терпеть не могут <...> Народ по большей части занимается операми и другими позорищами <...> Красота женского пола в Париже подобна часовой пружине, которая сходит каждые сутки, равным образом и прелесть их заводится всякое утро; она подобна цветку, который рождается и умирает в один день [Там же: 61].

О сочинениях, продающихся в парижских книжных магазинах, Демидов говорит:

Есть в них писанные о законе, а несравненно более разрушающие оный; одно сочинение поучает высочайшим добродетелям, а другое гнуснейшим порокам; <...> первые читаются весьма мало, понеже народ развратился; другие ж продаются весьма дорогою ценою и с великою тайностию... [Демидов 1786: 61]²⁷.

Последнее из демидовских «заключений» отражает метаописание прозы в XVIII веке, важное для самоопределения литературных путешествий, встраивающихся в существующую систему жанров. За прозой оставляли право быть литературой настолько, насколько она учит добродетели. Это признавали и Ломоносов с Сумароковым — сами авторы исторических, критических, похвальных прозаических сочинений, и масоны новиковского круга, издававшие в своих переводах морально-религиозные трактаты. Романы же осуждались, так как могли развращать нравы. Письма или путевые записки частного человека, включающие подробности о том, что он «всякой день пил два раза чай» и «спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире» [Карамзин 1984: 393], сближающиеся через такие подробности с романами, с этой точки зрения не приносили пользы, которая должна быть свойственна прозе (см. об этом [Роболи 1926: 45]).

Замечания Демидова, конечно, могут быть собственными наблюдениями путешественника; но это не мешает тому, что они сводятся к общим местам критики нравов, относящейся далеко не к одной Франции, и их можно найти в любом сатирическом журнале XVIII века.

Характерным для травелога представляется само наличие обобщающего заключения. Та же структура повторится и в письмах Фонвизина, и в книге Карамзина. Но у них это примет более сложно организованные формы.

Итоги первой главы

Мы рассмотрели несколько явлений русской литературы XVIII века, вписывающихся в модель «встречи с Европой». Это путевые записки А. А. Матвеева, перевод А. Д. Кантемиром «Письма» Дж. П. Мараны и его отзывы о Европе в переписке, теоретические и сатирические произведения 1760-х годов — времени значительного подъема темы путешествий в русской культуре, а также ряд повествовательных текстов, посвященных путешествиям россиян за границу в XVIII веке, в том числе описывающих эти поездки ретроспективно.

²⁷ По-видимому, речь идет о книгах, запрещенных во Франции и издававшихся в обход цензуры, прежде всего в Голландии. «Писанными о законе» были, например, «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо (1762), ряд статей «Энциклопедии» Д. Дидро и д'Аламбера и др. «Гнуснейшим порокам» могли учить как они, так и порнографические сочинения.

На примере повествовательного приема — описания французских памятников и надписей к ним на латинском языке — мы показали, что функция произведения Матвеева не сводится к чисто дипломатическим задачам собственно путешествия. Описания, зафиксированные в тексте Матвеева, несли политическую нагрузку: автор одновременно собирал образцы надписей и демонстрировал новый для России способ прославления правящего монарха. Изменение функции заимствованных элементов в путешествии Матвеева связано с процессом размежевания со старой культурой. Это наполнение модели «встречи с Европой» специфично для самого раннего этапа развития русской литературы путешествий нового времени, но в то же время оно задает вектор «пишу о Европе, думаю о России» практически для всех произведений, о которых пойдет речь ниже.

Рассмотренные нами сочинения и взгляды Кантмеира не были известны публике в XVIII веке, но для истории литературных путешествий они важны не менее опубликованных текстов, поскольку отражают особую конструкцию повествования, используемую в русской литературе в дальнейшем. Субъект в этой конструкции осведомлен о том, что на его восприятие оказывают влияние его общефилософские установки, и уведомляет об этом адресата. Ситуация диалога — новая культурная модель — становится основой для формирования всех последующих моделей.

На протяжении XVIII века модель «встречи с Европой» осмыслялась прежде всего в рамках сатирических текстов, высмеивавших заграничные вояжи. Ее продуктивность в дальнейшем для сатирической литературы в жанрах, не связанных с травелогами, не помешала, однако, включению некоторых элементов данной разновидности модели «встречи с Европой» во вполне серьезные произведения, главным образом за счет ее морального заряда. Эмоция разочарования, возникающая в сатире как результат столкновения с реальным путешественником, вернувшимся из-за границы, будет перенесена на саму заграничную реальность. Подробнее этот эффект мы рассмотрим в следующей главе, о «Письмах из Франции» Д. И. Фонвизина.

Прагматика мемуарных текстов, сообщающих о европейских путешествиях россиян, также была часто связана с моралью. Они находятся в промежутке между текстами о событиях и текстами о личности, описания обосновываются той пользой, которую приносит приобретаемый в путешествии опыт.

В § 1.3 мы также рассмотрели один из ключевых текстов — поэму Вольтера «Русский в Париже», предложившую модель молодого россиянина, приехавшего с периферии европейского просвещения в центр цивилизации. Этому персонажу было доверено судить об успехах Европы и критиковать отход от заявленных идеалов. Указание на молодость (или на возраст вообще как на категорию) окажется одной из ключевых тем для русского путешественника. Как мы увидим ниже, карамзинский путешественник, можно сказать, «принципиально» молод, так же как путешественнику Достоевского «принципиально» сорок лет. Возраст как биографический момент будет использоваться и авторами пародийных или иронических травелогов.

Таким образом, в рассмотренную нами модель «встречи с Европой» вписываются различные повествовательные позы, она не представляет собой чего-то единого и неизменного, и в то же время благодаря своей гибкости претендует на то, чтобы считаться универсальной.

ГЛАВА 2

ПРИСТРАСТНОСТЬ КАК ПРИЕМ: «ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ» Д. И. ФОНВИЗИНА

Рассмотренные в первой главе травелоги — не литературные, написанные не ради чтения их публикой, во всяком случае, между их появлением и подготовкой текстов прошли многие годы. Книга Воронцова не была дописана, и, возможно, он, как и его сестра кн. Е. Р. Дашкова, готовил свои мемуары для близкого круга читателей или для издания за границей²⁸. Книга Демидова была издана малым тиражом и, в отличие, например, от *журнальной* публикации «Писем русского путешественника» Карамзина, не претендовала на широкий круг читателей. Тем не менее примененные в этих текстах модели — вели к той, что используется в публицистических «Письмах из Франции» (1777–1778) Д. И. Фонвизина.

Во время путешествия 1777–1778 годов (как и раньше Демидовы, и многие другие путешественники, Фонвизин с женой Екатериной Ивановной ехали на лечение к водам). Фонвизин писал письма, обращенные к трем разным адресатам: Ф. И. Аргамаковой — сестре писателя, с ее мужем, генерал-аншефу П. И. Панину — брату начальника и покровителя Фонвизина Н. И. Панина, и Я. И. Булгакову — сослуживцу по коллегии иностранных дел и многолетнему корреспонденту писателя²⁹. Часть писем была выделена самим автором и, по-видимому, предназначалась для распространения,

²⁸ Дашкову в большей степени, чем Воронцова, можно назвать автором путешествий: так, она опубликовала (анонимно) отчет о своем путешествии по Англии 1770 года [Дашкова 1775], а в состав «Записок» предполагала включить описание поездки по Горной Швейцарии в 1777 году, оставшееся в свое время неопубликованным [Дашкова 1995]. О нем см. [Кросс 1995]. Это последнее интересно тем, что входит скорее в группу европейских пред- и сентиментальных путешествий, останавливающихся на частных подробностях поездки и чувствах путешественника, а в перспективе русской литературы выглядит непосредственным предшественником «Писем русского путешественника» Карамзина. Завершает свое описание Дашкова всё тем же общим «заклчением», в котором она отмечает почти полное отсутствие общественной жизни этих мест, объясняя это природными факторами [Дашкова 1995: 254–255].

²⁹ Скорее всего, не все письма до нас дошли, о чем можно судить по некоторым оговоркам Фонвизина; так в письме к сестре от 20 ноября / 1 декабря 1777 года он пишет: «... в Мангейме я у двора представился и уже писал к вам, сколь много доволен я приемом курфирста и всей фамилии» [Фонвизин 1959: 2, 417]. Между тем предыдущее известное нам письмо датируется сентябрем 1777 года, отправлено из Варшавы и, разумеется, сведений о приеме в Мангейме не содержит. Также в письме от 11/22 марта 1778 года из Парижа к тому же адресату говорится: «Вы получили письмо наше из Марселя» [Там же: 437], а писем из Марселя неизвестно. В письмах к Панину и Булгакову таких неувязок нет. О лакунах в составе и хронологии писем

а возможно, в дальнейшем для публикации (см., например: [Фонвизин 1959: 2, 624; Заборов 1994]). Именно письма к Панину, фигурировавшие затем как «Письма к одному вельможе в Москву», впервые были частично опубликованы только в 1798 году, когда уже умерли и автор, и адресат³⁰.

Письма не были путевыми заметками, не были «журналом» путешествия (ссылки на такой «журнал» есть в письмах к сестре, см. прим. 19). Действительно ли был у Фонвизина замысел издать эти письма как самостоятельное произведение, выяснить уже невозможно. П. А. Вяземский полагал: «Вероятно, они были писаны не для печати: этим оправдываются встречающиеся в них небрежности в слоге и в языке; но тем строже судим мы мнения писателя, который, в частной и приятельской переписке, мог свободно высказывать впечатления и мнения свои в их естественной наготе» [Вяземский. ПСС: 5, 78]. Ср. мнение Каченовского: «Фон-Визин писал к своему благодетелю, и думал более о людях и предметах, нежели о чистоте слога» [ВЕ 1806: 7, 165] (комментарий издателя к выражению «Le don gratuit с капитациею состоит в сборе с Лангедокской провинции <...>»).

Эти мнения стоит учитывать, но не опираться на них. Как бы Фонвизин переработал свои письма потом — мы не знаем, но его работа над текстом (см. ниже) говорит о том, что это — черновик будущей публикации (чем, кстати, он резко отличается от Карамзина, создававшего сразу литературный текст, а не реальные письма). В восприятии современников и ближайших следующих поколений они, вероятнее всего, были единым публицистическим произведением. Это можно понять из композиции первых неполных публикаций писем (в «Санкт-Петербургском вестнике» и «Вестнике Европы»), а также из наличия списков и из отзывов. Правда, о том, что многочисленные копии ходили по рукам, имеется минимум свидетельств³¹; нам известны

см. также вступительную статью Ж. Пруста “‘Les Lettres de France’ dans l’espace littéraire français” к французскому изданию «Писем...» Фонвизина [Fonvazine 1995: 22]. См. также свидетельство Вяземского: «Очень жаль, что из писем Фон-Визина утрачены те, в коих он подробно говорит о знакомстве своем с чудным Сен-Жерменем <...> Я знаю людей, которые читали эти письма: они были очень любопытны и, к сожалению, вероятно сгорели в Москве в 1812 году» [Вяземский. ПСС: 5, 91].

³⁰ Письмо из Аахена от 18/29 сентября 1778 года и из Парижа от 14/25 июня 1778 года: [СПЖ 1798]. Вторая публикация — в расширенном виде (уже шесть писем) — состоялась в 1806 году в «Вестнике Европы», издаваемом тогда М. Т. Каченовским. К двум опубликованным в «Санкт-Петербургском журнале» здесь были добавлены еще четыре письма: из Монпелье от 22 ноября / 3 декабря 1777 года, от 24 декабря 1777 года / 4 января 1778 года, от 15/26 января 1778 года и из Парижа от 20/31 марта 1778 года [ВЕ 1806: 7, 161–175; 8, 241–249]. Подробнее историю текста писем см. [Fonvazine 1995: 33–43]. Макогоненко пишет о десяти (!) письмах к Панину [Фонвизин, Радищев 1984: 492], публикуя восемь [Фонвизин 1959: 2, 453–490].

³¹ См. о них ниже, в § 2.3. Исследователи и биографы обычно отмечают циркуляцию копий, но не приводят данных об их наличии. Ср., например: «...в письмах, <...> между прочим, еще при жизни писателя распространявшихся в списках...» [Люстров 2013: 126–127]. Высказывание Вяземского о письмах, посвященных Сен-Жермену, приведенное нами в прим. 24, не подтверждает версию широкого распространения:

лишь *несколько копий* отдельных писем, хранящихся в РГАЛИ [Ф. 561. Оп. 3. Ед. хр. 498] (содержит только половину письма об изгнании червя, на обороте медицинский рецепт «от спазмов в желудке» и др.) и в Древлехранилище ИРЛИ, а также подборка всех писем к Панину, в переплете [РО ИРЛИ. Р. II. Оп. 1. Ед. хр. 465]; оригиналы хранятся в РГАДА³². Название «Письма из Франции» (далее — ПФ) часто используется в литературе и без кавычек, оно же дано в последнем и наиболее исправном издании (во французском переводе), подготовленном совместно российскими и французскими исследователями [Fonvizine 1995]. Существуют и другие варианты названия: так, Г. П. Макогоненко, полагавший (на наш взгляд, ошибочно), что письма планировались Фонвизинным к изданию как «Записки первого путешествия», отстаивал данную точку зрения, публикуя их под этим названием [Фонвизин, Радищев 1984: 93–128] (см. также комм. публикатора [Там же: 491–492])³³.

Основными пунктами маршрута были курорт Монпелье, где супруги провели зиму 1777–1778 годов, а Е. И. Фонвизина лечилась от глистов, — и Париж, в котором они жили весной–летом 1778 года и где застали такие значительные литературно-общественные события, как триумф Вольтера, незадолго до кончины вернувшегося в столицу Франции, и смерть Ж.-Ж. Руссо вскоре после скандала с публикацией его «Исповеди».

В письмах Фонвизин подчеркивает, что, во-первых, всё им написанное — выводы из увиденного собственными глазами, а во-вторых, что его

история авантюриста не могла не заинтересовать читателей, и если оригиналы этих писем сгорели, а копий не осталось, то их, скорее всего, и не было.

³² РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 3. Ед. хр. 3410. Л. 10–23. Здесь нет только одного письма: от 31 июля / 10 августа 1778 года, сохранившегося лишь фрагментарно. Прижизненных копий мы не нашли. Сборник Древлехранилища датируется 1799 годом (ошибки в написании иностранных имен и французских выражений говорят в пользу того, что письма переписывались не с издания, а с другой рукописи), подборка в РО ИРЛИ — 1800-ми годами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить П. Р. Заборова и А. Ю. Веселову за предоставленную ксерокопию оригиналов, сделанную для издания [Fonvizine 1995]. Сама рукопись была обнаружена в 1990-е годы тогдашней сотрудницей РГАДА Е. Герасимовой в фонде Паниных.

³³ Макогоненко отметил это название в объявлении об издании собрания сочинений Фонвизина в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1788 года, которое автор не успел или не смог подготовить [Фонвизин 1959: 2, 628]. В письме Фонвизина к сестре из Монпелье от ноября 1777 года есть указание: «Я делаю *особливый* журнал нашего вояжа» [Там же: 417; курсив мой. — А. С.], т. е. речи именно о переработке писем в журнал нет. Если и было отдельное произведение на основе этого «журнала», то неясно, должно ли оно было носить название «Записки *первого* путешествия»: хронологически первым оно было только для Е. И. Фонвизинной, но не для писателя, который с дипломатическим поручением ездил за границу в Гамбург в 1760-е годы. Правда, уже в издании П. А. Ефремова, вероятно, не знавшего объявления «Санкт-Петербургских ведомостей», письма 1777–1778 годов названы письмами из первого путешествия [Фонвизин 1866: 474], но насколько это соотносилось с авторской волей, сказать затруднительно. Возможно и то, что под «путешествием» в данном случае имелась в виду добровольная поездка, а не по обязанности.

цель — сформулировать и описать национальный характер (подразумевается, что французский, но может иметься в виду и национальный характер как общее понятие): «... стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то, что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере» [Фонвизин 1959: 2, 466].

Однако эти слова не должны вводить в заблуждение: в действительности цель писем Фонвизина — не в выявлении национального характера, а в демонстрации *отношения* к нему.

2.1. Модель «Россиянин в Париже» у Фонвизина

В самом деле, ПФ пестрят высказываниями о национальном характере французов. Он выделяет преимущественно неприглядные черты, такие как утрата понятия о чести:

Развращение нравов дошло до такой степени, что подлый поступок не наказывается уже и презрением; честнейшие действительно люди не имеют нимало твердости отличить бездельника от честного человека, считая, что таковая отличность была бы *contre la politesse française* [Фонвизин 1959: 2, 461];

... французы обманывают несравненно с большим искусством и не знают в обманах ни меры, ни стыда [Там же: 489];

колебания в выражении своих взглядов:

Почти всякий француз, если спросить его утвердительным образом, отвечает: да, а если отрицательным, о той же материи, отвечает: нет [Там же: 463];

и при этом нетерпимость к чужим мнениям:

Брат гонит брата за то, что один любит Расина, а другой Корнеля, ибо острота французского разума велит одному брату, любя Расина, ругать язвительно Корнеля и клясться пред светом, что Расин пред Корнелем, а брат его перед ним гроша не стоят [Там же: 482];

желание высмеять других:

Нет способнее французов усматривать смешное и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон [Там же: 473];

стремление к «забавам»:

Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроту, которою его природа одарила [Там же: 480–481];

корыстолюбие:

Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги. Из денег нет труда,

которого б не поднял, и нет подлости, которой бы не сделал. <...> Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века [Фонвизин 1959: 2, 481];

непостоянство, неустойчивость:

Надлежит отдать справедливость, что при неизъяснимом развращении нравов есть во французах доброта сердечная. Весьма редкий из них злопамятен — добродетель, конечно, непрочная, и полагаться на нее нельзя; по крайней мере и пороки в них не глубоко вкоренены. Непостоянство и ветреность не допускают ни пороку, ни добродетели в сердца их поселиться [Там же: 480];

сюда же можно отнести такую характеристику:

...француз всегда молод, а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость: следственно, в совершенном возрасте никогда не бывает [Там же: 482–483].

Пожалуй, единственное безоговорочно выделяемое Фонвизиним положительное качество — это изобретательность:

Нет в свете нации, которая б имела такой изобретательный ум, как французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся [Там же: 490].

Но если вспомнить, что обратная сторона такой остроты ума — развращение нравов, то общая картина вырисовывается весьма удручающая. При этом на концепцию «национального характера» она не работает, вопреки утверждению самого автора. И генетически, и по типу его характеристики французов более всего близки к критике нравов и описательным очеркам. Рассмотрим эту связь на примере произведений Ш. П. Дюкло и Л. С. Мерсье.

П. А. Вяземский отметил множество совпадений отдельных пассажей из писем Фонвизина с высказываниями из книги Шарля Дюкло «Рассуждения о нравах нашего века» (“*Considérations sur les moeurs de ce siècle*”, 1751) как раз в тех местах, где французские нравы критикуются наиболее пристрастно [Вяземский. ПСС: 5, 87–88]. Вот одно из приведенных Вяземским параллельных мест (курсив мой):

Фонвизин	Дюкло	перевод
Приметил я вообще, что француз всегда молод, а из молодости переваливается вдруг в дряхлую старость: следственно, в совершенном возрасте никогда не бывает [Фонвизин 1959: 2, 482–483].	<i>Le grand défaut de Français est d'avoir toujours le caractère jeune: par là il est souvent aimable et rarement sûr; il n'a presque point d'âge mûr et passe de la jeunesse à la caducité</i> (цит. по: [Вяземский. ПСС: 5, 87]).	Главный недостаток француза — это вечно юный характер: следовательно, он часто приятен и редко надежен; он почти не задерживается в среднем возрасте и из юности попадает в старость.

Здесь высказывание Дюкло как будто даже смягчено. То, что Дюкло прямо называет недостатком, Фонвизин подает как отмеченное им свойство. Амбивалентное «часто приятен и редко надежен» выпадает.

Еще несколько «доказательств обвинения» (как Вяземский называет параллели между Фонвизиным и Дюкло), например:

<p>Равенство есть благо, когда оно, как в Англии, основано на духе правления; но во Франции равенство есть зло, потому что происходит от развращения нравов [Фонвизин 1959: 2, 483].</p>	<p>Les mouers font à Paris ce que l'esprit du gouvernement fait à Londres. Tous les ordres vivent à Londres dans la familiarité, parce que tous les citoyens ont besoin les uns des autres: l'intérêt commun les rapproche. Les plaisirs produisent le meme effet à Paris; tout ceux qui se plaisent, se connaissent, avec cette différence que <i>l'égalité, qui est un bien quand elle part d'un principe du gouvernement, est un très-grand mal, quand elle ne vient que des mouers</i>, parce que cela n'arrive jamais que par leur corruption (цит. по: [Вяземский. ПСС: 5, 87–88]).</p>
--	---

Итак, книгу Дюкло можно считать хотя бы отчасти источником текста фонвизинских писем. Чем она могла привлечь Фонвизина? По содержанию это просветительская критика французского общества изнутри, и, естественно, Дюкло не был одинок в этом.

Для ответа на поставленный вопрос, на наш взгляд, важен дальнейший контекст использования этой книги Фонвизиным. В работах В. Д. Рака [Рак 2011] и С. В. Власова [Власов 2019] показано, что сочинение Дюкло послужило одним из источников фонвизинского «Опыта российского словника», наряду со словарем синонимов аббата Ж. Жирара “*Synonymes françois*” (а точнее — его переизданием 1769 года, осуществленным Н. Бозе, в которое и были включены примеры из Дюкло). Рискнем предположить, что обращение именно к лексикографической теме и соотношению синонимов в русском и французском языках спровоцировало интерес Фонвизина к книге Дюкло. Напомним, что в Париже он делал доклад о «свойствах языка нашего».

В. Д. Рак полагал:

«Размышления о нравах нынешнего века» были Фонвизину хорошо знакомы в самых тонких, по всей вероятности, подробностях, о чем свидетельствуют рассыпанные в немалом числе в его письмах мелкие цитаты из этой книги. Встретив в “*Synonymes françois*” контаминированные из нее цитаты, он, по-видимому, сличал их с оригиналом и устранил замеченное расхождение с имевшимся у него изданием, а также восполнил допущенный пропуск слова. Последнее при его знании текста книги он мог сделать, наверное, и по памяти [Рак 2011: 357–358].

На наш взгляд, при работе над письмами последовательность могла быть обратной: из словаря, с которым Фонвизин познакомился во время путешествия, он узнал о существовании книги Дюкло и использовал ее в письмах. «Итоговое» письмо, в которое попали выявленные Вяземским цитаты из Дюкло, предстает, таким образом, в новом, двойном контексте: это и опыт афористического сочинения, нового для России, и обращение к проблеме национального своеобразия на уровне языка.

Комментаторы французского издания ПФ отмечают параллели и с другим сочинением просветительской критики. Л.-С. Мерсье писал свои «Картины Парижа» уже после того, как Фонвизин вернулся в Россию (с 1781 года). Эти очерки повлияли на описания Карамзина в «Письмах русского путешественника», упоминает их и Вяземский, разбирая впечатления Фонвизина, однако повлиять на ПФ они никак не могли. И все же обратимся к ним как к типологической параллели, тем более знаменательной, что спустя несколько лет в журнале «Утра», издававшемся другом Фонвизина Плавильщиковым, был опубликован перевод А. А. Нартова из «Картин Парижа». См. об этом [Козьмин 1959: 119, 122]. Внимание к книге Мерсье было в фонвизинском круге. Что было общего между нею и ПФ?

Мерсье определяет свою задачу так: «Я изучаю нравственный облик города» [Мерсье 1935: 1, 28]. При этом его сочинение нельзя отнести к чистой моралистике. Он скорее предшественник «физиологий» XIX века, чем моралист, хотя, несомненно, его волнует «нравственный облик», но не парижан, а самого «города» — т. е. это нечто, складывающееся в целое из отдельных зарисовок. Принципы Мерсье — располагать среди пестрых очерков, посвященных описанию парижских «домов, бульваров, бабушек, вельмож, обедающих в гостях, книгонош и полиции» главы, служащие «узлом, связывающим рассыпанные очерки в единое целое», и обобщающие анализ общественных отношений [Там же: XX].

Рассмотрим и прокомментируем некоторые из этих очерков, соотносимых с высказываниями Фонвизина.

Мерсье называет придворных и знать «раболепными слугами» короля, ставшими такими в результате рабства, в котором они находятся у своих жен. Но это совсем не то рабство, какое европейцы находят в общественном устройстве России. Ср.:

Монарх извлек выгоды из этих стремлений дворянства, столь полезных для усиления его власти. Он вырвал из рук народа все золото, которое мог захватить, с тем, чтобы раздавать его своим придворным, превращенным в раболепных слуг [Там же: 32].

Это место соотносится с фонвизинским описанием сбора налогов в провинции Лангедок.

Мерсье стремится применить учение Монтескье к современному состоянию Франции и упоминает его, выражая такие, например, надежды:

Монтескье сказал: Все идет хорошо, когда деньги и вещи настолько соответствуют друг другу, что, имея первые, можно тотчас же получить вторые, и наоборот: если, имея вещи, можно получить за них деньги. Вот одна из плодотворных истин, над которой должны были бы призадуматься и верховные правители и государственные деятели; но они Монтескье не читают [Там же: 45].

Екатерина II как раз Монтескье читала. Фонвизин не дает прямых советов о сборе налогов, его картина — косвенная, и показывает, как это неправильно делается во Франции.

Мерсье упоминает, конечно, и парижские бойни, и зловоние:

Они устроены не за пределами города и не на окраинах, — они находятся в самом центре. Кровь ручьями течет по улицам, свертывается у вас под ногами и пачкает вам обувь [Мерсье 1935: 1, 103].

В каждом доме можно найти источник гниения; из множества отхожих ям исходят заразные испарения... [Там же: 107], —

но такие эпизоды подаются очеркистом без насмешки, с возмущением или бесстрастно.

С высказываниями Фонвизина о корыстолюбии энциклопедистов и других литераторов можно соотнести рассуждения на сходные темы у Мерсье:

Пенсии, назначаемые правительством, даются отнюдь ни наиболее нуждающимся, ни особенно полезным: самые изворотливые, самые дерзкие, самые ловкие интриганы захватывают все, предоставляя другим сидеть в недрах своих кабинетов и довольствоваться сознанием своих заслуг.

Бедность литератора является признаком добродетели и доказывает, что он никогда не унижал ни себя, ни свое перо; тот же, кто домогался пенсии и получил ее, сказать этого о себе по чистой совести не может. Его произведения могут быть безукоризненными, поведение же не всегда было таким [Там же: 325].

Но в целом Мерсье — как выразитель общего мнения, независимый или стремящийся выглядеть таковым наблюдатель — относится к ним хорошо. Называет Фонтенеля, Монтескьё, Вольтера, Руссо, аббата Рейналя, Д'Аламбера мудрецами; пусть и с иронией, но отмечает:

Литераторов нельзя уже ни подкупить, ни уничтожить. Если даже разбить все печатные станки, то и это ничего не изменит, так как одним своим молчанием они смогут руководить общественным мнением [Там же: 328–329].

Общественное мнение — это то, что Фонвизин обходит молчанием в ПФ, и это как раз то, что создается очерками Мерсье, нравоописательными или происходящими от нравоописательных. Автор таких очерков может принадлежать к какой-то группе, идеологии и т. п., но их построение и стиль создают видимость, претензию на нейтральность («средний стиль» не по языку, но по позе, который, возможно, и привлек к нему позже Карамзина). У Фонвизина иначе: поза слишком явно выдает тенденциозность. Однако само наличие взгляда наблюдателя, отстраненного или пристрастного, обязательно.

В заключение сопоставления с Мерсье скажем два слова об окружении, в котором писатель может формировать общественное мнение.

Иностранец, приезжающий в Париж, часто бывает введен в заблуждение: он воображает, что несколько рекомендательных писем откроют ему настежь двери наиболее знатных домов. Это большая ошибка <...> Одни только знаменитости разрушают на своем пути все преграды и имеют доступ всюду. Прочих же удостоивают несколькими приглашениями на обед и официальными визитами, но не допускают на частные собрания, где присущие парижанам любезность и остроумие проявляются во всем блеске [Там же: 490].

Из этой особенности парижского общества проистекает такая гордость Фонвизина тем, что он не просто был допущен на собрания кружка, но что его слушали там с большим вниманием и даже его выступления имели успех.

Фонвизин пишет о двух «сообществах», в которых он был во Франции, — это «литературная республика» ученых и писателей (об отдельных представителях которой он отзывается весьма нелестно) и сообщество местных русских.

Но все-таки возникает вопрос, зачем модель моральной критики подается Фонвизиним как иная модель — описание национального характера («... стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то, что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере» [Фонвизин 1959: 2, 466])? Вновь отметим, что Фонвизин не уточняет, чей национальный характер он имеет в виду. Казалось бы, ответ очевиден — французов. Но, как уже было сказано, может иметься в виду принцип описания национального характера, который следует понять на примере французов, чтобы потом применить его к россиянам.

Если взять весь корпус писем Фонвизина из путешествия 1777–1778 годов (в том числе к сестре, к Я. И. Булгакову), то в нем упоминаются и другие народы, имеющие собственный, непохожий на остальные, национальный характер: поляки, немцы. К ним у Фонвизина тоже были претензии, хотя и меньшие, чем к французам, но в письмах к Панину выстраивается особая логика.

Рассмотрим кратко, откуда и к кому он писал о разных национальных характерах (при выборке будем учитывать не только высказывания, в которых встречается это словосочетание, но любые упоминания, построенные по модели «Француз (поляк, немец) в целом, как представитель нации, имеет такую-то черту»).

Дата и место	П. И. Панину	Ф. И. Аргамаковой
18/29 IX 1777 года, Варшава		«...таких простаков, каковы поляки» [Фонвизин 1959: 2, 413]. «Развращение в жизни <в Варшаве. — А. С.> дошло до крайности» [Там же: 415].
20 XI (1 XII) 1777 года, Монпелье		«Удивиться должно, друг мой сестрица, какие здесь <во Франции> невежды» [Там же: 422]. «Вот уж немцы, так те, кроме на самих себя, ни на кого не походят» [Там же: 424].
22 XI (3 XII) 1777 года, Монпелье	«...дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут» [Фонвизин 1959: 2, 455].	

1 (12) XII 1777 года, Монпелье		Церковная служба и процессия по случаю съезда лангедокских депутатов «подает повод делать на нацию свои примечания» [Фонвизин 1959: 2, 426].
24 XII 1777 года (4 I 1778 года)	«...глубокое невежество весьма нередко. Оно сопровождается еще и ужасным суевери-ем» [Фонвизин 1959: 2, 459].	
31 XII 1777 года (11 I 1778 года), Монпелье		«...народ здешний с природы весьма скотиноват» [Там же: 427]. «Правда, что и господа изрядные есть скотики. Надобно знать, что такой голи, каковы французы, нет на свете» [Там же: 428]. «Я думаю, нет в свете нации легчевернее и безрассуднее» [Там же: 432]; «...хороши и англичане. Заехав в чужую землю, потому что в своей холодно, презирают жителей в глаза и на все их учтивости отвечают грубостью» [Там же]; «... немцы простее французов, но несравненно почтеннее...» [Там же: 433].
15(26) I 1778 года, Монпелье	«Вся честность на словах, и чем складнее у кого фразы, тем больше остерегаться должно какого-нибудь обмана. <...> Словом, деньги суть первое божество здешней земли» [Там же: 462].	
25 I (5 II) 1778 года, Монпелье	—	
11/22 III 1778 года, Париж		«Не могу никак сообразить того, как нация, чувствительнейшая и человеколюбивая, может быть так близка к варварству» [Там же: 440].
20/31 III 1778 года, Париж	«Здесь ко всему совершенно равнодушны, кроме вестей» [Там же: 468].	— ³⁴

³⁴ Вызывает сомнение как точность определения адресата, так и даже сама эпистолярная природа этого текста, включенного впервые в состав корпуса писем к родным Фонвизина П. П. Бекетовым, а вслед за ним и следующими издателями, в т. ч. П. А. Ефремовым и Г. П. Макогоненко. Это отрывок без обращения и подписи,

3/14 IV 1778 года, Париж		
[30] IV 1778 года, Париж ³⁵		«...все они так привязаны к своему отечеству, что лучше согласятся умереть, нежели его оставить» [Фонвизин 1959: 2, 442]; «...я моральною жизнью парижских французов очень недоволен» [Там же: 443].
14 (25) VI 1778 года, Париж	«Нет способнее французов усматривать смешное и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного» [Фонвизин 1959: 2, 473].	
[5 VII] 1778 года, Париж ³⁶		«Можно вообще сказать, что хорошее здесь найдешь поискавши, а худое само в глаза валит» [Там же: 449].
[10] VIII 1778 года, Париж ³⁷	—	
18 (29) IX 1778 года, Ахен	«Рассудка француз не имеет...» [Там же: 479].	

Булгакову Фонвизин пишет в основном по делам, конкретных замечаний о свойствах той или иной нации в этих трех письмах нет, высказывания предельно обобщенные:

Не скачаю вам описанием нашего вояжа, а скажу только, что он доказал мне истину пословицы: славны бубны за горами. Право, умные люди везде редки. Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent. Я думаю, что тот, кто родился, посчастливее того, кто умирает [Фонвизин 1959: 2, 492].

автограф его неизвестен. Он представляет собой перевод газетного известия о триумфе Вольтера в Национальном театре 30 марта 1778 года во время представления его трагедии «Ирена» (см. об этом ниже) и мог оказаться среди других писем, бывших в распоряжении издателя, случайно — как имеющий отношение к путешествию. Из других писем известно, что Фонвизин иногда присоединял к ним разные материалы: письмо Сен-Жермена [Фонвизин 1959: 2, 436], выпуск “Journal de Paris” и письмо Паэна де ла Бланшери [Там же: 450], портрет Вольтера [Там же: 470], а какие-то заметки мог передать и лично по возвращении.

³⁵ Датировка: [Fonvazine 1995: 131].

³⁶ Датировка: [Fonvazine 1995: 143].

³⁷ Датировка: [Fonvazine 1995: 149].

Только в одном из писем к этому адресату находится «национальное» высказывание: «Дамы польские очень любезны» [Фонвизин 1959: 2, 490] (письмо от 18/29 IX 1777 года из Варшавы).

Почти в каждом из писем Фонвизина к сестре мы найдем какое-либо высказывание на национальную тему, но они не имеют характера памфлета. Автор сообщает, что «между двумя нациями <т. е. русской и французской> есть превеликое сходство не только в лицах, но в обычаях и ухватках. Особенно здешний <простой> народ ужасно как на наш походит. По улицам кричат точно так, как у нас, и одежда женская одинакова. Вот уж немцы, так те, кроме на самих себя, ни на кого не походят» [Фонвизин 1959: 2, 424]. Его недовольство вызывают в первую очередь «парижские французы» [Там же: 442]. Некоторые положительные качества он видит и в простом народе (например, патриотизм), и в дворянах, особенно в провинции. При этом в письмах к сестре достается от Фонвизина и его соотечественникам за разврат и ложь, его прикрывающую:

Между тем, скажу тебе, что меня здесь более всего удивляет: это мои любезные сограждане. Из них есть такие чудачки, что вне себя от одного имени Парижа; а при всем том, я сам свидетель, что они умирают со скуки; если б не спектакли и не много было здесь русских, то бы действительно Париж укоротил век многих наших русских французов. Итак, кто тебя станет уверять, что Париж центр забав и веселий, не верь: все это глупая аффектация; все лгут без милосердия. <...> Надобно сказать, что дам чужестранных здесь очень немного, а мужчин, особливо же молодых, пропасть. Их две вещи в Париж привлекают: спектакли да девки. Отними сии две приманки, то целые две трети чужестранцев тотчас уедут из Парижа [Там же: 443–444].

Итогом путешествия, если следить по письмам к сестре, можно назвать следующую сентенцию:

Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные люди везде редки, что дураков везде изобильно и, словом, что наша нация не хуже ни которой и что мы дома можем наслаждаться истинным счастьем, за которым нет нужды шататься в чужих краях [Там же: 448].

Ср. мнение И. Клиспис о письмах Фонвизина из Италии 1780-х годов: по контрасту с восхищением искусством прошлого, которое он наблюдает в галереях и храмах, местное население его разочаровывает [Kleespies 2002: 254–258].

Но все будет по-иному, если мы рассмотрим письма к Панину. Позиция повествователя этих писем выглядит как сочетание франкофобии и русофилии. Заявленному в письме к сестре «ни в чем не ошибался как во мнении о Франции» здесь соответствует подробное свидетельство по каждому пункту. Напомним об отмеченном исследователями различии стиля в письмах Фонвизина к разным адресатам, о его склонности выстраивать письмо как тяготеющее к тому или иному жанру художественное произведение (см. [Серман 1988; Бухаркин 2004]). Очевидно, письма к Панину имели особое идеологическое значение — и художественное задание. Пристрастность в ПФ

не столько была следствием личных впечатлений (хотя в том, что таковые влияли на данные Фонвизиным оценки, легко убедиться), сколько служила приемом.

Мы полагаем, что этот прием мог быть позаимствован во французском источнике, содержавшем пристрастную оценку русской жизни, и направлен против него.

Во французской россике XVIII столетия традиционно выделяются две группы мнений, формирующихся вокруг оценки преобразований Петра I, — выражением крайних взглядов были точки зрения Вольтера, приветствовавшего цивилизаторскую деятельность Петра (прежде всего в «Истории Карла XII» и «Истории Петра Великого»), и Ж.-Ж. Руссо, скептически относившегося к ней (в «Общественном договоре») ³⁸ (см., например: [Мезин 2018: 153]). Особняком стоят размышления о России Д. Дидро и некоторых других просветителей, а также свидетельства очевидцев: К. К. Рюльера, Фальконе, Ф. Локателли, Ф. Альгаротти, Ж. Шапп д'Отроша, зафиксировавших многие «негативные черты в состоянии “преображенной” Петром I России» [Там же: 90]. Из них наибольшую (и даже скандальную) известность получили ходившие в списках «Анекдоты революции в России в 1762 году» Рюльера и книга Шапп д'Отроша «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 году» (“*Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761*”, 1768).

Аббат Шапп д'Отрош после научной экспедиции в Тобольск для наблюдения за прохождением Венеры через диск Солнца написал «Путешествие в Сибирь...», в котором «с истинно галльской просветительской иронией» выносил «меткие, хотя часто и очень поверхностные и скоропалительные суждения о русских порядках» [Зиннер 1968: 207]. Книга продемонстрировала Европе удручающий взгляд на русский национальный характер: русские — варварский народ, пребывающий в рабстве из-за деспотизма. Плюсы и минусы в национальных приоритетах были расставлены явно: русофобия и франкофилия, и в реакции на книгу д'Отроша высказывались обвинения в пристрастности. Самый известный ответ на нее — «Антидот, или Ответ на гнусную книгу, напечатанную на хорошей бумаге» (“*Antidote, ou Examen d'un mauvais livre superbement imprimé, intitulé Voyage en Sibérie*”, 1770), сочиненный, без сомнения, Екатериной II; избранная европейская публика сочла его неудовлетворительным. Вероятно, не всех он устраивал и в России. Мы далеки от мысли, что Фонвизин ставил себе цель *en pendant* императрице оспорить конкретно сочинение Шаппа, применив к Франции его схему критики России, но как образец от противоположного он мог его использовать.

У нас нет документального подтверждения знакомства Фонвизина ни с текстом Шаппа, ни с «Антидотом». Однако содержание последнего еще

³⁸ Как курьез отметим, что в тексте «Писем» поведение этих двух философов по отношению к путешествующей чете символично: Вольтер замечает ожидающую его появления «на крыльчке» театра Е. И. Фонвизину и приветствует ее, а Руссо запирается в своей «берлоге» и умирает накануне предполагавшейся встречи.

в 1769 году, когда он составлялся, знали и за пределами двора. Так, по мнению В. П. Степанова, оно по слухам стало известно Сумарокову [Письма 1980: 208], также оно, очевидно, не было секретом в панинском круге. При этом, как отметил еще А. Н. Пыпин, несмотря на то что «уже за четыре года до выхода книги аббата Шаппа, он был известен русским патриотам за недоброхота», «сохранилось <...> очень мало ближайших сведений о том впечатлении, какое произвела книга аббата в Петербурге» [Екатерина II 1901: IV].

Какова модель описания России, представленная в «Путешествии в Сибирь...»?

Шапп не выстраивает общей картины национального характера, скорее мимоходом бросает характеристики:

Чета Воронцовых покровительствует иностранцам. Искренность и приветливость — качества в России более редкостные, нежели где-либо еще, — распознаются в них с первого взгляда всяким, кто удостоивается чести их лицезреть [Шапп 2005: 72]³⁹.

Русским сего сословия <речь о простолюдинах. — А. С.> неведома иная субординация, кроме той, что блюдут презренные рабы, и господина они признают лишь по жестокому обращению, коему с его стороны подвергаются [Там же: 71].

Последнее замечание Шапп делает после того, как его обокрали сопровождающие.

Шапп пишет, рассказывая о пребывании в Польше, что группа русских извозчиков ограбила и убила некое французское семейство Лебель, отправлявшееся по делам торговли из Варшавы в Петербург. Он подчеркивает, что для поляков «подобные преступления <...> редкость»; называет преступников то «разбойниками», то просто «русскими», используя эти слова пусть как контекстные, но из-за этого не менее обидные для русских синонимы; указывает на то, что убийцы стремились скрыться в России, надеясь на милость правительства, чего в итоге и добились [Там же: 62–63]. Безусловно, это предвзятое описание⁴⁰. Мы не найдем в россике XVIII века других настолько несправедливых «антирусских» выпадов, построенных по принципу распространения частного на общее, даже среди тех, кто был настроен скептически. И Руссо, и другие, в том числе путешественники, писали о России, скорее рассуждая о ней в целом, чем на отдельных примерах. В сочинении аббата, в соответствии с его названием, использован другой принцип — принцип иллюстрации и тенденциозного обобщения. У Шаппа есть политическая позиция (Россия — страна рабов, из-за деспотизма

³⁹ Здесь и далее цитаты приводятся по сокращенному русскому переводу, доступному нам. Существует более отвечающее научным принципам современное издание «Путешествия в Сибирь» на языке оригинала, см. об этом [Вошинская 2005].

⁴⁰ Тема разбоя продолжается в описании поездки в Сибирь: так, в селении Чуметри (?) Шапп встречает местных жителей, напуганных притеснениями со стороны чиновников, проезжающих через это место, заставляющих отдавать своих лошадей и т. п. [Шапп 2005: 79]. Это уже разбой на государственном уровне.

русские ведут себя как рабы, это рефрен)⁴¹, и все его иллюстрации работают на доказательство этого тезиса. О польских нравах Шапп отзывался не более благожелательно. Однако описание польской части пути занимает несопоставимо меньше места.

Один из немногих образов в пути Шаппа по России, имеющих положительные коннотации, — это быстрая езда на санях (но и тут нередки жалобы на то, что сани часто переворачиваются, у них отлетают важные детали, можно провалиться под лед, если ехать по замерзшей реке и т. п.). Такие образы не подчиняются логике иллюстрации.

Мы предполагаем, что принцип тенденциозного обобщения, примененный в «Путешествии в Сибирь», оказался воспринятым и примененным Фонвизиным (см., например, «опаление свиньи» в центре города [Фонвизин 1959: 2, 455–456])⁴².

Вместе с тем, для Шаппа, например, политическая и военная мощь России — предмет критики (и опровержения), Фонвизин таких вопросов относительно Франции не касается, и внешнеполитических интересов в его письмах не найти. Часть исследователей даже отмечают, что он игнорирует политические события⁴³.

У Шаппа, как и у других просветителей, всё вертится вокруг фигуры Петра I, хотя он его прямо называет редко. Суть в том, что петровские преобразования ничего не поменяли: деспотизм остался деспотизмом, он формирует всеобщее рабство, не только крепостных⁴⁴, но и придворных — рабов своего господина-царя и даже иностранцев на императорской службе: «...народ так и остался в рабской зависимости <...> все дворяне обязаны нести службу, и никто не волен от нее уклониться» [Шапп 2005: 167]. Богатый меценат, подобный Демидову, может снабдить своего садовника инструментами и книгами по точным наукам, заметив в нем способность к ним [Шапп 2005: 85], а может, как Петр I, «отобрать кисть у молодого

⁴¹ М. Левитт выводит это положение Шаппа из «физиологического» аргумента: “For the purposes of this analysis I will center on one such measurement: Russia’s alleged lack of “nervous juice”” [Levitt 2009: 347].

⁴² Ср. также яркое описание этого принципа Вяземским: «...мудрено поверить, что во всей Франции столовое белье так мерзко, что праздничное у знатных людей хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается; что оно так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Далее жалуется он, что дыры на салфетках зашиты голубыми нитками. Одним словом, анекдот путешественника, который, проезжая чрез один Немецкий город, видел, как в гостинице рыжая женщина била мальчика, и записал в своих путевых записках: “Здесь все женщины рыжи и злы” — может совершенно быть применен к большей части наблюдений Фон-Визина» [Вяземский. ПСС: 5, 80–81].

⁴³ К. В. Пигарев, Г. П. Макогоненко и вслед за ними А. Стричек говорят о секретной дипломатической миссии Фонвизина, связывая ее со встречей с Б. Франклином; свидетельств этой миссии должны были остаться в неизвестных нам письмах Фонвизина к Н. И. Панину (поэтому в письмах к его брату этих тем он не касается). См., например: [Пигарев 1954: 120; Макогоненко 1961: 175; Стричек 1994: 306, 313–314]. С. Б. Рассадин называет эту сторону поездки «полудетективной» [Рассадин 1980: 146].

⁴⁴ Об отношении просветителей к крепостному праву см., например, [Моряков 2017].

рисовальщика» и «всыпать бездарю батогов» [Шапп 2005: 167]. Всё зависит от желания того, в чьих руках власть.

Отметим, что Фонвизин в письмах ни разу не упоминает Петра I. Между тем, к его услугам имелось множество анекдотов о пребывании царя в Париже: от истории с баней, при помощи которой, по его словам, русские укрепляли свое здоровье, расслабленное парижским воздухом, до символического шествия по дворцу с юным Людовиком XV на руках — и до заключавшей пребывание Петра I в столице Франции великолепной сентенции, соединяющей в себе главные характеристики русского взгляда на Париж в XVIII веке, и близкой позиции Фонвизина: «Жалею, что домашние обстоятельства принуждают меня оставить то место, где наука и искусства цветут. И жалею притом, что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред; а от смрада вымрет» [Нартов 1842: 125]; варианты этого высказывания см. [Вагеманс 2017: 152–153].

Одна из тем, приковывающих внимание путешественника, — это налоги. Шапп описывает их еще в Польше и дальше в течение всей поездки [Шапп 2005: 77, 79]. Для французского читателя это была актуальная тема. О том, как она разворачивается в письмах Фонвизина, см. ниже, § 2.3. Отметим здесь, что фоном обращения к ней русского писателя было, в том числе, и развитие ее в книге Шаппа.

Книга Шаппа д'Отроша важна не только сама по себе, но и контекстом вызванной ею реакции в России.

Екатерининский ответ на книгу Шаппа — «Антидот», который в Европе оценили так (Дидро):

Вот книга наихудшая по своему тону, самая мелочная по своей сущности, абсурдная по своим претензиям. Все опровергается таким образом, будто русские — самый мудрый, самый цивилизованный, самый многочисленный и богатый народ на земле. Тот, кто опровергает Шаппа, достоин большего презрения за свою лесть, чем Шапп за свои ошибки и ложь (цит. по [Мезин 2018: 85]).

Это как бы логика «Писем», как она видится Вяземскому. «Антидот» был предназначен для опровержения слово за слово всей книги Шаппа, но в том числе и противопоставлял «новый» порядок в России, воцарившийся с Екатериной II, режиму Людовика XV.

В «Антидоте» две важные в контексте «Писем» тенденции: возвеличение русского прошлого до Петра и галлофобия.

Екатерина ведет речь от имени молодого писателя-воина, который

...самим фактом своего существования должен был свидетельствовать об успехах России на пути к Просвещению и о формировании нового европейски ориентированного культурного слоя <...> Важно, что автор «Антидота» претендовал на обладание обширными знаниями и языком современной цивилизации — настолько, что мог с легкостью опровергать тезисы французского ученого, члена Академии наук [Проскурина 2017: 20–21].

Дело не ограничивалось только задетой национальной гордостью (хотя для генезиса ПФ, мы полагаем, это важно). «Антидот» был «реакцией императрицы на то, что она восприняла как оскорбление России и как личный вызов всей ее программе политических и культурных преобразований» (“...the empress’ response to what she took as an insult to Russia and as a personal challenge to her entire program of political and cultural transformation”) [Levitt 2009: 352]. В контексте политико-дипломатического противостояния с Францией конца 1760-х – начала 1770-х годов «Антидот» выполнял идеологическую функцию, наряду с высказываниями императрицы в письмах к Вольтеру показывая, что Россия, ведущая войну с действительно варварской страной (а не варварской только по отзывам заезжего аббата) — Турцией, перенимает роль ведущей просвещенной державы у Франции, беря дело борьбы европейской цивилизации с отсталым Востоком под свой «символический контр-роль» [Проскурина 2017: 23].

С правительством нового короля — Людовика XVI — Россия была в дружеских отношениях, но Панины продолжали занимать антифранцузскую позицию. В 1775 году, после разгрома пугачевского восстания и восстановления затронутых им губерний, П. И. Панин уехал в почетную отставку в Москву, не дождавись завершения интриги между братом и Г. А. Потемкиным [Мадариага 2002: 420–424, 431].

Напомним, что, по наблюдениям В. Проскуриной, русская литература заметила поворот во внешней политике: в августе 1774 года прекращается антифранцузская критика в «Кошельке» Новикова в связи с потеплением в русско-французских отношениях [Проскурина 2017: 44–45]. Тем более Фонвизин, если бы он действительно отвечал д’Отрошу, «переворачивая» его критику, не мог не знать, что делает ход, который уже несколько лет не был актуальным для двора и мог быть расценен как демонстрация оппозиционных настроений.

Прямых отсылок к спору аббата и императрицы у Фонвизина нет, и мы не будем строить выводов на основе гипотетической связи ПФ с текстами этого спора, «Путешествием в Сибирь» и «Антидотом». Однако самый контекст был настолько заметным, что его нельзя было обойти⁴⁵.

Критика Фонвизиним именно Д’Аламбера (см. § 2.2) получает новое освещение, если вспомнить, что тот рекомендовал французской Академии наук напечатать сочинение Шаппа д’Отроша (эта рекомендация была опубликована в первом томе сочинения аббата). У Фонвизина философы в самой

⁴⁵ Скрытой репликой, отделенной от полемики более чем десятком лет, можно считать, например, топоним в названии «Письма к другу, жительствовавшему в Тобольске» А. Н. Радищева (1782), обсуждающего роль Петра I и содержащего прямые реплики в сторону французских просветителей. Тобольск был включен в название, возможно, не только из-за места жительства адресата — С. Н. Янова [Старцев 1990: 158–174], но и как отсылка к тому, что в Тобольск шел путь Шапп д’Отроша и Тобольском же открывался второй том «Антидота». Покровитель Радищева А. Р. Воронцов, брат княгини Дашковой, которой многие, в том числе Вольтер, приписывали сочинение «Антидота», определенно знал эту книгу и мог указать на нее Радищеву.

Франции — изгой. Екатерина берет их под покровительство, а д'Отрошу отказывает в праве им именоваться.

Тенденциозность Шаппа не стоит принимать за прямое политическое высказывание, как это сделала в «Антидоте» Екатерина II⁴⁶. Тем более нужно осторожно отнестись к тенденциозности ПФ. Здесь это — прием, что подтверждается сопоставлением с «Путешествием в Сибирь» и «Антидотом».

Еще один источник идеологически значимой формы, на наш взгляд, — рукописный журнал Ф. М. Гримма и Мейстера “Correspondance littéraire, philosophique et critique” (1753–1790). Это были копии, рассылавшиеся циркулярно два раза в месяц, сначала принцессе Саксен-Готской, потом многим дворам, в т. ч. Екатерине II. Во время отсутствия Гримма в Париже ею ведал Дидро, а в конце 1770-х годов Мейстер. В 1773–1774 и 1776–1777 годах Гримм был в Петербурге. Помимо собственно журнала, высланного в Петербург ко двору, с императрицей его связывали длительная личная переписка (см. [Екатерина II 1878]) и посредничество при покупке Екатериной картин (это — интерес Фонвизина, но более поздний). Фонвизин не мог не знать об этих визитах, но едва ли был лично с Гриммом знаком. «Фонвизин, без сомнения, читал “Корреспонденцию” Гримма, так как без нее не могла обойтись коллегия иностранных дел», — считал Гуковский [Гуковский 1947: 174], и мы разделяем это мнение.

Хотя сам по себе Гримм был всегда, по-видимому, лояльно настроен по отношению к российскому правительству, критически относившиеся к ней Дидро, Д'Аламбер и Руссо в разные годы были среди авторов “Correspondance littéraire”. Темы журнала касались не только литературно-художественных, научных и театральных новостей Парижа и Франции, но и социально-политической жизни. Этот тип бесцензурного сочинения мог, на наш взгляд, иметь в виду Фонвизин, создавая форму ПФ.

Остроту разоблачениям французского характера и образа жизни, которые делает Фонвизин, придает тот факт, что содержание многих писем восходит к французским источникам. Помимо заимствований из Дюкло, рассмотренных выше, у Фонвизина были источники и в периодике. А. Стричек установил, что фонвизинское описание торжеств в честь Вольтера⁴⁷ в письмах к сестре и к Панину от 31 марта 1778 года представляет собой перевод из газеты “Journal de Paris” (№ 90 от 31 марта) [Стричек 1994: 321–322]⁴⁸. Здесь

⁴⁶ Распространенные бездоказательные суждения о том, что Шапп участвовал в политическом заказе, предоставив свое имя для опытных литераторов, написавших по требованию Людовика XV памфлет, чтобы унижить российскую императрицу [Шишкин, Глезеров 2022], основаны, по-видимому, на предположениях, сделанных в «Антидоте».

⁴⁷ Помимо того, что Вольтер обладал авторитетом среди европейских и, в том числе, русских интеллектуалов, для Фонвизина это еще и автор переведенной им трагедии «Альзира».

⁴⁸ Для письма к Ф. И. Аргамаковой от 30 апреля Стричек находит аналогичный источник в № 119 газеты от 29 апреля. См. также [Fonvizin 1995: 111–112, 129].

есть и сведения о заседании Академии, и отчет о спектакле, причем они идут подряд, как и в фонвизинских письмах:

Variété

Hier M. de Voltaire s'est rendu à l'assemblée particuliere de l'Académie Française, qui étoit tres-nombreuse. L'Académie est allée au devant de lui pour le recevoir. Il a été conduit à la place du Directeur, que cet Officier & l'Académie l'ont prié d'occuper. Ensuite l'Académie l'a nommé par acclamation, Directeur du Trimestre d'Avril, sans tirer au sort suivant l'usage. La séance a été remplie par la lecture de l'éloge de Despreaux, par M. d'Alembert, éloge que cet Académicien célèbre a lu dans une assemblée publique & qui a eu le plus grand succes.

Spectacles

Comédie Française

M. de Voltaire a été hier à la Comédie & a assisté à la représentation de sa Tragédie d'Irène. A peine le Public a-t-il aperçu son carrosse, qu'il s'est transporté en foule au-devant de lui, & intérêt qu'il inspire a pu seul modérer une curiosité qui lui ferait peut-être devenue funeste. <...> [Journal de Paris. 1778: 90; 359].

По имеющимся описаниям, а также изображениям вольтеровского триумфа видно, что не было единой версии, кто именно увенчивал его, сидящего в ложе: актриса Вестрис одна или вместе с актером Бризаром. В газетном сообщении упоминается один Бризар, как и у Фонвизина. Повторяются и все другие ключевые элементы описания. Более того: если письмо к Панину не во всем точно следует "Journal de Paris", то в письме к сестре нет заимствований ни из какого другого источника, кроме газеты; и, соответственно, все фразы этого письма, за одним исключением, находят параллельные места в газете в том же порядке:

Variété	[Письмо сестре]
Hier M. de Voltaire s'est rendu à l'assemblée particuliere de l'Académie Française, qui étoit tres-nombreuse.	Вчера Волтер был во Французской академии. Собрание было многочисленное.
L'Académie est allée au devant de lui pour le recevoir.	Члены Академии вышли ему навстречу.
Il a été conduit à la place du Directeur, que cet Officier & l'Académie l'ont prié d'occuper. Ensuite l'Académie l'a nommé par acclamation, Directeur du Trimestre d'Avril, sans tirer au sort suivant l'usage.	Он посажен был на директорское место и, минуя обыкновенное баллотирование, выбран единогласно в директоры на апрельскую четверть года.
La séance a été remplie par la lecture de l'éloge de Despreaux, par M. d'Alembert, éloge que cet Académicien célèbre a lu dans une assemblée publique & qui a eu le plus grand succes.	
Spectacles. Comédie Française	
M. de Voltaire a été hier à la Comédie & a assisté à la représentation de sa Tragédie d'Irène.	Представлена была новая трагедия: «Ирена, или Алексей Комнин».

A peine le Public a-t-il aperçu son carrosse, qu'il s'est transporté en foule au-devant de lui, & intérêt qu'il inspire a pu seul modérer une curiosité qui lui ferait peut-être devenue funeste.	От Академии до театра, куда он поехал, народ провожал его с непрерывными восклицаниями ⁴⁹ .
<...>	
Un instant apres qu'il a ete place dans sa Loge, le sieur Brizard a paru, tenant une couronne & l'a mise sur sa tete.	При входе в ложу публика аплодировала ему многократно с неописанным восторгом, а спустя несколько минут Бризар, как старший актер, вошел к нему в ложу с венком, который надел ему на голову.
M. de Voltaire y a porte la main, & s'apercevant des honneurs qu'on lui rendoit, l'a otee, en disant d'un ton penetre : <i>Ah ! Dieu, vous voulez done me faire mourir !</i>	Вольтер тотчас снял с себя венок и, заплакав от радости, сказал вслух Бризару: "Ah, Dieu, vous voulez done me faire mourir!"

Ни адресат — П. И. Панин, ни биограф Фонвизина — П. А. Вяземский, по-видимому, не могли узнать это заимствование. Однако, как мы уже отметили выше, не весь текст адресованного Панину письма-репортажа заимствован из газеты. В ней отсутствует рассказ о том, как Вольтера после представления «Ирены» провожала домой толпа и какие крики раздавались при этом:

Как же скоро Волтер сел в свою карету, то народ, остановив кучера, закричал: "des flambeaux, des flambeaux!" По принесении факелов, велели кучеру ехать шагом и бесчисленное множество народа с факелами проводило его до самого дома, крича непрерывно: "vive Voltaire!" [Фонвизин 1959: 2, 469–470].

Поиск этих строк в печатных источниках 1778 года пока ничего не дал. Однако в "Correspondance littéraire" Гримма описание театрального триумфа Вольтера в финальной части очень близко к тексту Фонвизина:

On l'a retenu le plus longtemps qu'il a été possible à la porte de la Comédie. Le peuple criait: *Des flambeaux, des flambeaux! que tout le monde puisse le voir!* Quand il a été dans sa voiture, la foule s'est pressée autour de lui; on est monté sur le marchepied, on s'est accroché aux portières du carrosse pour lui baiser les mains. <...> On a supplié le cocher d'aller au pas, afin de pouvoir le suivre, et une partie du peuple l'a accompagné ainsi, en criant des *Vive Voltaire!* jusqu'au Pont-Royal [Correspondance littéraire 1880: 72].

Это показывает, что Фонвизин не просто переводил один какой-то источник, а брал сведения из разных мест и выстраивал на их основе новый текст в соответствии с собственным планом. К дате, выставленной над письмом, других публикаций, кроме статьи в "Journal de Paris", просто еще не успело появиться. Знакомство с текстом из "Correspondance littéraire" на следующий же день после представления нужно исключить (даже если он уже был написан). Здесь мы имеем дело с совпадением фактов, но не выражений, как

⁴⁹ В письме это предложение и предыдущее стоят в обратном порядке.

в “Journal de Paris”. Поэтому мы полагаем, что этот фрагмент — вкрапление некоего устно-литературного субстрата, быстро сформировавшегося предания о событиях вокруг Вольтера, часть которого вошла в газетные отчеты и — независимо друг от друга — в письмо Фонвизина и в “Correspondance littéraire”⁵⁰.

Фонвизин записал то, что *говорили* о вольтеровском триумфе, опираясь на текст газеты в тех моментах, которые были ею зафиксированы⁵¹, и если не источником, то стимулом могло быть и обсуждение. На самом деле Фонвизин по крайней мере видел Вольтера в этот день⁵², но записал не то, что видел, а воспользовался, во-первых, газетой, во-вторых, общим рассказом, скомпилировав их. Перед нами — фиксация момента, когда совершающееся событие становится нарративом, через устное общение в салонах и кулуарах — что и нашло потом отражение в двух не зависимых друг от друга

⁵⁰ В самом журнале Гримма описание триумфа не следует за газетным известием (с. 69–72). Мы ознакомились также с другими источниками. В правительственной “Gazette de France” (в № 26–28 от 30 марта – 6 апреля) сведений о триумфе Вольтера нет, и это понятно: это была не тема газеты, сообщавшей в основном о политических событиях, к тому же конфликт Вольтера с двором не способствовал подробному освещению его деятельности в официальной прессе. Даже сведения о смерти Вольтера уложились в ней в четыре строки: “Marie-François Arouet de Voltaire, Gentilhomme ordinaire du Roi, un des Quatante de l’Académie Française, est mori le 30 du mois dernier, âgé de quatre vingt quatre ans & quelques mois” [Gazette de France 1778: 206].

⁵¹ У Фонвизина есть указание на то, что актеры играли гораздо лучше, чем на премьере — так что отчасти, может быть, это и личное впечатление. С одной стороны, Фонвизин был на премьере «Ирены» и остался ею недоволен, см. письмо к сестре от 11 марта [Фонвизин 1959: 2, 440]. Поэтому оценка «играна была гораздо с большим совершенством» вполне объяснима. С другой — оценка повторяется в других версиях событий.

Фонвизин	Лагарп
«Трагедия играна была гораздо с большим совершенством, нежели в прежние представления».	Elle fut jouée mieux qu’elle ne l’avoit encore été; les Acteurs redoubloient d’efforts & de talent, & la scène se ressentoit de la présence du Dieu («Пьеса была сыграна лучше, чем раньше; актеры приложили вдвое больше стараний и таланта, и на сцене ощущалось присутствие Бога») [Journal de la littérature 1778: 467].

Если верить тому, что оценка дана Фонвизиним и Лагарпом независимо друг от друга, необъяснима последовательность — место этого фрагмента в целом высказывания. А. Стричек отметил еще одно заимствование, правда, ошибочно отнес его к коронованию Вольтера 30 марта [Стричек 1994: 475–476]. На деле имеется в виду представление «Альзиры» 27 апреля: «Сам Волтер несколько раз кричал ему: bravo!» [Фонвизин 1959: 2, 448]. В газете нет только этой детали в описании спектакля, там говорится иначе [Journal de Paris. 1778: 119, 475] (как нет, разумеется, и встречи четы Фонвизинных с Вольтером у входа в театр).

⁵² В другом письме он сообщает, что трижды видел Вольтера в Париже. Две других встречи также описаны; только в рассматриваемом случае не указано особо, что Фонвизин был очевидцем торжеств. Возможно, это косвенное свидетельство того, что здесь он опирается не на свои наблюдения, а на источник.

источниках. Каждая деталь была важна, рассказывалась и пересказывалась много раз, потому что Вольтер появился в Париже после долгого отсутствия, а реакция народа на его приезд была бурной: «Я уверен, что если б глубокая старость и немощи его не отягчали и он захотел бы проповедовать теперь новую какую секту, то б весь народ к нему обратился» [Фонвизин 1959: 2, 469].

Стоит напомнить и о том, что Фонвизин вошел в круг французских литераторов: ему наносили визиты Мармонтель, Тома, он встречался не только (по-видимому, лишь мельком) с Вольтером, но и с поносимым им д'Аламбером, участвовал в собраниях общества “Le Rendez-vous de la République des Lettres”. Сообщение о его вхождении в это ученое общество было опубликовано все в той же “Journal de Paris” [Journal de Paris. 1778: 172], см. об этом [Эджертон 1966]. Так что использование текста газеты было естественным элементом связи с ней, которая делала Фонвизина участником французской литературной жизни.

Фонвизин не дает собственной оценки ни событиям в театре, ни избранию Вольтера в директоры Академии, которое, безусловно, не было нейтральным событием, но требовало определенной трактовки. Так, Мерсье писал спустя несколько лет (впрочем, едва ли имея в виду Вольтера):

Писателю, желающему сделаться членом Академии, еще задолго до избрания приходится смириться. Его перо смягчается, как только он подумает о том, что в будущем ему понадобится одобрение Двора, который сможет закрыть ему двери, невзирая на единодушный выбор всей Академии. Писатель боится не понравиться и всячески стремится избегнуть этой неприятности. Правда в его извращенном изображении теряет свой подлинный облик. <...> Французская академия пользуется и может пользоваться уважением только в Париже. Эпиграммы, которые на нее сыплются со всех сторон, спасают ее от забвения [Мерсье 1935: 2, 221].

Могло ли ускользнуть от взгляда Фонвизина то обстоятельство, что Французская академия на рубеже 1770–1780-х годов — политическое явление, возможно, в большей степени, чем культурное? Избрание Вольтера было неким жестом, но означало ли оно попытку поглощения независимого писателя придворной культурой или напротив, победу его над Двором, этого Фонвизин не касается⁵³.

Современники упрекали Фонвизина в заимствованиях в других его сочинениях. Так считал Вяземский, Стричек обнаружил еще заимствования.

⁵³ Фонвизин и сам стал членом академии — Российской — правда, уже позже (1783). Если ему была известна репутация Французской академии (а она, несомненно, была известна), то умолчание о ней было бы возможным счесть проявлением академической солидарности или нежелания подать очередной повод для нападок в тяжелый для его репутации год [Степанов 1986]. Эта осторожность снова (как и совпадение одной фразы с “Correspondence” Гримма) заставляет нас — крайне осторожно — задать вопрос о датировке если не самих писем, то некой редакторской работы над тем текстом, который известен нам по автографу, и возвращает к версии Макогоненко.

Вероятно, этим можно заниматься еще долго, но, на наш взгляд, суть заключается в том, как они использованы⁵⁴. Мы полагаем, что использование источников преследовало несколько целей.

Выбранный Фонвизиным способ подачи материала, во-первых, создает эффект передачи разговоров, создания устного субстрата писем. Во-вторых, автор писем предстает весьма информированным корреспондентом. Важно то (и на это работают оба названных эффекта), что Фонвизин создает цельный образ говорящего⁵⁵.

Кроме того, и это главное: пересказывая газету, Фонвизин изображает национальный характер французов, как он его понимает, а не просто высказывается о нем. Здесь важен отбор фактов, а не то, заимствованы они или нет.

Независимо от наличия источников, все написанное подается Фонвизиным как результат личных наблюдений; попутно автор демонстрирует свою осведомленность — то, что он свободно владеет местным контекстом, что придает вес его наблюдениям и выводам.

Поза эпистолярного *alter ego* Фонвизина объединяет типичные черты нравоописания с новым, актуальным для европейских литератур поиском национальной идентичности. Недостатки французского национального характера — это аргумент, новый для своей эпохи, он направлен на то, чтобы Россия не слишком ориентировалась на Францию, а задумалась о пути, который был бы больше согласован с собственным национальным характером русских. Та же мысль будет развита им и позже, в «Нескольких вопросах» (1783), и в статье «Рассуждения о национальном любочестии» (1785): «В чем заключается наш национальный характер?» [Фонвизин 1959: 2, 275].

Конечно, понятие о национальном характере не было новостью в русской литературе, в том числе, в сатирической трактовке. Тот же Новиков в «Английской прогулке» говорит о «французской наглости» и «английской грубости» [Новиков 1951: 120]. Но именно у Фонвизина национальный характер, во-первых, становится предметом конструирования (а не воспроизведением общих мест), а во-вторых, функция этого конструкта отлична

⁵⁴ Ср. мнение Г. А. Гуковского: «Такие напр. письма, как те, которые он писал к П. И. Панину из-за границы, представляют собою очерки, статьи, иногда фельетоны, тщательно литературно обработанные и рассчитанные на широкое распространение в списках. <...> Фонвизин собирал для них материалы, заимствовал те или иные мотивы и данные из книг (французских, конечно, но м. б. и русских), строил их и отделявал как боевые и художественные произведения» [РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. № 213. Л. 2].

⁵⁵ С. Дикинсон называет Фонвизина первым изобретателем образа «русского путешественника», до Карамзина, хотя и указывает на различия между ними [Dickinson 2006: 48–49]. До «Писем русского путешественника» с их постоянной игрой масками, прячущими лицо русского путешественника и этой сменой в какой-то мере выражающими его протестическую сущность, остается один шаг. Д. Оффорд полагает, что Фонвизин в письмах стоит на грани между русским дворянином-путешественником, не публикующим свои записки, и самосознающим нарратором [Offord 2000: 628].

от предшественников, по крайней мере, от авторов травелогов: за конструируемым характером французов всегда стоит конструируемый же (по замыслу автора — конструируемый читателем) характер россиян. Но это нам еще предстоит доказать.

2.2. «Философы нынешнего века» у Д. И. Фонвизина и Н. М. Карамзина

Рассмотрим прагматику ПФ на примере высказываний о «философах нынешнего века», как Фонвизин называет прежде всего энциклопедистов, к 1770-м годам пользовавшихся авторитетом у русской публики, несмотря на уже наступившее охлаждение между ними и российской императрицей. Его высказывания почти не имеют аналогов в предшествовавшей русской литературе (хотя она и предпочитала скептика Вольтера и чувствительного Руссо, а также отчасти Монтескье Дидро и Д'Аламберу):

Корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самых философов нынешнего века. В рассуждении денег не гнушаются и они человеческою слабостью. Д'Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие [Фонвизин 1959: 2, 481];

...о здешних ученых можно по справедливости сказать, что весьма мало из них соединили свои знания с поведением. <...> Весьма учтивое и приятельское их со мною обхождение не ослепило глаз моих на их пороки. <...> Конечно, ни один из них не поколеблется сделать презрительнейшую подлость для корысти или тщеславия. Я не нахожу, что б в свете так мало друг на друга походило, как философия на философов [Там же: 475].

В приведенном фрагменте, конечно, следует видеть не только и не столько осуждение Фонвизиным-человеком личных качеств французских «ученых людей» (которое, впрочем, могло иметь место). Идя вразрез с общепринятым в XVIII веке отношением к философам⁵⁶, Фонвизин создавал образ подлинно просвещенного русского наблюдателя, который может трезво оценивать людей и установления, не ослепляясь репутацией. При этом он не стремится полностью дистанцироваться от предубеждений, если они связаны с позитивным образом собственной страны: «...научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой: но последнюю во многом наслаждается» [Там же: 485–486].

Как отметил еще П. А. Вяземский в биографии Фонвизина [Вяземский. ПСС: 5, 91], несмотря на жалобы на равнодушие местного света, Фонвизин

⁵⁶ Отметим, что Екатерина II была в сложных отношениях с д'Аламбером, а Дидро ее скорее разочаровал (см., например: [Мезин 2018: 106–137]). Так что ко времени написания французских писем Фонвизин должен был понимать, что он подвергает прямой критике философов, неугодных императрице.

был принят в одно время с Б. Франклином в вышеупомянутое общество “Le Rendez-vous de la République des Lettres”, среди его знакомых были Л. Тома (чьё сочинение о Марке Аврелии он перевел на русский язык) и Ж.-Ф. Мармонтель, и в целом его положение в центре просвещения должно было «примирить его с Францией». Добавим к этому факт, Вяземскому не известный и в ПФ не отраженный: в рапортах парижской полиции как вновь прибывший в столицу иностранец Фонвизин был записан с такими определениями: «советник российской императрицы» (“conseiller de l’impératrice de Russie”: очевидно, произошла путаница при переводе его чина), «дворянин» (“gentilhomme”) и «литератор» (“un homme de lettres”) (см.: [Кондаков 2019: 259]). Последняя номинация особенно важна, потому что отражает либо самоопределение Фонвизина, либо, скорее всего, сведения, полученные полицией от его французских знакомых.

Сообщество ученых, писателей, эрудитов в целом имело во Франции самоназвание “République des lettres”, и связи между ними существовали не сами по себе, но в системе (подробнее об этом см. [Waquet 1984]). Таким образом, биографический автор, находясь в писательской среде, имел больше возможностей для взвешенной оценки «республики литераторов», чем это показывает имплицитный автор писем.

Фрагмент о Вольтере заканчивается словами:

Сколь ни много торжеств имел г. Волтер в течение века своего, но вчерашний день был, без сомнения, наилучший в его жизни, которая, однако, скоро пресечется, ибо сколь он теперь благообразен, ваше сиятельство увидеть изволите по приложенному здесь его портрету, весьма на него похожему;

а следующий начинается такими:

Что ж надлежит до другого чудотворца, Сен-Жермена, я расстался с ним дружески, и на предложение его, коим сулил мне золотые горы, отвечал благодарностию, сказав ему, что если он имеет толь полезные для России проекты, то может отнестися с ними к находящемуся в Дрездене нашему поверенному в делах [Фонвизин 1959: 2, 471].

Ирония выражена не только по отношению к Сен-Жермену, но отчасти и к Вольтеру («сколь он теперь благообразен»), а эпитет «другой чудотворец» означает, что Вольтер — первый чудотворец.

Вместе с тем, рассмотренный выше вольтеровский эпизод писем показывает, каким «властителем дум», общественным деятелем, сопоставимым по влиянию и народной любви с верховной властью, может быть писатель, драматург, которого толпа носит на руках в прямом смысле.

Если сообщение о триумфе Вольтера можно проверить по газете и поверить автору письма; то мнение о д’Аламбере, хотя проверить его невозможно, тоже принимается на веру. Авторская установка и вся организация текста таковы, что читатель не может ему не верить.

Спустя чуть более десяти лет после того, как Фонвизин создал свои письма, критика французских философов обрела новое направление: их

начали обвинять в том, что их антиклерикальная пропаганда и «просвещение» воздействовали на третье сословие как катализатор революционных настроений. Эта позиция — на грани политических обвинений — обрела своих сторонников как во Франции, так и в России. На фоне такой трактовки высказывание Фонвизина должно было восприниматься как звучащее в унисон с подобными суждениями. Частью российской публики это, безусловно, приветствовалось, но далеко не всеми.

Сложный вопрос об отношении Карамзина к французской революции может служить контекстом при сопоставлении общего взгляда Фонвизина на философов и позиции, выраженной в карамзинских «Письмах русского путешественника» (далее — ПРП).

Карамзин сходилась с Фонвизиным в критике жизни Франции: поглотивший все слои общества дух торгашества (см. об этом, например: [Иванов М. 1974: 140]), общий нравственный упадок и т. д. В этом оба писателя шли за собственно французской традицией: отчасти за Вольтером, отчасти за Руссо, отчасти (только Карамзин) за Мерсье с его «Картинами Парижа» (о соотношении их с ПФ см. выше, § 2.1).

Знакомство Карамзина с фонвизинскими письмами при написании фрагментов ПРП о Париже вполне вероятно, хотя его трудно доказать. Письма Карамзина, помеченные Страсбургом и Лионом, были опубликованы сразу же, в «Московском журнале», а значит впечатления от первого периода революции, вынесенные из этих мест, не могли осложняться размышлениями, связанными с последующими событиями: якобинским террором, возвышением Наполеона, войнами коалиции и т. д. В случае с его парижскими письмами мы располагаем текстом, напечатанным намного позже (о времени его создания можно строить лишь более или менее правдоподобные гипотезы [Серман 1988]). Те письма, в которых мы видим следы знакомства с текстом Фонвизина, впервые были опубликованы в составе отдельного издания ПРП в 1801 году. Более ранние редакции этих фрагментов неизвестны (во французской статье Карамзина «Несколько слов о русской литературе» в “*Spectateur du Nord*” упоминалась пятая часть и был сделан ее реферат, но это единственное косвенное свидетельство существования текста — какого именно, неизвестно). Следовательно, в момент подготовки к печати «парижской» части текста ПРП Карамзин уже мог ознакомиться с двумя опубликованными в «Санкт-Петербургском журнале» в 1798 году письмами к Панину и не только запомнить ставшую много позже крылатой фразу «рассудка француз не имеет», вошедшую в одно из них, но и оценить общий тон Фонвизина⁵⁷.

⁵⁷ П. Н. Берков и Г. П. Макогоненко полагали, что до 1798 года Карамзин мог не знать о существовании этих писем, так как в статье «Несколько слов о русской литературе», опубликованной годом ранее, он сообщает, что до ПРП еще никто из его соотечественников не путешествовал «с пером в руке» [Карамзин 1964: 2, 533–534].

Здесь нам важны не мнение самого Карамзина о Фонвизине или о Франци, а то, каков карамзинский «русский путешественник» и как он соотносится с фонвизинским путешественником. Фонвизин не упоминается в ПРП, нет его имени и ни в одном из исследовательских комментариев к ним; почти нет и специальной литературы, сопоставляющей два этих произведения⁵⁸. Вяземский, не нашедший между произведениями ничего общего, утверждал:

Писанные без педантизма, без догматической важности, они <ПРП. — А. С.> содержат более истин и тонких наблюдений о Франции и Французах, нежели письма Фон-Визина, которые писаны будто с кафедры, во услышание и трепет грешников. В одном только Карамзин сходится с ним, — во мнении о физической нечистоте Парижа [Вяземский. ПСС: 5, 87].

Но действительно ли Карамзин проигнорировал опыт своего предшественника? Мы попробовали сопоставить с этой точки зрения два текста, причем нас интересовали не только сходства, но и разногласия; и того, и другого найти удалось немного.

След «концепции разочарования» в «республике литераторов» во французской части ПРП различим меньше, чем в немецкой, в которой повествователь открытым текстом сообщает о своем неприятии раздоров среди писателей и ученых Германии, опускающихся до личных столкновений:

Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором Господа Берлинцы пишут. Где искать терпимости, естли самые Философы, самые просветители — а они так себя называют — оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный Философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей. Должно показывать заблуждения разума человеческого, с благородным жаром, но без злобы [Карамзин 1984: 38].

Карамзин указывает, что высокие нравственные качества должны сопровождать достоинство писателей и философов. Это неписанное правило, отклонения от которого путешественник наблюдает, находясь в Германии, в положительном смысле подтверждается в Швейцарии: здешние люди пера, Лафатер и особенно Бонне, показаны как в высшей степени достойные люди.

Во французских главах критика «философов» завуалирована, но позиция путешественника всё так же ясна. На наш взгляд, она проявляется, например, в сцене с Ж.-Ж. Бартеlemi в парижской Академии надписей:

Нынешний день молодой Скиф К*, в Академии Надписей и Словесности, имел щастие узнать Бартеlemi-Платона. <...> «Мне хотелось бы иметь с ним какоенибудь сходство. Я в Академии: Платон передо мною, но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса». — *Вы молоды, путешествуете, и конечно для того, чтобы украсить ваш разум познаниями: довольно сходства!* [Там же: 251–252].

⁵⁸ За исключением: [Kleespies 2002; Коптева 2011].

Комментаторы ПРП (и П. Н. Берков с Г. П. Макогоненко, и Ю. М. Лотман) — вслед за отсылкой, данной Карамзиным в примечании к этому эпизоду («Анахарсис, приехав в Афины, нашел Платона в Академии» [Карамзин 1984: 251]), а значит в соответствии с намерениями автора — отмечают его связь с сюжетом романа Бартеlemi «Путешествие юного Анахарсиса» [Карамзин 1964: 1, 798; Карамзин 1984: 655]. Вместе с тем, есть еще одно сходство.

Контекст этого эпизода можно расширить, опираясь на сведения, собранные В. Э. Вацуру в статье о пушкинском послании к князю Н. Б. Юсупову [Вацуру 2000]. Комментируя строку стихотворения «Как любопытный скиф афинскому софисту», исследователь отмечает, что она восходит одновременно к роману Бартеlemi и к сатире Вольтера «Русский в Париже» [Там же: 200–201, 207], к которой мы уже обращались. Герой последней говорит о себе так: “C’est un Scythe grossier voyageant dans Athene” («Грубый скиф, путешествующий в Афинах»). Таким образом, Пушкин, по мнению Вацуру, вслед за Вольтером соединяет тему стремления русского к европейской образованности с «сатирическим изображением общества, погрязшего в корыстных расчетах и чуждого искусству и наукам», которое было

...сквозной идеей нескольких вольтеровских посланий 1760-х – начала 1770-х гг.; ее мы находим в послании Сен-Ламберу (“A M. de Saint-Lambert”, 1769), она продолжается в посланиях к Даламберу, Буало и особенно к Горацию (“A Horace”, 1772); два последних, связанных даже формально (прямой отсылкой в тексте), объединяются и общностью замысла: они представляют собой обращение к поэтическому предшественнику как хранителю непреложных ценностей, противопоставляемых засилью дурного вкуса и «Плутону», царящему в Париже [Там же: 201].

Мы полагаем, что Карамзину, как и Пушкину, были известны не только роман Бартеlemi, который он называет, но и не названный им «Русский в Париже»⁵⁹. Работая с этими источниками, он «по-пушкински» соединяет две темы.

Обнаружение такого источника, скрытого, как это часто бывает у Карамзина, за какой-то более явной отсылкой, дает понять, что в его замысел входило добавить в восприятие фрагмента подготовленным читателем коннотацию разочарования русского в парижском ученом мире. «Простодушный повествователь», описывая далее речь Бартеlemi в собрании Академии надписей, замечает, что она была скучна, «непонятна» ему, хотя и отменно учена. Ясно, что эту оценку нельзя списывать на «невежество» повествователя, явно наигранное: он для острого словца может использовать в разговоре с автором отсылку к его произведению, а о материале самого произведения

⁵⁹ Если Карамзин и не знал поэмы Вольтера в оригинале (а также посланий Вольтера, о которых пишет Вацуру), то мимо него не мог пройти «Сатирический дух господина Вольтера» — сборник переводов И. Рахманинова, вышедший в 1789 году (т. е. накануне путешествия Карамзина) и содержащий прозаический перевод «Русского в Париже».

говорит, что якобы в нем не разбирается. Коннотация «разочарования» связана не с непониманием. Целью Карамзина было показать, что, несмотря на почтение к Бартеlemi, он ожидал бы от «республики философов» в революционное время более актуальных высказываний, чем рассуждения о древних артефактах — они могли бы если не увлечься текущим моментом, то по крайней мере не игнорировать его, а постараться осмыслить — как это делает он сам⁶⁰.

В рецензии на «Путешествие юного Анахарсиса» Бартеlemi, опубликованной в «Московском журнале», Карамзин выскажется о «Платоновой республике мудрецов» так: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее» [МЖ 1791: 211]. Ожидал ли Карамзин увидеть ее подобие в Париже, неясно, но русский путешественник дал понять, что солидарен с Платоном (см. об этом также: [Лотман 1987: 126]).

Фонвизин и Карамзин, каждый по-своему, в описаниях французских ученых и философов-современников подчеркивают разочарование, наступающее приехавшего из России наблюдателя, которого сами французы (и это не ускользает от русских авторов) полагают чем-то вроде «любопытного скифа», лишь ученика цивилизации, который не может ее судить. Появление русского национального самосознания (о рождении которого в русских как о том, чему помешали реформы Петра I, писал Руссо) конструируется авторами как свершившийся факт, и возникающий здесь образ скифа будет востребован в русской литературе, связывая темы духовного изгнания и, вместе с тем, особого предназначения русских — вплоть до блоковского «Нам внятно все <...> Мы помним все — парижских улиц ад, и венецианские прохлады» («Скифы», 1918).

Дополним приведенные соответствия сопоставлением нескольких конкретных эпизодов ПФ и ПРП.

Прежде всего, описание обстоятельств смерти Руссо — здесь у Фонвизина и Карамзина различны и сведения, и самый тон записей. Вдова Руссо Тереза у Фонвизина — «такая алчная к деньгам, какой свет не производил. Ей показалось долго дожидаться мужней смерти» [Фонвизин 1959: 2, 451], — она предает волю мужа, тайно продав текст «Исповеди» издателям (здесь мы тоже видим след устного предания: сам Фонвизин не смог встретиться с Руссо, о чем сообщает адресатам, и, конечно, при продаже рукописи не присутствовал; как и в случае с триумфом Вольтера, здесь явно передаются новости, слухи, анекдоты, возможно, что-то и из газет). У Карамзина Тереза — скромная и верная подруга, под стать мужу и его философии, бережно хранящая память о нем, как и все простые люди, окружавшие Руссо в его последнем доме — Эрменонвилле [Карамзин 1984: 311–312].

⁶⁰ Своего рода противовесом Бартеlemi мог бы служить активно вовлеченный в революционные события Ж. Ромм. О знакомстве с Роммом и об отношении к нему Карамзина см.: [Лотман 1987: 113–115].

Фрагмент о Руссо у Фонвизина есть только в письмах к сестре, с которыми Карамзин, скорее всего, не был знаком; здесь сравнение может быть только типологическим⁶¹.

Фонвизинские рассуждения о национальном характере французов как раз вошли в первую публикацию 1798 года. Вот одно из них, уже процитированное выше. Французы — нация,

...где ridicule (смешное — *фр.*) всего страшнее. Нужды нет, если говорят о человеке, что он имеет злое сердце, негодный нрав; но если скажут, что он ridicule, то человек действительно пропал, ибо всякий убегает его общества. Нет способнее французов усматривать смешное и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон [Фонвизин 1959: 2, 473].

Этот отрывок, на наш взгляд, нужно иметь в виду при чтении карамзинского письма, в котором он подводит итоги своему пребыванию во Франции:

Вы помните, что Йорик сказал Министру Б* о характере Французов: «они слишком *важны!*» <...> Кажется, об Афинском народе было сказано, что он важными делами шутил, как безделками, а безделки считал важными делами; то же самое можно сказать о Французах, которые не обижаются сходством с Афинским народом. <...> все, чего по справедливости могу требовать от чужих людей, Француз предлагает мне с ласкою, с *букетом цветов*. Ветренность, непостоянство, которые составляют порок его характера, соединяются в нем с любезными свойствами души, *происходящими* некоторым образом от сего самого порока. Француз непостоянен — и не злопамятен; удивление, похвала может скоро ему наскучить; ненависть также. По ветренности оставляет он доброе, избирает вредное; зато сам первый смеется над своею ошибкою — и даже плачет, естьли надобно. Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как Англичанин радуется открытию нового острова, так Француз радуется острому слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великия предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненависти могут иметь страшныя следствия, чему примером служит Революция [Карамзин 1984: 319–321].

У Фонвизина характеристика французов однозначна, у Карамзина амбивалентна; именно это свойство ПРП выгодно отличало их от писем Фонвизина в глазах Вяземского. Рассуждение Карамзина оформлено в виде обращения к французской даме, и это подчеркнуто повествователем. Его взвешенная критика перекликается, однако, с фонвизинской карикатурой на национальный характер французов. С письмами Фонвизина здесь корреспондируют и рассуждения об «важности» французов, и о способности считать пустяки делами, и наоборот (рассуждения, возводимые Карамзиным к Стерну⁶²); —

⁶¹ Современный исследователь полагает, что описание смерти Руссо у Фонвизина (а также отчасти описание Вольтера) близко «Жизнеописаниям» Плутарха, при этом Фонвизин и Карамзин участвуют в формировании эссеистического начала русской прозы, см. [Коптева 2011: 276–278].

⁶² О возможном влиянии Стерна на Фонвизина следует говорить особо.

и ирония по отношению к мнению французов о самих себе. Писатели по-разному работают со сходным материалом. Нам важно подчеркнуть, что Карамзин мог иметь в виду высказывания Фонвизина⁶³. «Француз радуется острому слову», пишет Карамзин, сообщая, что это свойство происходит от «прока непостоянства». Вот слова Фонвизина:

Чрез слово разум, по большей части, понимают они одно качество, а именно остроу его, не требуя отнюдь, чтоб она управляема была здравым смыслом. Сию остроу имеет здесь всякий без исключения, следственно всякий без затруднения умным здесь признается. <...> тем, которые врут неумолчно и как-вы почти все, дается титло aimables. <...> Я часто примечал, что иной говорит целый час, к удовольствию своих слушателей, не будучи ими вовсе понимаем, и точно для того, что сам себя не понимает. Со всем тем по окончании вранья называют его aimable et plein d'esprit [Фонвизин 1959: 2, 471–472].

«Острота» здесь — негативное общественное качество. Если Карамзин знал опубликованное письмо Фонвизина, из которого приведена выше цитата, то ему была знакома и эта коннотация, входящая, таким образом, в подтекст данной им французам характеристики.

В ПРП система общих законов и национальный характер входят в сложные отношения (см., например: [Иванов М. 1974: 135–136]). Характер не напрямую обуславливает состояние просвещения в той или иной стране. Поэтому то, что этим фрагментом фактически завершается французская часть, показывает, что Карамзин итожил опыт знакомства с французской революцией и давал возможность интерпретировать его в руссоистском духе. Руссо связывал характеристику общества с национальным характером. Как неоднократно отмечено в литературе, хотя Карамзин опирался на Руссо в оценках жизни и гражданских добродетелей швейцарцев, он не противопоставлял Швейцарию Франции как общество идеальное, близкое к естественному состоянию — порочной цивилизации.

Следующий интересующий нас фрагмент — объяснение Фонвизиним, почему «рассудка француз не имеет», и к каким последствиям это ведет:

Забава есть один предмет его желаний. А как на забавы потребны деньги, то для приобретения их употребляет всю остроу, которою его природа одарила. Острота, не управляемая рассудком, не может быть способна ни на что, кроме мелочей, в которых и действительно французы берут верх пред целым светом. Обман почитается у них правом разума. По всеобщему их образу мыслей, обмануть не стыдно; но не обмануть — глупо. Смело скажу, что француз никогда сам себе не простит, если пропустит случай обмануть хотя в самой безделице. Божество его — деньги. Из денег нет труда, которого б не поднял, и нет подлости, которой бы не сделал [Фонвизин 1959: 2, 480].

Знакомство с этим текстом могло отозваться в карамзинском письме, в котором речь идет о разных способах, которыми парижане пользуются для «приобретения денег»: подбирают на продажу булавки после спектакля,

⁶³ Наше сопоставление этих фрагментов не первое: в 1839 году его провел М. Н. Загоскин, о чем см. ниже, в § 4.3.

собирают старые афиши для оберток и т. д. Мотивировку этих поступков Карамзин определяет так: «Парижский нищий хочет иметь наружность благородного человека» (т. е. дворянина) [Карамзин 1984: 279]. Здесь снова проявляется ироничность карамзинского повествования. Дело одновременно и в том, что эти способы заработка хоть и хитрые, но невинные, и в том, что общее наименование для предприимчивых парижан, избираемое Карамзиным, — «галерея примечания достойных людей» (выделено курсивом, повторено дважды), причем он в эту галерею включает и носильщика-философа, которого называет диогеновым человеком.

Есть в ПРП и соответствие этой максиме Фонвизина не на лексическом уровне, а на уровне событий. Ср.:

Рассудка француз не имеет, ибо хочет быть весел [Фонвизин 1959: 2, 480].

И я смеялся; однакожь искренно жалел о Французе, хотя он тотчас *забыл все, и стал весел* [Карамзин 1984: 28; курсив мой. — А. С.].

Итак, на первый взгляд, легко согласиться с Вяземским в том, что ПРП написаны «без догматической важности», а фонвизинские письма — «будто с кафедры, во услышание и трепет грешников». Однако если Карамзин и противостоит Фонвизину, то не отвергает его опыта, а творчески перерабатывает. Россиянин-путешественник Карамзина также демонстрирует свою наблюдательность (как и у Фонвизина, во многом почерпнутую из книг), входящую в образ конструируемого писателем русского национального характера. Высказывания о «философах» в ПРП, на наш взгляд, несут следы знакомства с концепцией Фонвизина. Сама возможность двойственной трактовки образов философов заложена в тексте ПФ.

2.3. Субъект и объект «Писем из Франции»: итоги моделирования

Итак, в письмах Фонвизина создается и конструируется мнение русского о Франции не только на основе впечатлений конкретного человека, но и по модели, взятой в литературной традиции (а также на основе устного предания). Письма Фонвизина — не столько частные письма (хотя они отправлялись конкретным адресатам), а литературное произведение, транслирующее определенный образ их автора, рассчитанное на публику (пусть и не предназначенное к печати немедленно). Для определения прагматики этого текста принципиально выяснить, кем предстает его повествователь.

«Русский в Париже» — это либо один из «русских французов», “gens de France”, либо полуварвар, который приезжает за образованием. Никто из них не говорит сам за себя. Фонвизин дает третий образ, самоописательный.

Здесь нужно напомнить ключевую поговорку, которую Фонвизин повторяет в трех письмах к двум из трех адресатов: «Славны бубны за горами»⁶⁴. Автор увидел своими глазами европейскую цивилизацию, разочаровался в ней и описал свое новое отношение к Франции, и все, что ему не понравилось, — это сухой остаток воздействия фонвизинских писем на читателя. С этим согласуется представление о нем как о моралисте.

Как мы уже указывали, Ю. М. Лотман считал, что «...герой заграничных писем Фонвизина — Стародум, мудрец, Диоген, умудренный годами и жизненным опытом, критическим оком взирающий на европейскую “ярмарку тщеславия”» [Лотман 1987: 23]. Но этот испытатель человеческой природы обладает способностью обращать взгляд на себя. Он уже прошел исповедальную (в широком смысле) школу Руссо и Стерна (последний не упоминается в письмах, однако Фонвизин его читал: Стерн цитируется в «Рассуждении о национальном любочестии»). В то время, когда Фонвизин хотел встретиться с Руссо, стала известна его «Исповедь». Фонвизин, еще не читавший на тот момент книги, отмечает главную ее особенность — «обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце» [Фонвизин 1959: 2, 479]. Стерн тоже создает «личностное повествование» о впечатлениях частного человека («Сентиментальное путешествие...» и «Письма к Элизе» — тоже к частному лицу и тоже при этом опубликованные). Добавим, что в «Сентиментальном путешествии...» приведены высказывания о французах, поданные с окраской субъективности. Фонвизин стремится создать «ультра-русский» образ, но, если рассмотреть данный контекст писем, их автор предстает, напротив, европейцем из европейцев, следующим самым модным образцам, как щеголь-парижанин.

Речь повествователя должна его выдавать. Рассмотрим прежде всего стиль.

В письмах к сестре языковой облик автора выглядит отчасти противоречивым. С одной стороны, это стиль личный, живой и маркированный «низовой» русскостью. См., например:

Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел и что не может уже никто рассказами своими мне импозировать. Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, развеся уши, слушивали. Славны бубны за горами — вот прямая истина! Намерение наше непременно в исходе сентября или в начале октября быть в России, и, поистине сказать, нет никакого резона нам в чужих краях оставаться; да и жена моя хочет поскорее до места, а то, право, уже таскаться обоим нам наскучило. А ргорос, я начал слушать курс экспериментальной физики у Бриссона, а жена взяла учителя на клавишинах; живем веселехонько, а подчас скучнехонько! Право, Париж отнюдь не таков, чтоб быть от него без памяти; я буду всегда помнить, что в нем,

⁶⁴ В письме к родным из Монпелье от 1 декабря 1777 года [Фонвизин 1959: 2, 423], к Я. И. Булгакову оттуда же от 5 февраля 1778 года [Там же: 493], к сестре из Парижа от 22 марта 1778 года [Там же: 441].

так же как и везде, можно со скуки до смерти зазеваться [Фонвизин 1959: 2, 441] (письмо к сестре от 22 марта 1778 года).

Русской языковой стихией окрашены слова и выражения: «развесья уши», «славны бубны за горами», «таскаться», «веселехонько», «скучнехонько», «до смерти зазеваться». С другой стороны, в том же фрагменте встречаются галлицизмы «импозировать», «резон» и «а rgoros», используемое в изначальной французской форме. Это привычный эпистолярный стиль Фонвизина (прочие, неоспоримо оригинальные его письма используют тот же своеобразный полуразговорный русский язык (см. [Стричек 1994; Серман 1988]).

Все письма к Панину написаны по-русски (лишь с вкраплением отдельных французских фраз, тут же переводимых; конечно, что неоднократно отмечено, это связано с незнанием языка адресатом). На фоне других писем последнее обстоятельство вызывает смысловое напряжение в другом плане: «франкофобская» поза автора здесь явно резонирует с избранной им языковой стратегией.

Второй момент, связанный с языком, — это то, как повествователь обнаруживает свое присутствие как личности, а не просто условной фигуры речи. Рассмотрим, как он пишет о себе, в сравнении с «моралистами» и «сенсуалистами».

Но в ПФ действует не только субъект. В тексте моделируется некая позиция, с которой спорит автор. Часть критических высказываний может быть рассмотрена не как прямое «уличение», а как своего рода «перевертыш» той критики, которой подвергается Россия со стороны европейцев. Критика в основном моральная, но есть и странности, не относящиеся к нравам, например, грязь (странными они должны были казаться и при описаниях России). Приведем небольшой перечень высказываний об особенностях французской жизни, отмеченных в ПФ. Многие из них выглядят как бы ответом на критику русской жизни, известную европейцам по многим источникам.

Природа и погода:

<...> здешний климат, которого лучше в свете быть не может. У нас весьма часто бывает самое лето хуже настоящего здесь времени <т. е. поздней осени. — А. С.>. Гульбища всякий день наполнены людьми, и не только теперь до шуб, ниже до муфт дела не доходит. <...> Один недостаток здесь чувствителен: земля не способна к произращению дерев, и летом мало убежища от солнечных лучей. Жары, сказывают, здесь несносны, но зима есть то время года, которого приятнее желать невозможно [Фонвизин 1959: 2, 453–454].

В описании церемонии “l’ouverture des Etats” в Монпелье действия и речи ее участников подвергаются иронии: смешна и трогательность, и то, что «самая ясность небес здешнего края должна способствовать к исправному платежу подати» [Там же: 458]. Самому Фонвизину можно хвалить климат, хотя это не «бескорыстно» (он способствует лечению жены), а вот привязка климата к налогам у местных ораторов вызывает раздражение автора.

Религия:

Попы, имея в руках своих воспитание, вселяют в людей, с одной стороны, рабскую привязанность к химерам, выгодным для духовенства, а с другой — сильное отвращение к здравому рассудку. Таково почти все дворянство и большая часть других состояний [Фонвизин 1959: 2, 459].

Государственное устройство:

Les Etats или земский суд здешней провинции уже кончился. Все разъехались из Монпелье, знатные и богатые в Париж, а мелкие и бедные по деревням своим. Первые приезжали сюда делать то, что хотят, или, справедливое сказать, делать то, чем у двора на счет последних выслужиться можно; а последние собраны были для формы, дабы соблюдена была в точности наружность земского суда, — я называю наружность, для того что в самом существе она не значит ничего [Там же: 461].

Черты характера, свойственные нации в целом:

Рассудка француз не имеет, ибо хочет веселиться <...> Слушаться рассудка и во всем прибегать к его суду — скучно; а французы скуки терпеть не могут [Там же: 474].

При этом нельзя сказать, что Фонвизин не показывает ничего достойного в общественной жизни Франции. Так, уважение к гуманитарной деятельности французов проявляется в описании госпиталя в Лионе:

Меня впустили смотреть их в тот час, когда les soeurs (сестры милосердия, больным женщинам служащие) обносили им кушанье. Я с душевным возмущением видел страждущих различными болезнями, но с удивлением и внутренним удовольствием смотрел, с каким рачением и усердием ходят около сих несчастных [Там же: 456].

Но это все-таки единичные случаи.

Европейские матрицы, касающиеся России, опровергаемые Фонвизиним:

а) Россия — отсталая, грязная страна, а Европа — цивилизованная:

Дорога в сем государстве <Франции. — А. С.> очень хороша, но везде по городам улицы так узки и так скверно содержатся, что дивиться надобно, как люди с пятью человеческими чувствами в такой нечистоте жить могут [Там же: 455].

б) Россия — рабская (крепостное право и самодержавие), а Европа — свободная:

Первое право каждого француза есть вольность; но истинное настоящее его состояние есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностию, то должен будет умереть с голоду [Там же: 460].

в) Россия бедная и слабая, а Европа богатая и могущественная:

В Лионе смотрел я фабрики шелковых изделий, откуда Франция посылает во всю Европу наилучшие парчи и штофы. По справедливости сказать, сии

мануфактуры в таком совершенстве, до которого другим землям доходить трудно [Фонвизин 1959: 2, 456].

В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба [Там же: 466].

г) Россия духовно отсталая, а Европа — развитая духовно:

...приехал я в Париж, в сей мнимый центр человеческих знаний и вкуса [Там же: 467].

По их <французов. — А. С.> мнению, имеют они не только наилучшие в свете обычаи, но наилучший вид лица, осанку и хватки⁶⁵, так что первый и учтивейший комплимент чужестранному состоит не в других словах как точно в сих: “Monsieur, vous n’avez point l’air étranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!” [Там же: 472].

Перечисленные пункты встречной критики — это штампы в русском сознании: русские убеждены, что в Европе о России так думают. На самом деле это означает (независимо от того, как думают о России европейцы⁶⁶), что сами русские так думают о себе⁶⁷. Любой травелог с европейским маршрутом — это ответ, реплика в диалоге с невидимым собеседником. Само стремление «ответить» как будто повторяет известный ход Екатерины, опубликовавшей «Антидот» как противоядие от книги Шаппа д’Отроша. Но там шла речь об оценке действий русского правительства и задетой чести самой императрицы. Ответ был адресован Франции («Антидот» был и опубликован в Европе и по-французски). Полемика Екатерины II с Шаппом д’Отрошем (рассмотренная нами как контекст ПФ в § 2.1) была прелюдией к кризису русской идентичности в XIX веке, и проблема его происхождения из споров века Просвещения о месте России на «карте цивилизации» еще требует полного исследования [Levitt 2009: 357].

Полемический посыл, который у Фонвизина идет с первого письма, также, на наш взгляд, связан с этими спорами, но только с теми, которые велись в самой России. Попробуем это показать.

Прежде всего, следует вспомнить, к каким сочинениям Фонвизин обращается по возвращению в Россию. Это перевод «Та-Гио» (1779) — трактата об искусстве управлять государством, позже «Недоросль», в котором поднимается вопрос о служении отечеству и подлинных целях дворянства;

⁶⁵ Вероятно, это место можно соотнести с критикой внешности Д’Аламбера.

⁶⁶ Ср.: “The anti-Russia camp saw Russia as oriental (not European), barbarian (not civilized), and despotic (not ruled by law or social sensibility); this group included Mably, Condillac, Raynal, and Mirabeau” [Levitt 2009: 342]. Опирались также на Руссо и Монтескье.

⁶⁷ Ср. с высказыванием Н. В. Гоголя о «Недоросле» в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Всё в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души» [Гоголь 1952: 397].

а также ряд статей в «Собеседнике любителей русского слова», «Рассуждение о национальном любочестии». Были планы по изданию журнала «Стародум, или Друг честных людей», направление которого должно было быть близким к идеям одноименного персонажа «Недоросля». В этих сочинениях критика галломании уходит на второй план, уступая место другой проблеме — самоопределению русского дворянина. Поэтому, несмотря на внешнюю антифранцузскую направленность ПФ, мы должны в разговоре о них иметь в виду эту перспективу. То, что было высказано явно, сформировалось в творчестве Фонвизина к началу 1780-х годов, здесь тоже должно присутствовать в каком-то виде.

На кого на самом деле обращена критика Фонвизина? На современную Европу? Чья это точка зрения, что «бубны славны»? Тех русских, кто повел в силу европейской цивилизации. По сути, Фонвизин адресует свои «ответы» тем же «русским европейцам» — не очумевшим от Парижа Иванушкам, высмеянным в «Бригадире», а серьезным восприимчивым Европе, но это не Панины, Булгаков или сестра, а потенциально более широкий круг читателей.

Сначала отведем неподходящих адресатов. Может показаться, что эти письма направлены против тех русских, кто ездит в Европу и возвращается «совершенною свиньею». Д. Офффорд полагает, что в основе ПФ лежит интерес Фонвизина к проблеме национального характера, они «бросали вызов чрезмерному увлечению некоторых соотечественников Фонвизина чужой культурой, угрожающему лишить Россию ее национальной индивидуальности» [Offord 2005: 63]. И это верно. Но сатира на «практических галломанов», как в написанном раньше «Бригадире», — только первый, весьма поверхностный слой полемики. Хотя Фонвизин в какой-то мере отвечал им, но эти путешественники скорее выступали *предметом* полемики.

Европа, европейский образ жизни, европейские деятели — тоже не объект, а лишь предмет полемики. Письма написаны по-русски, многое в них заимствовано из французских источников, так что к французам они не могли быть обращены. В качестве воображаемого объекта, призванного показать русскому читателю спор, который мог бы происходить между русским и европейцем, они тоже не подходят.

Приведенный выше «каталог» высказываний не соотносится напрямую с каким-либо известным нам произведением «россики», в котором критиковались бы русские нравы. Поскольку конкретных источников для конструирования представлений Франции о России, вероятно, нет, то это должна быть чисто умозрительная критика.

Вопрос о жанровых образцах, рассмотренный выше, также дает основания для предположений об истинном адресате писем. Литературные письма — один из распространенных жанров в XVIII веке. Внутри него было как минимум три направления, различающихся по адресату и функции.

Первое — публицистика больших тиражей в форме писем от вымышленных корреспондентов, затрагивающих общие вопросы морали. Оно

представлено, в частности, в русских сатирических журналах, как в издававшихся до путешествия Фонвизина, например, «Адской почте», так и после — «Почте духов» И. А. Крылова. Фонвизину она была хорошо знакома в том числе как участнику литературного процесса: в начале 1770-х годов он был сотрудником в журналах Новикова, не забудем и о журнале «Стародум». Здесь — максимально широкая аудитория и наиболее общие проблемы.

Вторая традиция — публицистические послания, нацеленные всё так же на широкую аудиторию, но предполагающие участника диалога, имеющего вполне конкретную идеологию, чаще всего оппонента: «Персидские письма» Монтескье, «Письма с горы» Руссо и т. д., к ней по близости темы можно отнести и «Письмо к другу, жительствовавшему в Тобольске» Радищева.

К третьей относятся такие памятники, как “Correspondance littéraire” Гримма или обширная переписка Вольтера с коронованными особами; их аудитория — узкий круг лиц, возглавляющих разным дворы Европы или близких к ним, а цель — создание некоего единого информационно-культурного пространства с общим набором тем и аккуратное выстраивание приоритетов для воздействия на практику, которая в случае придворных адресатов имела бы решающее влияние на развитие просвещения в Европе — в том русле, к которому подталкивали авторы таких сочинений. Обычно выстраивание такого пространства связывается с концепцией просвещенного абсолютизма, но это не обязательно.

Мы полагаем, что Фонвизин ориентировался в данном случае на последний тип, создавая некий противовес ему, т. е. сочинение не для придворного круга, но для «дворянской фронды» (по выражению Г. А. Гуковского). Адресат здесь тот же, что позже в «Нескольких вопросах», адресованных «умным и честным людям», скептически настроенным по отношению к заявленной Екатериной II политике (см. об этом [Проскурина 2017: 87–88]).

Другой важнейший контекст — газетные сведения, отчеты «с мест» — говоря сегодняшним языком, новости. Этот контекст применительно к ПФ находит текстологическое обоснование (см. § 2.1). Чтение газет — важная, но малоисследованная практика применительно к XVIII веку. Мы знаем, что люди их читали, делали выписки, но кто каким отделом интересовался, как это встраивалось в картину мира и т. д. — неясно. Однако можно предположить, что просвещенный читатель газет обращал внимание в первую очередь не на объявления о купле и продаже и даже не на официальные депеши, а на сведения, которые помогали формировать собственные суждения по вопросам политики, культуры и морали, на примеры действия тех или иных идей, в Европе или России.

Истинный объект полемики, как нам представляется, — это «русский европеец», которого Фонвизин так еще, разумеется, не называет и который еще не сформировался в его время как общественный тип. Но сама роль существовала. Этот адресат в биографической проекции близок к панинскому кругу и «дворянской фронде». В дружбе Панина и Фонвизина «личные и общественные симпатии» не были отделены «непреодолимой

чертой», и это не единичный случай, то же мы знаем об отношениях, например, Радищева и Воронцова [Лотман 1981: 120, 129]. Адресат и отправитель ПФ не просто принадлежали к одному кругу, они единомышленники⁶⁸, а значит, мы можем в пределах текста ставить между ними знак равенства.

Описание объекта зависит от свойств описывающего субъекта. Если англичанин описывает Францию, то он описывает «английскую Францию». Это хорошо понимал Стерн, не только иронически прошедшийся в «Сентиментальном путешествии» по Смультунгусу — Смоллетту, но и доведший эту черту травелога до предела: его Йорик «видит» не Францию, а хорошенькую женщину, табакерку, «пару черных шелковых брюк» и т. п. Это почувствовал и Фонвизин, и описал «русскую Европу»; в том, что она вышла уродливой, вина не Европы, а России: вот это уродство, по мнению автора, русские пытаются насадить у себя вместо настоящих благ. В «европейской Европе» Фонвизин видит то, чему можно поучиться (хотя этого и немного).

В ходе небольшой полемики о ПФ между Вяземским и Пушкиным (к которой мы подробно обратимся ниже, в § 4.3) Вяземский приписал Фонвизину наивность, которой у того не было. Картина, нарисованная Фонвизиним — в трактовке Вяземского — это Европа, как ее увидел писатель, а не русская Европа, как ее видел писатель. Он готов был признать Фонвизина пристрастным шовинистом, но больше всего боялся приговора «русской Европе». (Когда дело коснулось европейской критики России в книге Кюстина, то сам же Вяземский писал на нее антикритику; но объект Кюстина был другой). Пушкин же, что широко известно, критически оценивал русское просвещение, и приговор этот его не смутил.

Здесь же незримо присутствует и другой субъект, нацеленный на «русскую Европу». Это тот, кто хотел бы видеть развитие России по европейскому пути. Тот, кто идеологически противостоял панинскому кругу, к которому принадлежал автор писем. Тот, кому адресовали свои напутствия французские ученые и философы, раскритикованные Фонвизиним. Мы полагаем, что это русское правительство и, может быть, даже конкретно Екатерина II. Разумеется, о публикации в таком случае не могло быть и речи.

Письма не только описывают нечто, увиденное Фонвизиним во Франции, не только отвечают на некий конструкт «Европа о России», но и имеют в виду какую-либо российскую реалию, имеющую отношение к государственной политике Екатерины II.

Рассмотрим для примера первое из писем к Панину (из Монпелье, от 22 ноября / 3 декабря 1777 года). Оно содержит следующие темы (помимо личных, о лечении жены): климат Монпелье, Лейпцигский университет, немецкие древности, налог на мостовые в немецких княжествах, прием у кюрфюрста в Мангейме, опаление свиньи на лионской улице, лионские

⁶⁸ Чуть позже, Радищев и Карамзин по-разному, но в едином стиле будут адресоваться к «сочувственнику».

шелковые фабрики, сбор налогов в провинции Лангедок. Рассмотрим некоторые из них в связи с тем, на что *внутри* России могла быть направлена критика Фонвизина.

Климат. Письмо начинается с сообщения об успехе лечения жены, которому (повторяем цитату)

...способствует, конечно, много и здешний климат, которого лучше в свете быть не может. У нас весьма часто бывает самое лето хуже настоящего здесь времени. Гульбища всякий день наполнены людьми, и не только теперь до шуб, ниже до муфт дела не доходит. Господь возлюбил, видно, здешнюю землю: никогда небеса здесь мрачны не бывают. Прекрасное солнце отсюда неотлучно. Один недостаток здесь чувствителен: земля не способна к произращению дерев, и летом мало убежища от солнечных лучей. Жары, сказывают, здесь несносны, но зима есть то время года, которого приятнее желать невозможно. Множество больных чужестранцев и из других провинций французов съехалось сюда, по обыкновению на зиму, и Монпелье можно назвать больницею, но такую, где живут уже выздоравливающие. Не могу изъяснить вашему сиятельству, сколь приятно видеть множество людей, у коих написана на лице радость, ощущаемая при возвращении здоровья! Все больные видятся ежедневно на гульбище и, сообщая взаимно перемену болезней своих, друг друга утешают и ободряют [Фонвизин 1959: 2, 453–454].

Нетрудно увидеть в этом отзвук климатической теории, развивавшейся, в частности, Монтескье и составлявшей важнейшую предпосылку екатерининского «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения»:

Глава I

6. Россия есть Европейская держава.

7. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходились со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал.

Глава II

8. Российского государства владения простираются на 32 степени широты и на 165 степеней долготы по земному шару.

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно со пространством столь великого государства.

<...>

11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно [Екатерина II 1849: 4–5].

Европейское просвещение и реформы Петра в этой трактовке предстают согласуемыми с русским климатом (в отличие от допетровских), как и с европейским, а не противоречат ему.

Но если в «возлюбленной Господом» земле хорошо лечиться, то ее климат никак не помогает в решении социальных проблем: в самом Монпелье

проходит собрание по налогам, вызывающее насмешку Фонвизина, а в прочих упоминаемых им землях он, кажется, не играет никакой роли.

Об университете Фонвизин пишет:

Я нашел сей город наполненным учеными людьми. Иные из них почитают главным своим и человеческим достоинством то, что умеют говорить по-латыни, чему, однако ж, во времена Цицероновы умели и пятилетние ребята; другие, вознесясь мысленно на небеса, не смыслят ничего, что делается на земле; иные весьма твердо знают артифициальную логику, имея крайний недостаток в натуральной; словом — Лейпциг доказывает неоспоримо, что ученость не родит разума [Фонвизин 1959: 2, 454].

Лейпциг был одним из основных университетов, в которых обучались русские студенты. В царствование Екатерины II их общее число было велико во многом благодаря самой императрице: «В таком обильном студенческом потоке на первых порах еще очень заметна побуждающая роль государства. Так, только в 1765–1767 годах правительство Екатерины II при ее личном участии отправляет в немецкие университеты 28 человек» [Андреев 2005: 182]; «Для первоначального привлечения дворян в университет применялась поддержка со стороны государства, которое рассчитывало тем самым воспитать с помощью европейского высшего образования новых “идеальных” государственных деятелей для России» [Там же: 207]. А. Ю. Андреев считает, что этот проект удался, и «привозимое домой европейское образование с неизбежностью влияло на становление дворянской культуры и государственности» [Там же: 207–208].

Правда, в 1770-е годы поток русских студентов конкретно в Лейпциг уменьшился, и на государственной субсидии их уже почти не было [Там же: 206]. Однако в целом период 1760–1780-х годов признается исследователем «золотой порой» русского студенчества в Германии. Нюансы, известные нам, касающиеся сокращения числа студентов, изнутри этого периода могли быть не видны, и Лейпциг в глазах современников Фонвизина безусловно был центром русского студенчества в Европе.

Из городов, которые проезжал Фонвизин, Лейпциг был единственным университетским. Здесь в разное время учились Олсуфьев, Мотонис, Козицкий, а также «группа Ушакова». Брат писателя, П. И. Фонвизин, был в Лейпциге в 1770–1772 годах (см.: [Кочеткова 2010: 321])⁶⁹. Большая часть русских студентов в Лейпциге училась на юридическом факультете [Андреев 2005: 51].

Фонвизин знал, что студентов отправляли учиться на юристов, отправляли много, и возвращались они на государственную службу, в мелких чинах, не зная русской жизни («не смыслят ничего, что делается на земле»), а только «артифициальную логику». То, что было оправдано при Петре I,

⁶⁹ Отметим также, что в письме упоминается князь Гика, с чьим сочинением «от греков к Европе христианской», по мнению А. И. Старцева, П. И. Фонвизин именно в Лейпциге зимой 1770–1771 годов познакомил Радищева, взявшегося за его перевод [Старцев 1990: 59–60].

когда в России не было высшей школы, не актуально сейчас и обидно для национального самосознания. Стоит ли это делать, когда есть университет в Москве (выпускником которого был сам писатель и его брат)?

Русский дворянин для Фонвизина — это прежде всего истинно образованный человек, служащий своей родине, это убеждение ярко проявится в «Недоросле», но и в 1777–1778 годах он не думал иначе. Мы полагаем, что памфлетное описание Лейпцигского университета — в контексте тех условий российского зарубежного образования, о которых мы знаем, — могло получить в глазах читателя-«сочувственника» Фонвизина трактовку осуждения государственной политики в области образования. Но это должен был быть читатель, во-первых, знакомый с этой политикой, во-вторых, все-таки сходных с автором мыслей.

Тема французских налогов также тесно связана с российскими обстоятельствами. В 1775 году была проведена Губернская реформа, в рамках которой финансовый контроль ложился на местное начальство. Злоупотребления на местах вынудили Екатерину в 1780 реформировать эту реформу, передав общий контроль центральным органам.

Итак, как мы видим, многое из «критики Европы» в письмах Фонвизина на деле очень тесно связано с оценкой им (и панинским кругом?) общих установок и практики *русского* правительства, связанных с общей ориентацией на Европу.

Читая о подобном положении дел во Франции, русский адресат писем должен был воскликнуть: «Зачем открывать семинарии, из которых выйдут невежественные попы, если у нас есть университет?» (Фонвизин — воспитанник Московского университета; вспомним, однако, что позже — в «Чистосердечных признаниях в делах моих и помышлениях» он не обходит иронией и это учебное заведение). «Зачем созывать комиссию нового уложения по европейскому образцу?» «Зачем вообще ориентироваться на Францию?». Не нужно и верить этим просветителям-философам, не нужно подстраиваться под мнение Европы и Франции, не нужно опровергать ложь о России, не нужно следовать в «Наказе» за Монтескье — ведь «рассудка француз не имеет», говорит между строк повествователь писем.

Мы отдаем себе отчет в том, что каждый из комментариев сам по себе уязвим, и вовсе не собираемся утверждать, что любое сатирическое описание, например, немецких университетов, означает критику государственной образовательной политики в России. К этому нельзя сводить позицию Фонвизина, тем более что политика менялась, а сами дворяне стремились к тому, чтобы отдавать детей в русские университеты.

Можно ли было упрекнуть в «нерусскости» Екатерину II? Наверное, это последнее, в чем можно упрекнуть ее самое: императрица-немка как никто стремилась развивать собственные русские институты и демонстрировать достижения русской нации в самых разных областях. Однако ее царствование в целом, как бы банально это ни звучало, было ознаменовано народным бунтом невиданного доселе размаха, и противоречия, вызвавшие его, были так велики, что стали, например, подлинной причиной неудачи Уложенной

комиссии (и еще многих комиссий вплоть до 1861 года). Фонвизин как никто понимал масштаб пугачевщины: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование», — писал ему А. И. Бибиков из-под Казани в 1774 году [Пушкин. ПСС: 9, 201]. Невозможно согласовать положения «Наказа» с тем, что опора государства, дворяне, торгуют людьми как скотом или обращаются с ними не лучше, чем со свиньями.

Сама выбранная форма «пишем из-за границы» — отчасти способ обхода цензуры. Впоследствии Фонвизин выберет иной способ публицистического высказывания — прямое обращение к власти. Контекст, в который письма Фонвизина помещали читатели в рукописных сборниках, показывает, что их воспринимали именно как публицистику, причем, возможно, «диссидентскую»⁷⁰. Как отметила В. Проскурина, ««Вопросы» апеллировали к тому, чего не существовало в России, — к общественному мнению. Статья очерчивала пространство свободных дискуссий, критики правительства и политических споров, не подконтрольных государственной власти» [Проскурина 2017: 87–88]. В какой-то степени это относится и к ПФ.

Фонвизин в это время — коллежский советник в длительной отпуске (а такая ситуация в практике империи граничила с опалой или отставкой), бывший секретарь бывшего воспитателя наследника престола. В прежних обстоятельствах его незначительная должность была неформально очень важной, однако в конце 1770-х годов это просто дворянин. Обращая свои письма к такому же отставному, хотя и куда более важной фигуре, Петру Панину, он как бы и формировал это самое «общество между благородными», создавал «фронду»⁷¹.

Вернувшись в Россию, как уже упоминалось, четыре года спустя Фонвизин напишет не только «Недоросля», но и «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Они были опубликованы в «Собеседнике любителей российского слова», и на каждый из них был дан ответ Екатерины II. «Вопросы» были построены по одной форме («Отчего у нас...») и демонстрировали, с одной стороны, незавидное положение общественного устройства России, а с другой — необходимость перемен в нем, основанных на особенностях национального бытия.

⁷⁰ Нам известен один такой сборник, в котором с письмами из Парижа 14/25 июня и из «Акена» от 18/29 сентября 1778 года (очевидно, по публикации 1798 года) соседствует «Вельможа» Г. Р. Державина и его же «На переход Суворова через Альпы», еще два сочинения Фонвизина: «Рассуждение о суетной жизни человеческой» и «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», — а также письма Павла I и А. В. Суворова об Итальянском походе и надгробные стихи Державина Екатерине II [Древлехранилище ИРЛИ. Колл. В. Н. Перетца. Ед. хр. 386. Л. 1–69; сборник 1799 года]. Если он собирался из литературных новинок конца 1790-х годов, то самый подбор имен — Фонвизин, Державин, Суворов — говорит о пристрастии владельца сборника к авторам, имевшим репутацию свободомыслящих.

⁷¹ Не хотим солидаризироваться с Гуковским в оценке «дворянской фронды» XVIII века [Гуковский 1936; Гуковский 1938], но говорить о ней в той или иной форме необходимо.

Дидро также обращался к Екатерине II с вопросами (в сезон 1773–1774 годов, в его бытность в Петербурге): «Каковы условия существования между господином и рабом?»; «Не влияет ли рабство земледельцев на качество обработки земли?»; «Не приводит ли лишение крестьян права собственности к дурным последствиям?», или «Почему Россия управляется хуже, чем Франция?» и др. Он же составлял замечания на «Наказ» (ставшие известными лишь после его смерти в 1784 году). Не беремся утверждать, что Фонвизин представлял себя «русским Дидро», но модель мудрого советника — философа, литератора, который «истину царям с улыбкой говорит» (отчасти реализованная позже процитированным здесь Державиным), не могла оказаться вне поля зрения Фонвизина — советника Панина, чья роль до середины 1770-х годов связывалась с будущим регентством или постом канцлера при Павле (см., например: [Мадариага 2002: 408]).

Любопытно, что «Вопросы...» находят параллель почти с каждым из пунктов «встречной критики» (см. о них выше):

Отчего многих добрых людей видим в отставке?

Отчего все в долгах?

Отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжб своих и решений правительства?

Отчего у нас не стыдно не делать ничего?

Отчего в Европе весьма ограниченный человек в состоянии написать письмо вразумительное и отчего у нас часто преострые люди пишут так bestолково?

Отчего многие приезжие из чужих краев, почитавшиеся тамо умными людьми, у нас почитаются дураками; и наоборот: отчего здешние умницы в чужих краях часто дураки? [Фонвизин 1959: 2, 274–275] и т. д.

В совокупности с ответами Екатерины, они давали некоторое представление о национальном характере. На это же направлены и ПФ.

Фонвизин работает в контексте «Наказа» Екатерины, спорит с установкой правительства на то, что Россия — европейская страна, скорее даже не с самой установкой, а со следствиями из нее, включающими подражание европейским политическим институтам и следование европейской просветительской философии (что, в свою очередь, было продолжением традиции Петра I, и на следующем этапе, у Карамзина, получит историческое осмысление). Ее формирование никак не было связано с собственно российскими реалиями, следовательно, она не учитывала их и не подходит России.

Тема французского характера важна как прелюдия к общему размышлению о национальном характере. В 1783 году в «Собеседнике...» появятся «Несколько вопросов...», а в 1785 году выйдет отдельным изданием «Рассуждение о национальном любочестии» Фонвизина, оба сочинения (второе — перевод XVII главы книги Циммермана) анонимно. Но их «авторский субъект» — тот же, что и автор ПФ. Публика не знала имени автора; ПФ были опубликованы под именем Фонвизина, но значительно позже, не при жизни. Тем не менее в эволюции фонвизинского творчества все эти сочинения выстраиваются в единую линию.

Последний и главный вопрос из «Нескольких вопросов» звучал так: «В чем состоит наш национальный характер?» Он подразумевал не ответ (Екатерина II как раз его дала: «...в остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных» [Фонвизин 1959: 2, 275]), а поиск ответа, причем в направлении, отличном от екатерининского.

Однако же, как нам представляется, это не эволюция взглядов, а нечто другое. Как «россиянин в Париже», как автор писем Фонвизин спорит с тем взглядом, который сам же разделяет. Вяземский увидел в этом противоречие и объяснил его характером автора. Как мы стремились показать, это — поза повествователя, связанная с осмыслением им себя как русского.

Нам важны не отдельные мысли Фонвизина сами по себе, как бы пронизывающий он ни был в ряде случаев. Его письма — это тип литературы, который связывают обычно с именем Карамзина, литературы, включающей в текст адресата, и не одного. Нам представляется потому важным не столько точно установить адресата, сколько показать его взаимодействие с текстом как конструируемой фигуры.

Был ли у Фонвизина расчет на то, что читатель его писем обнаружит эту изученную нами структуру? Едва ли. Но произведения, о которых пойдет речь в следующих главах — ПРП и особенно «Зимние заметки...» — уже явным образом на это нацелены, и мы утверждаем, не отрицая самоценности опыта Фонвизина, что его значение во многом связано с тем, как он был в них использован.

Конечно, любой автор путешествия конструирует образ путешественника, но это образ «самого себя», а не некоего русского путешественника. Выше мы это рассмотрели на примере Воронцова и других авторов описаний своих путешествий в Европу. Фонвизин же создает образ именно русского, а не Д. И. Фонвизина.

Тем контрастнее то, что Фонвизин (а позже и Карамзин) выбирает форму писем, в которых личное начало заманивает, отвлекает от того, что это — конструкт.

Главный герой, цель и объект писем фонвизинского россиянина в Париже — он сам. Россиянин *par excellence*, находящийся между самовластным цивилизаторством Петра и Екатерины и глупым подражанием Иванушек. Ни то, ни другое, в сущности, не безобидно. Екатерина может писать «Наказ» по образцу самых передовых произведений философской мысли, но своей же рукой отрекается от Просвещения, клеймя Шаппа и отказываясь от контактов с д'Аламбером. Да, д'Аламбер оказался на поверку корыстным, даже внешне безобразным, но статьи «Энциклопедии» не подвергаются Фонвизиным критике. То же и с Иванушками. Можно подражать французским модам и даже употреблять в речи французские слова, но нельзя забывать ни о своем родном языке, ни о своем предназначении в отечестве, если ты русский дворянин и гражданин.

Итоги второй главы

Итак, травелог, создавая образ «русского путешественника», обращает его познание на самого себя как на представителя нации:

1) Русский травелог с европейским маршрутом, ярким примером которого являются ПФ Фонвизина, является репликой в воображаемом (конструируемом) диалоге с русским современником, носителем европоцентристского сознания. В контексте екатерининского царствования это звучало оппозиционно.

2) Такой травелог решает, в первую очередь, проблему национальной идентичности.

3) Рождаясь в конкретное историческое время, он связан и с современными событиями в Европе, и с внутрироссийскими полемиками-проблемами. Можно сказать, что любое содержащееся в нем утверждение — это вполне конкретная реплика.

В ПФ Фонвизина происходит поворот к национальному характеру, но «упакован» он в привычное моральное обличение. Модель «критики нравов» и модель «изображения национального характера» в их сочетании определяют своеобразие позиции повествователя ПФ, и этот опыт мог учитываться также Карамзиным при подготовке французской части ПРП.

На протяжении XVIII века модель «россиянин в Париже» использовалась — как в травелогах, так и в сатирических сочинениях в прозе и драме — для передачи нравоучительного, обличительного содержания. Фонвизин ее прекрасно знал и использовал вместе с сопровождающим ее шлейфом моралистики. Как мы покажем ниже, Вяземский, именно за счет того, что он хорошо знал литературу того времени, как русскую, так и французскую, попал под инерционное влияние модели и увидел в Фонвизине моралиста.

Из травелогов (документов, описаний путешествий, сделанных в частном письме или сразу же адресованных публике) вырастают такие тексты принципиально диалогичного характера, как ПФ. Адресованные странереципиенту, они представляют три конструкта: адресанта, адресата и взаимного взгляда России на Европу и Европы на Россию.

Основываясь на вышеизложенном, попробуем сформулировать рабочую гипотезу о соотношении субъектов высказывания у Фонвизина и Карамзина, прежде чем перейти к рассмотрению ПРП. У Фонвизина говорящий — это просто русский, вообще русский. У Карамзина же — то русский дворянин, то русский «скиф», то русский путешественник, то русский автор, театральный, полиглот, политик, патриот и т. п. — это практически неуловимый, «протеистичный» образ. Проблема соотношения автора и повествователя, актуальная для Фонвизина, сохраняется и у Карамзина; но если у Фонвизина сама позиция повествователя явна, то у Карамзина скрыта (например, в языке), и мы это показали на примере отношения к «философам нашего века». Однако это еще не складывается в определение русского по Достоевскому, хотя, как мы постараемся показать далее, и ведет в конечном счете к нему.

Суммируя европейский контекст отношения к России, укажем, что русские начали в литературе свое самоосмысление — осмысление России — позже, чем Европа, и неизбежно становились «ответчиками». Первым был Фонвизин. В дальнейшем «европейское» мнение тоже играло свою роль, но последующие авторы путешествий могли опираться уже и на собственную традицию.

Что касается применения этого опыта в творчестве самого Фонвизина, то помимо того что ПФ встраиваются в линию сочинений патриотической направленности («Несколько вопросов...», «О национальном любочестии...» и др.)⁷², после того, как он написал «рассудка француз не имеет», он уже не мог, как мы полагаем, ставить в центр своей сатиры отечественных Иванушек, так что переход к Митрофанушке выглядит обоснованным в контексте творческого пути, включающего ПФ.

⁷² А. Стричек в этот ряд встраивает и «Та-Гио».

ГЛАВА 3

«НАИВНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»

У Н. М. КАРАМЗИНА И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Итак, в фонвизинских письмах модель «Россиянин в Париже / Европе» была трансформирована. Повествователь ПФ — русский дворянин, разочаровавшийся в европейском потенциале просвещения (в том, как Европа идет к заявленной цели, а не в самих идеалах). Такой путешественник наблюдает европейскую жизнь и критикует ее уже не столько с позиции общей для всех морали (общей, по крайней мере, для христианских народов), сколько с точки зрения идеалов и намерений развития конкретной нации, к которой он принадлежит. Это соответствует веяниям начинавшейся предромантической эпохи, в чем-то созвучно идеям Руссо и Гердера, когда уже имеется понятие о нации, о духе народа и национальном характере, о «национальном любочестии». Статью Фонвизина «О национальном любочестии» мы уже упоминали в предыдущей главе. Содержащееся в ней обоснование стремления к любочестию — как индивидуальному, так и национальному — это путь следования Божественным заповедям. В ПФ эта перспектива не проговаривается (и — заметим в скобках — она еще недостаточно изучена), но они готовят почву к этому повороту, вскоре реализовавшемуся на практике (об этом см. главу 4).

Выше, в § 2.3, мы рассмотрели, как фонвизинская модель «разочарования» работает в ПРП, а ниже обратимся к модели, впервые появившейся под пером Карамзина. Условно ее можно назвать «наивный путешественник»; это такой образ/тип повествователя, который если и не лишен заведомых знаний об описываемом предмете, то не показывает их. Подчеркивается его равноправие с читателем, одномоментность узнавания чего-либо (или до этого неизвестного, или, наоборот, известного обоим — путешественнику и читателю). Значение открытий Карамзина в повествовании для русской прозы общепризнано (см. работы [Гуковский 1941; Пумпянский 1947; Rothe 1968; Лотман 1987; Гопоров 1995; Вацуро 1999] и т.д.). Однако для нашей темы необходимо углубиться в его повествовательную технику в ПРП.

Напомним, что Карамзин стремится если не прямо лично представиться деятелям Просвещения, то хотя бы увидеть их. Хрестоматийно известны визиты к Канту, Бартеlemi, а также поиски следов тех, с кем увидеться русский путешественник уже не мог: с Руссо в Эрменонвилле и со Стерном в Кале и т. д. Гете промелькнул для него в окошке: «Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего в окно, — остановился и рассматривал его с минуту: важное Греческое лицо!» [Карамзин 1984: 77]. Приведем менее известный пример: «Хотелось бы мне видеть и профессора Тренделенбурга <в Данциге. — А. С.>, чтобы поблагодарить

его за греческую грамматику, им сочиненную, которою я пользовался и впредь надеюсь пользоваться» [Карамзин 1984: 27]. Здесь читателю сразу дается понять, что путешественник знал, кто такой Тренделенбург, еще до поездки. Чуть более скрыта его осведомленность в том, где живет грамматист: то ли информация была на титуле издания, то ли узнал из местных источников, а может быть, владел сведениями через знакомых представителей немецкой культуры (еще в Москве или уже во время путешествия). Кроме того, путешественник сообщает о своей образованности и ненавязчиво рекомендует как само изучение древнегреческого языка, так и конкретное пособие по нему. И все-таки в большинстве случаев о том, что он думал, с каким багажом или предубеждениями подошел к встрече, мы до времени не знаем. Даже в рассмотренном эпизоде само действие — увидеть, чтобы поблагодарить — читатель готов принять за порыв чувствительного сердца, а не погружаться в детали деконструкции. Что это был заранее продуманный визит, публике остается лишь предполагать, а о том, что его упоминание — жест, едва ли кто-то догадывался.

Проанализировать в одной работе все используемые Карамзиным стратегии невозможно⁷³. Мы сосредоточимся на тех из них, которые применительно к проблеме «Россия и Европа» в ПРП рассматривались выборочно или вовсе без связи с нею, и в первую очередь попытаемся более пристально изучить повествовательную технику Карамзина в отношении образов автора и адресатов.

Автор и адресаты — одна из ведущих тем в обсуждении ПРП. В. В. Сиповский полагал, что нетождественность образа «русского путешественника» и Карамзина [Сиповский 1899: 149–158] есть ключевой момент в трактовке произведения. Ю. М. Лотман говорит о маске, о позе, которую принимает путешественник [Лотман 1987: 29–32]. А. Л. Зорин уточняет центральную мысль работ Ю. М. Лотмана о ПРП. По мнению исследователя, в этом тексте сложным образом сочетаются вымысел и правдоподобие; Зорин обращает внимание на то, что сам «русский путешественник» стоит на пересечении вымысла и реальности [Зорин 2016: 139–170].

Угол зрения, предложенный Лотманом и развитый Зориным, помогает сделать акцент на моделировании: «русский путешественник» одновременно «самовоспитывается» в Карамзине и создается как образ и — в немалой степени — как модель поведения для читателей. Следовательно, тождественность / нетождественность, правда / вымысел — всё это отходит на второй план. Это корректирует недоумение Сиповского по поводу тех,

⁷³ Многим из них посвящена литература, иногда обширная. Назовем лишь выборочно некоторые исследования последних лет. Так, образы исторического прошлого изучает А. Вачева [Вачева 2018], пространство города (на примере Парижа) — М. С. Стефко [Стефко 2009], интеллектуальное пространство Европы в литературных анекдотах — Э. И. Коптева [Коптева 2011], «театральную метафору» в контексте всего творчества Карамзина — Т. Смолярова [Smoliarova 2019]. В центре многих значительных работ о Карамзине ([Panofsky 2010; Vaudin 2011; Зорин 2016] и др.) продолжает оставаться проблема соотношения вымысла и реальности.

кто принимал на веру ПРП как отражение непосредственных впечатлений. Были они ими (как считали современники) или не были (как установили филологи), они стали прецедентом для описания «встречи с Европой», обойти который было нельзя.

Оценка того, как приемы ПРП, основанные на образе повествователя, определяют отношение текста к проблеме «Россия и Европа», а также использование этой модели современниками и читателями следующих поколений — предмет нашего особого интереса в этом разделе.

3.1. Путешественник Карамзина и позиция автора. Повествователь и адресаты

В ПРП мы имеем дело с художественным высказыванием, функциональными частями которого являются субъект (нам в данном случае неважно, близок он или нет биографическому автору и насколько), цель и адресат. Текст пронизан многочисленными микро-связями: переходы от одной темы к другой, основанные на сравнении (метафорические и метонимические), параллели между композиционными элементами (началами писем-главок, началом и концом письма), развитие темы внутри письма, переход темы из конца одного письма в начало другого. Эта плотно сплетенная сеть скрывает субъекта повествования, сквозь нее сложно прорваться. В этом параграфе мы рассмотрим параллельно эту сложную сеть сцеплений и субъектно-адресатные отношения в тексте.

Мы ставим перед собой следующие вопросы:

1) Почему мы рассматриваем это произведение в одном ряду с публицистическими высказываниями Фонвизина и Достоевского? Адресаты последних более конкретны.

2) Что можно вынести из слов карамзинского путешественника о мотивировке самой поездки и его поведения?

Мы сосредоточимся не на реальном Карамзине и его соотношении с образом путешественника, что преимущественно интересовало Ю. М. Лотмана [Лотман, Успенский 1984; Лотман 1987], а на повествователе-путешественнике.

Наряду с проблемой повествователя важна и проблема адресата, в том числе, можно ли говорить, что ПРП по своей повествовательной структуре хотя бы отчасти обращены к самому себе? Обращения к адресатам есть не в каждом письме, но в целом повествователь о них не забывает: они идут иногда в первых строках, иногда в последних, а порой и там, и там. Но образ адресата заслоняется образом самого путешественника. Поэтому параллельно мы рассмотрим самоопределения автора-повествователя — по крайней мере, на первой четверти маршрута — до поворота в Швейцарию (по скольку именно данная часть произведения наиболее насыщена этим повествовательным элементом).

В первых семи письмах (нумерация приводится по изданию [Карамзин 1984]) путешественник о себе ничего не говорит, но в каждом обращается к адресатам: «милые», «друзья мои», «любезнейшие друзья», «любезнейшие друзья мои», «милые друзья». В восьмом письме, из Кенигсберга, появляется и новое обращение («любезные друзья мои»), и наконец самоопределение: «Я Руской Дворянин» [Там же: 20]. Это говорит путешественник Канту⁷⁴.

В письме 13 путешественник в шутку назван попутчиками — немецкими офицерами «русской козак» (что было напоминанием о Семилетней войне и о завоеваниях России в Пруссии — таким образом ненавязчиво и даже в юмористическом ключе вводится тема могущества России).

В 14-м письме путешественник определяет себя через друзей — адресатов писем. Он обращается к А. М. Кутузову «любезной меланхолик» и определяет себя другом своих друзей и, одновременно, зеркально относит к себе определение, данное Кутузову: «Я сам себе казался жалким сиротой, бедным, несчастным...» [Там же: 34].

В письме 15 швед в гостинице г. Блума, с которым путешественник и другие постояльцы вступили в разговор о русско-шведской войне, узнает «по мундиру»⁷⁵, что путешественник — «Руской», затем следует история о смерти Клейста — поэта, погибшего на войне, и метонимический переход к себе: «Клейст есть один из любезных моих Поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, естли бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ея» [Там же: 39]. В какой-то мере история Клейста проявляет военную тему, в подтексте присутствующую ранее применительно к путешественнику — в определении «русской козак», в упоминании мундира, лексически — в переданном им здесь же разговоре с Николаи о немецких журналах («Началась ужасная война, и Берлинской журнал <...> избран был в театр сей войны» [Там же: 37]). Карамзин расставляет читателю сети: в качестве интерпретации предлагается самоирония над «воинственностью» повествователя. Из возможных вариантов выбирается именно этот, а не размышление о судьбе литераторов, оказавшихся втянутых в военные события. При первой публикации и последующих текст этого фрагмента не претерпел значительных изменений [Там же: 407]⁷⁶.

⁷⁴ Можно предположить, что приведенное здесь же слово «обгерманился» о русском консуле — связано с «офранцузиться».

⁷⁵ Этот мундир был гражданским дворянским мундиром [Киселева 2019: 37–39], а не военным, однако эта «деталь напоминает о регламентации, повсюду сопровождающей россиянина, и когда он освобождается от этой стеснительной регламентации (какого бы свойства она ни была), то <...> оказывается “доволен как царь”» [Там же: 39]. Ср. положение И. Клейна об отрицании Карамзиным «петровского этоса службы и государственной пользы» [Клейн 2020: 307].

⁷⁶ Правда, в первой редакции сообщалось, что г. Блум, упрасивавший путешественника не вмешиваться в спор шведа с датчанином, сидел «подле меня» [Карамзин 1984: 407], а не подошел, что предполагает иную психологическую трактовку: он был вынужден удерживать русского путешественника, потому что видел его состояние, и именно поэтому «тотчас подлетел к нам», когда русский, оказавшийся

В 17-м письме при встрече со стариком, охраняющим русскую церковь в Потсдаме, путешественник и его спутник сообщают ему: «мы Русские». В последнем предложении предыдущего письма путешественник называет свое сердце чувствительным: это лишний раз напоминает читателю о субъективности описываемого.

В 21-м письме повествователь себя прямо не называет, но есть косвенные аттестации: «путешественник заключил» бы [Карамзин 1984: 48] о народном характере по народной брани — но это не совсем он; это — выдуманный путешественник, который стремится делать такие заключения; отчасти это Йорик (ср. его рассуждение о трех степенях французских ругательств; над ним Карамзин посмеивается), но только отчасти. Казалось бы, это способ введения *bon mot* («... что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа?» — опять ненавязчивое введение «русской» темы). Граница между этим воображаемым путешественником и повествователем, однако, проницаема. Через абзац он снова говорит об абстрактном путешественнике: «Справедливо говорят, что путешественнику надобно всегда останавливаться в первых трактирах <...> Там есть всему определенная цена» [Там же: 48], но тут же добавляет о *своих* расходах во время пребывания у г. Блума, чем дает повод отнести себя к «образцовым» путешественникам. Тем самым подспудно противопоставляются путешественник, «заключающий о характере» народа, и экономный, расчетливый путешественник, в пользу последнего. Этого заключения можно и не делать, а прочитать главку как композиционное завершение разговора о Берлине (соответственно, путешественник сообщает последние сведения, мелочи). Но это — если знать содержание следующего письма (где описывается выезд из столицы Пруссии), а его не могут, конечно, знать (если следовать модели «реальной» переписки) ни приписанные адресаты, ни сам «автор» писем. Текст построен так, что дает разные интерпретационные возможности. Но в целом в этой короткой главке задается тема: *какой я путешественник*.

Следующая глава, 22-я, дает образец того, как ведет себя путешественник сентиментальный. Здесь впервые с писем 16–17 опять появляется прямое самоопределение и косвенное обращение к адресатам: «ваш друг» [Там же: 49]. Но тут же появляется «русская» тема — в диалоге с красавицей, которая в сопровождении горбатого кавалера встречается путешественнику на станции «за две мили от Дрездена». Она признает в путешественнике иностранца и даже англичанина:

— Извините, сударыня: я Москвитянин. — «Москвитянин? Ах, Боже мой! я еще от роду не видывала Москвитян.» <...> — «Да скажите пожалуйста, как вы к нам заехали?» — Из любопытства, сударыня. — «Надобно, чтобы вы были очень

не менее «горяч», чем швед, «не мог утерпеть, чтобы не подойти к Шведу и не вступить с ним в разговор» [Карамзин 1984: 39]. Текст, на который это было заменено впоследствии, можно трактовать как проявление излишней предосторожности самого хозяина гостиницы, желающего предупредить конфликт, даже если стороны и не думали его начинать.

любопытны. Ведь вы конечно оставили в отечестве своем много любезного?» — Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей.

Однако не менее знаменательно, что здесь появляется воображаемая реплика друзей («И только?»), как будто разочарованных в том, что краткая встреча не переросла в дорожный роман: «Не знаю, до чего бы мы с нею договорились <...> “И только?” — Что ж делать! Не хочу лгать» [Карамзин 1984: 50–51].

Как мы предполагаем, ответ, демонстрирующий стремление следовать реальному, а не вымышленному ходу событий, содержит отсылку к Стерну, в «Сентиментальном путешествии» которого Йорик дает волю своему воображению в сцене с дамой из Кале и одновременно провоцирует воображение читателей своими недомолвками на грани дозволенного (ср. хрестоматийный финал произведения, оборванный на полуслове: «схватил *fille de chambre* за...»). Но его ответ также подразумевает поддержку непосредственного восприятия реальности. От стерновского сценария повествователь ПРП отказывается и не становится путешественником сентиментальным, по крайней мере не хочет им казаться в глазах друзей, а сообщать только о том, что он «видел, слышал, чувствовал, думал» [Там же: 393]. Предполагается, что адресат поддержит основанную на этом коммуникацию.

В 23-м письме мы наблюдаем незаметный переход к субъектности. Тема вводится через предмет — голландский червонец, который требуется уплатить при входе в музей. Последовательно дается упоминание червонца как платы за вход в картинную галерею, минералогическую коллекцию и библиотеку, причем оказывается, что посещение достопримечательностей ради того, чтобы исполнить долг туриста, вызывает легкую иронию повествователя: «Всякой путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, считает за должность видеть ее <библиотеку. — *A. C.*>, то есть взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: *какая огромная библиотека!*» [Там же: 55]. «Всякой путешественник» — это уже точно не повествователь, и его отношение к тому, чтобы «взглянуть» на драгоценности и книги (слово повторяется в описаниях и минералогического кабинета, и библиотеки), выражено ясно: *смотреть* он предпочитает на картины⁷⁷.

Однако три эпизода с дрезденскими достопримечательностями оказываются последовательно связанными при помощи повторов; переход к субъектности совершается незаметно, а уже следующее предложение начинается с личного местоимения и личного впечатления: «Вечеру гулял я в саду, который называется *Zwinger Garten*, и который хотя не велик, однакожь

⁷⁷ В 26-м письме описывается дорожный разговор с кантианцем и чтение письма Лафатера. Здесь принципиальное место о возможностях глаза. До этого две главы — молитвенные, а перед этим — о картинах и художниках. Если глаз — орудие художника — приравнивается к душе (что следует из диалога со студентом), то понятен интерес к биографическим справкам о художниках. О «философии в дороге» см. разбор Ю. М. Лотмана: [Лотман 1987: 70–71].

приятен» [Карамзин 1984: 55]. Таким образом, у читателя остается возможность предположить, что путешественник, пусть и не ассоциирующий себя со «всяким», претендующим на ученость, посетил все три коллекции, и передает не просто отношение к ним, но при этом еще и непосредственное впечатление⁷⁸.

В 28-м письме имеются два косвенных самоопределения:

1) «“Какой, или каким наукам вы особенно себя посвятили?” спросил он <Платнер. — А. С.>. *Изящным*, отвечал я, и покраснелся, — знаю, от чего — может быть и вы, друзья мои, знаете» [Там же: 62].

2) «Приятно, восхитительно для всякого чувствительного сердца видеть такая надписи, и знать, что не лесть, а истина начертала их. <...> буду читать, чувствовать и — может быть плакать» [Там же: 63]. Ср. в вариантах: «для всякого чувствительного человека читать / для всякого нежного сердца читать» [Там же: 416].

Для будущего самоопределения путешественника как «скифа» важно, когда он пишет: от г. Бека «узнал я о славе Анахарсиса, сочинения Аббата Бартелеми» [Там же: 61]. Бек еще только ожидал своего экземпляра, так что путешественник, скорее всего, тоже еще не читал книги. Соответственно, когда он будет использовать отсылку к тексту в разговоре с самим Бартелеми, это должно прозвучать для читателя, в том числе, и как демонстрация знакомства с новинками.

В 30-м письме повествователь называет себя «бедный странник» и «ваш друг» (в обращении к адресатам). Когда речь идет о лекциях проф. Платнера и об обучении в Лейпциге русских студентов (в том числе, А. М. Кутузова и А. Н. Радищева, имена которых скрыты в ПРП за литерами), знание немецкого языка вспоминается не случайно: документально известно, что одну из главных трудностей обучения в Лейпциге «радищевской» группы составило как раз недостаточное знание ими немецкого (см.: [Старцев 1990: 24–25; Андреев 2005: 190, 193]). Но повествователь не хочет быть и русским учеником: «Я почел бы за особое щастие быть вашим учеником, Г. Доктор; но обстоятельства, обстоятельства —» [Карамзин 1984: 65].

Временной разрыв с «К*, Р* и другими русскими», как нам кажется, здесь не так существен, как отличие другого рода. В пассаже о лейпцигских книгопродавцах повествователь возвращается к теме, затронутой при первой встрече с Платнером — собственное занятие «изящными науками», т. е. писательством. Здесь он обращается к адресатам:

Вы пожелаете, может быть, знать, как дорого платят книгопродавцы Авторам за их сочинения? Смотря по сочинителю. Если он еще не известен Публике с хорошей стороны, то едва ли дадут ему за лист и пять талеров; но когда он

⁷⁸ В письме А. А. Петрова к Карамзину от 20 сентября 1789 года, в котором он отвечает на реальное письмо, отправленное из Дрездена, указано: «Ты жалуешься, что все примечания достойное, что ты видел, стоило тебе денег. Пожалуй уведошь, в каких обстоятельствах твой кошелек...» [Карамзин 1984: 509].

прославится, то книгопродавец предлагает ему десять, двадцать и более талеров за лист [Карамзин 1984: 65].

Путешественник не только сообщает, на что может рассчитывать начинающий автор, но и напоминает читателям, что он сам всего лишь начинающий автор, которому есть от чего покраснеть. Тема сочинительства / авторства оказывается тесным образом связанной с деньгами (см.: [Шёнле 2004: 57], ср.: [Ключкин 1997; Zorin, Korchmina 2018]) и не ограничивается комментарием об оплате писательского труда. После ужина с профессорами, на который его пригласил Платнер, путешественник хотел расплатиться, но получил чувствительный для него отпор со стороны пригласившего: «Платнер не позволил мне заплатить за ужин: что для меня не совсем приятно было. — Таким образом избранные Лейпцигские Ученые ужинают вместе один раз в неделю <...>» [Карамзин 1984: 66]. Логика эпизода, на наш взгляд, такова. Платнер сообщает ему: вы русский (потенциальный) ученик, т. е. обладаете следующими качествами: вы молоды — у вас есть деньги — вы знаете немецкий. Когда же путешественник отказывается от этой роли, он тем самым признает свою относительную бедность («обстоятельства, обстоятельства —»), жест Платнера подчеркивает ее, напоминает о поводе для отказа от обучения, и это «не совсем приятно» путешественнику именно в контексте предшествовавшего ужину разговора. Возникает тема «избранности»: с одной стороны, его не берут в избранный круг, с другой стороны, он *не покупал* «избранности», как мог бы это сделать богатый русский ученик, — но зато стал проводником для читателя в ученый круг. Некоторые слова итогового пассажа этого письма получают дополнительную (финансовую) коннотацию, само его появление на этом месте отчасти ее мотивирует: «Милые друзья мои! я вижу людей достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных — но все они далеки от моего сердца. Кто из них имеет во мне хотя малейшую *нужду*? Всякой занят своим делом, и никто не заботится о *бедном* страннике» [Там же: 66; курсив мой. — А. С.]. И это говорится после, коротко говоря, «ухаживаний» за ним Платнера — одного из наиболее известных профессоров Лейпцига к тому времени.

Подведем промежуточный итог. Представленные выше трактовки должны выдержать упрек в произвольности, если согласиться со следующим допущением. Особенностью карамзинского повествования является то, что интересующая автора тема, мотив постоянно переходит из модуса бытия в модус письма и обратно. Это же придает ему и особый психологизм. Вместо слов: «Я прогуливался и думал о...» (тогда всё лежало бы на поверхности), повествователь оставляет намек в части «описания» и развивает его в части «размышления»⁷⁹. Вроде бы это должно говорить о разорванности субъекта, но, напротив, странным образом обеспечивает его цельность. Особенно это заметно в сравнении с продолжателями и подражателями Карамзина. Ниже мы постараемся вскрыть основную для нас характеристику

⁷⁹ Первым эту игру с модальностью в ПРП проанализировал, по-видимому, Х. Роте [Rothe 1960–1962; Rothe 1968], см. также [Лотман 1987].

повествователя — как *русского* путешественника, но сделаем это после некоторого отступления, обратившись к последующей традиции.

3.1.1. Организация повествования у эпигонов Карамзина

Рассмотрим организацию голоса повествователя, сравнив ее у Карамзина и у его последователей, которых иногда и отчасти справедливо называют эпигонами: В. В. Измайлова, П. И. Шаликова, П. И. Макарова на примере приема включения в повествование «чувствительного эпизода», зачатка или, напротив, квинтэссенции сентиментальной повести («вот вам канева для романа», замечает Измайлов, комментируя один из таких эпизодов [Измайлов 1802: 3, 22]).

Рассматривая вклинивающиеся в основное повествование фрагменты у Карамзина, Т. А. Роболи отмечала:

В композиционном отношении «Письма русского путешественника» отличаются тщательной замотивированностью связи своих частей. <...> Обычно ввод материала сопровождается обращением к адресату для поддержания общего эпистолярного тона, который несколько нарушается от массы отнюдь не эпистолярных форм, к тому же иногда довольно больших по размеру [Роболи 1926: 52].

На наш взгляд, это «нарушение тона» — не только побочный эффект, который нужно замаскировать; оно входит в художественную задачу. Передача другим персонажам ожидаемого «готового» слова делает на этом фоне нейтральным стиль повествователя.

В ПРП есть разбитый на несколько частей эпизод с датчанином Б* (Беккером), увлекшимся встретившейся путешественникам дамой из Ивердона. Начало этой истории описывает сам повествователь:

Вообразите, что новый мой знакомец Б*, с которым я уговаривался вместе путешествовать по Швейцарии, умирает — умирает от любви! Здесь в трактире живет молодая дама из Ивердона. Сегодня ужинала она за общим столом, сидела подле Б* и несколько раз начинала с ним говорить. Нежное сердце моего Датчанина растопилось от огненных ее взоров. <...> Б* стоял, смотрел в след за нею, и наконец сказал мне, когда я подошел к нему, что он едва ли может завтра ехать со мною в Цюрих, чувствуя себя очень нездоровым [Карамзин 1984: 213–214].

Степень серьезности чувств Б* при этом не оценивается, это предоставляется сделать читателю, которому сообщается, что уже на следующий день, «датчанин Б* исцелился от любовной своей болезни» [Там же: 214]. Спустя несколько страниц он показан готовым к новым сердечным впечатлениям:

Мы обедали в маленькой Швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала Француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лицо и томность в глазах, делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б*. <...> Б* в восторге вскочил со стула, схватил руку ея, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам [Там же: 104–105].

Вся история разворачивается на фоне «счастливой Гельвеции», в которой царствуют «мир и тишина» [Карамзин 1984: 105], и тон повествователя не лишен иронии, но мягкой, потому что он сам захвачен атмосферой естественной чувствительности. Зато в третьей части письма продолжение истории Б* и дамы из Ивердона рассказывает само действующее лицо в письме к повествователю: «Приятель мой Б* уехал в Лозану. Сию минуту получил я от него письмо. Вот оно: “Ах, мой друг! жалею о несчастном! <...> скажу тебе откровенно, что Ивердонская красавица возбудила во мне такие чувства, которых — теперь описать не умею”» [Там же: 176]. Далее Б* сообщает, что отправился верхом в Ивердон, надеясь увидеться там с пленившей его дамой, но сначала встреча с ее суровым отцом, потом холодный прием самой красавицы, а затем известие о предстоящей ей свадьбе вселили в него ненависть к самому городу Ивердону. Остаток письма посвящен пирушке с англичанами, провозглашавшими «чувствительные здоровья» в честь дамы, обратному пути Б* по заснеженной дороге, в котором «хладная смерть со всеми своими ужасами вилась» над ним — и полученной в результате поездки жестокой простуде. «Вот конец моего романа!» — завершает письмо Б*, а повествователь замечает: «Так, или почти так пишет мой Б» [Там же: 178].

В повторном обращении к этому сюжету знаменательна как выдержанность письма в возвышенно-поэтическом ключе, так и прозаический конец (простуда), но главное — настойчивое возвращение к литературно-цитатному слою повествования (многократно описанная в литературе сентиментализма ситуация рыцарственного увлечения чужой невестой или женой) совершается здесь при помощи повествовательной инстанции низшего уровня, чем автор (и стоящий наравне с ним читатель), что позволяет представить «литературность» лишь одним из голосов, с которым не отождествляется сам повествователь.

Подчеркнем, что важно не угадываемое ироничное отношение повествователя к конкретному эпизоду, а сама возможность описать его в разных стилях, посмотреть на него с разных сторон. Это безусловно связано с задачей освоения прозаического повествования, но кроме того — и в первую очередь — проистекает из существенных свойств мировоззрения и личности Карамзина, отражая их. Можно заключить, исходя из анализа «чувствительного эпизода», что в ПРП важно, *кто* говорит, но еще важнее, что говорят *разные голоса*.

Теперь обратимся к эпигонам Карамзина. И «Путешествие в Малороссию» Шаликова, и «Путешествие в полуденную Россию» Измайлова, и даже 15-страничные «Письма из Лондона» Макарова насыщены подобными эпизодами, рассказанными иными лицами.

Так, повествователь «Путешествия...» Измайлова⁸⁰ сообщает со слов своего знакомого историю девушки, лишившейся дара речи после расставания с женихом (подзаголовок отрывка — «трагический анекдот»). Весь рассказ об этом происшествии оформлен как прямая речь, полон чувствительных эпитетов и образов («Время протекает; бедная сохраняет чувство нежности ко всему, что было для нее мило; живая пантомима дает чувствовать, что сердце ее еще любить умеет, но выражение сего сладкого чувства не возвращается на бледные уста ее») и в целом неотличим от стиля основного повествования. Заканчивается он таким резюме: «Я не могу продолжать; глаза мои полны слез, сердце полно горести» [Измайлов 1802: 2, 20], и если бы не кавычки, которые закрылись перед ним, чрезвычайно затруднительно было бы определить, кому принадлежат эти слова и кто именно прерывает повествование слезами, рассказчик или путешественник.

В «Путешествии в Малороссию» подобный эпизод помещен в отдельную главу, оформленную как рассказ друга путешественника («Торжество невинности»), о девушке, несправедливо обвиненной в связи с отчимом; см.: [Шаликов 1990: 521–522]). Несмотря на то, что повествователь «Путешествия в Малороссию» начинает этот отрывок и прерывает рассказчика в середине, он ни подводит итога рассказу, ни высказывает своего суждения, лишь рекомендуя его своим «чувствительным друзьям».

Итак, у Измайлова и Шаликова нет стилистических различий между речью рассказчиков и повествователя, последний не дистанцируется от них, не занимает позицию над разными точками зрения, как это было у Карамзина. При этом оба автора чувствовали остроту проблемы «возвышенно-нежного» стиля и, каждый по-своему, стремились предупредить возникающее у читателя недоверие к содержанию выдержанного в этом стиле повествования. Ср. у Измайлова: «...это было не в романе. Нет нужды сказывать, что это не роман. Путешествие сего рода не терпит выдумки» [Измайлов 1802: 2, 44]; у Шаликова: «В сем путешествии нет ни статистических, ни географических описаний: одни впечатления путешественника описаны в нем <...> “На что ж издавать его?” Ответ на это почти уже есть: *сердца, образованные для чувствительности, находят под печатью ее самую безделку приятности*» [Шаликов 1990: 516]. Оба автора используют «чувствительные эпизоды» для возбуждения в читателях переживаний, сходных с теми, которые сами они, по их словам, испытали, слушая эти рассказы.

У Макарова наблюдается наиболее интересное решение: рассказ о чувствительном происшествии (любезном воре, который отказался грабить даму, чей перстень был подарен возлюбленным) передан лондонской газете,

⁸⁰ Первая часть этой книги вышла в Университетской типографии в 1800 году, через год после самого путешествия, предпринятого 26-летним автором по примеру Карамзина, но по другим территориям: Украина, Крым, Кавказ, Поволжье. Об исследуемом им художественном потенциале «полуденной России» см. ниже, в главе 4. Для совершения путешествия Измайлов продал свою библиотеку [Лобанова 1992: 408]. Книга выдержала несколько изданий (2-е, с включением второй части маршрута, в 1802 году, 3-е в 1805-м).

причем он соседствует с другим сообщением криминальной хроники, в котором жертва была ранена в трех местах ножом [Макаров 1990: 507]. Это явно выраженная ирония, которая при этом подтверждается прямыми высказываниями отношения к сентиментальному стилю, чего нет у Карамзина:

Вам конечно странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, не сижу на мягкой, зеленой траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира или о судьбе человечества; не поручаю зефирам нести мои чувствования, мои вздохи к богине этого *рая*, молодой, прелестной англичанке — белокурой, нежной, томной, чувствительной — с голубыми глазами, с правилами достойными героинь добренькой *Скюдери*, с сердцем мягким, как воск на солнце [Там же: 505].

Нельзя говорить о том, что отсутствие речевой дифференциации персонажей — носителей чувствительности (как у Шаликова и Измайлова) или, шире, однозначно явленное отношение к этой категории (включая уже и Макарова) — безусловная слабость авторов. Если перед Карамзиным была цель продемонстрировать стилистическое и мировоззренческое разнообразие, дать «образцы» молодой прозе, то его продолжатели шли каждый по своему, особо выбранному пути.

Проведенное сопоставление позволяет скорректировать мнение Роболи о конструктивной функции сентиментальной повести в путешествии: «тогда как “письмо” может влиять на основную повествовательно-описательную ткань, как бы пронизывая ее насквозь, сентиментальная повесть влияет частично и, главным образом, не стилистически, а тематически» [Роболи 1926: 46]. Путешествие в целом организуется не письмом, но эпистолярным, скорее даже исповедальным, дискурсом. Письмо и чувствительная повесть («чувствительный эпизод») входят в путешествие на правах риторически организованных элементов, как бы «чужих слов», и в композиционном плане они также равноправны благодаря этому.

Обратимся к сопоставлению на несколько ином материале: не композиционном, а образном.

Среди многочисленных персонажей «Путешествия в полуденную Россию»: самого повествователя, сопровождавших его в дороге слуг, встреченных им лиц, в том числе знаменитостей своего времени (археолог и историк Киева М. Берлинский, естествоиспытатели М. Афонин и П. С. Паллас), — выделяется один, нередкий для литературы путешествий персонаж. Это ручная собачка, которая не просто упоминается в качестве атрибута поездки, как это можно было бы предположить, а предстает полноправным героем произведения. Вот как вводится в повествование образ собачки:

Иногда, удаляясь от большой дороги, укрываюсь под тенью лесочка с людьми моими и с моею Лов, которая всегда ложится у ног моих <здесь Измайлов делает примечание: «Имя собачки, которое значит на английском языке: *любовь*». — А. С.>. Там покоимся мы на мягких коврах, расстилаемых роскошно

природою; ветерок прохладает кровь, воспаленную жаром; свист птичек служит нам музыкаю, цветы питают благоуханием, и чувства нежатся. Как вкусна пища, когда отдохновение после усталости пробуждает аппетит! Какое приятное течение мыслей, когда задумчивость овладеет вдруг всеми чувствами! Какой сладкий покой, когда солнечный жар, прохлаждаемый ветерком, погружает в недра томного сна! <...> Мы переглянемся иногда с собачкою при встрече какого-нибудь приятного предмета, и сердца наши (простите мне сие выражение!) разделят свое чувство живее, нежели иные люди [Измайлов 1802: 1, 10].

Как нетрудно убедиться по приведенному отрывку, собачка Лов разделяет с путешественником не только тяготы дороги, но и различные ментальные состояния: «мы покоимся на мягких коврах», «свист птичек служит нам музыкаю», «чувства нежатся», наконец, «какое приятное течение мыслей» — все эти характеристики читателю приходится принимать как принадлежащие не только повествователю и слугам, но и собачке, тем более что в конце фрагмента ее очеловечивание прямо оговаривается.

Собачка упоминается и дальше, поначалу часто, потом, в наиболее насыщенной достопримечательностями части «Путешествия» пропадает, наконец в сцене после прогулки путешественника по крымским горам снова выступает наравне со слугой:

Далее встретило меня еще одно приятное удивление. Мы остановились у постоялого двора, где назначено было человеку, мною оставленному, ожидать меня с экипажем. Мы постучались у ворот — они отворились — и тотчас выбежала ко мне навстречу собачка моя; за нею и добрый мой слуга; она визжала, прыгала, ласкалась ко мне, а он стоял, глядел на меня и — не мог удержаться от слез, которые катились из глаз его. Бедный человек, слыша об опасности горной дороги, почитая меня погибшим и не спав уже несколько ночей от сомнения, обрадовался мне до безумства. <...> Божественный поэт! Ты, которой воспел вселенной счастье Итакского царя, встреченного верной его собакой и добрым Евмеем! Я был счастливее тебя. Я чувствовал в сущности то, что ты чувствовал по одному воображению. Ах! для чего нет у меня пера твоего? [Там же: 3, 161–162].

Позже в издаваемом им журнале «Патриот» Измайлов поместил эссе о смерти «верной <...> спутницы, нежной подруги... собачки Лове» [Измайлов 1804: 362]⁸¹. Можно иронично отнестись к такой чувствительности, зато, зная простодушие Измайлова-писателя, невозможно предположить, чтобы он спустя много лет вспомнил о придуманном персонаже своей книги и развивал «собачий» миф. Реальное существование собачки можно считать подтвержденным, и это важно для функционирования этого образа в тексте.

У Карамзина встречаются сочувственные упоминания животных (например, рассуждая об эпохах жизни, он говорит о том, что умение сочувствовать живым существам — признак духовной зрелости; приходит время,

⁸¹ В «Сводном каталоге сериальных изданий России» автор не указан [СКСИР 2015: 250], атрибутируется нами по содержанию.

когда, по его словам, «ласки верной собачки (которая не оставила нас вместе с неверными любовницами!) извлекают из глаз наших слезы благодарности, но тогда же и смерть любимой птички делает нам превеликое горе» [Карамзин 1984: 355]), целые эпизоды ПРП посвящены отдельным животным, но именно Измайлову принадлежит заслуга перемещения образа собачки в новый регистр. Но делал он это по образцу ПРП.

Речь идет не о происхождении образа⁸². Почему этот образ оказался востребованным?

Рассмотрим контекст, в котором он встречается у Измайлова. Это почти исключительно воспоминания о друзьях и родных путешественника. Вот, например, каковы его размышления сразу после цитированного выше первого знакомства читателей с собачкой:

Иногда, забыв и природу, и юг, и поля, и рощи, думаю только о друзьях моих — смотрю на часы от времени до времени, и говорю себе: теперь они просыпаются — теперь они гуляют — теперь они сидят в кругу и разговаривают, может быть, обо мне. Я слушаю, вхожу в разговор, и сам рассказываю. Счастливая сила памяти и воображения, которая переносит человека за неизмеримые отдаленности, и дает ему чувствовать радость свидания в недрах самой разлуки! [Измайлов 1802: 1, 10–11]

Откуда это соседство? Существует соблазн представить дело так, что собачка заменяет собой отсутствующих друзей и родных, поэтому и появляется в связке с ними. То есть она в таком случае — атрибут, хотя и на ином уровне, атрибут очеловеченный, в силу человеческой природы тех, кого замещает. Такое объяснение, возможно, годилось бы, если бы мы рассматривали «Путешествие» не как литературное произведение, а как психологический документ. Однако мы хотим предложить другую трактовку.

В сцене возвращения с горной прогулки в Крыму собачка Лов и слуга Степан вместе встречают измайловского путешественника; вспомним, что они уподобляются гомеровским Евмею и собаке Одиссея, при этом акцент ставится на превосходстве повествователя-очевидца над описывавшим свою фантазию Гомером, то есть, в конечном счете — реальности над воображением. Произведения, подобные «Путешествию в полуденную Россию» (и ПРП, к которым «Путешествие» по крайней мере, в этом отношении восходит), находятся на грани между фактом и вымыслом, рассказом о совершенной поездке и художественным произведением. Претендуя на

⁸² Наиболее гипотетический источник — «Сентиментальное путешествие» Стерна, в котором собачка встречается всего один раз — в описании несчастной Марии. Другой, более вероятный — ПРП. Карамзин так пишет о молодом человеке, сопровождавшем путешественника на пути из Страсбурга в Базель: «Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мила за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожалев нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом» [Карамзин 1984: 97]. Вполне вероятно, у Измайлова был и более прямой и очевидный источник, который пока не отыскан.

то, чтобы считаться высокой литературой, они в то же время не спешат отказываться от описания непосредственных впечатлений и даже настаивают на этом, обретая (а иногда и не обретая) свою подлинность на пересечении этих двух интенций. Едва ли не самый существенный способ заставить читателя поверить в свою подлинность (а, может быть, и следствие такого промежуточного положения) — включить его самого в повествование. Насыщенный предназначенными для самого широкого читателя культурными аллюзиями текст одновременно с этим нагружается деталями, как будто не представляющими интереса для посторонних, — намеками и ссылками на обстоятельства и имена, знакомые только ближайшему окружению автора. Но поскольку каждый читатель все равно читает оба слоя текста, независимо от того, верно прочитывает он их или только принимает условия игры, предложенные писателем, то потенциально любой становится в один ряд с формальными адресатами произведения — родными и друзьями повествователя. Одной из форм выражения двойной коммуникации в тексте измайловского «Путешествия» и кажется нам образ собачки Лов. В нем сочетается отсылка к стернианской традиции, понятная абсолютному большинству читателей в ту эпоху, и сопровождающие данный образ домашние интонации, относящиеся в большей степени к «внутреннему человеку».

В пародиях же на тексты сентиментализма двуплановости, разумеется, нет (подробнее мы коснемся их в следующей главе). Ухватывая только то, что ему кажется наиболее заметной характеристикой оригинала, пародист неизбежно теряет его глубину, собственно, его задача и состоит в том, чтобы показать, что нет никакой глубины.

Так, А. А. Шаховской в «Новом Стерне» высмеивал привязанность главного героя графа Пронского к его собачке Леди, после трагической гибели которой под колесами телеги граф находит утешение, влюбившись в «интересную Мелани» (так он называет крестьянку Маланью). Притязания на сердце крестьянки так же, как и плач по собачке, вызваны подражанием литературным образцам:

Судьбин. <...> Итак, скажи мне, что вы делаете?

Ипат. Мы, сударь?.. Смотря по погоде: вздыхаем, плачем, восхищаемся, умиляемся, трогаемся. Ясное солнце согревает наши чувства, ужасный мороз напрягает нашу жизненность, быстрый ручей мелодиею своею питает нашу меланхолию, тихое озеро служит зеркалом нашей сентиментальности; наконец вёдро, ветер, дождь, горы, леса, луга, болота, люди, скоты, птицы, мухи, комары — всё имеет влияние на нашу душу; словом, мы сентиментальные вояжеры! Но, увы! судьбе угодно было, чтоб из трех нас гений смерти похитил одного!.. О Леди! тебя уж нет!.. Ах!.. вечность!..

Судьбин. Как! что это значит? один из вас умер? Кто этот Леди?

Ипат. Чувствительный, признательный, сентиментальный друг человечества, печать верности! наконец, английская собачка, которую третьего дня на этой горе переехали колесом и которой граф воздвигает монумент вечности.

Судьбин. Так это-то и удержало его здесь?

Ипат. Это, но не совсем. Смерть привязанной Леди оставила пустоту в наших сердцах, которую мой барин хочет наполнить интересною дочерью здешней мельничихи [Шаховской 1961: 736–737]⁸³.

Эпизод с собачкой фактически отсылает только к измайловскому путешествию. Но Шаховской, решая свои задачи по созданию национального театра [Киселева 2002; Новашевская 2020], по-видимому, принципиально не разделял в качестве предмета пародии Карамзина и Шаликова с Измайловым.

Не вдаваясь в подробности, напомним, что конфликт между карамзинистами и шишковистами, частью которого можно полагать полемику вокруг «Нового Стерна» (ср. иную точку зрения, согласно которой «злободневная полемическая комедия», созданная по французским образцам, стала заложником ретроспективных интерпретаций участниками борьбы «Арзамаса» с «Беседой»: [Иванов Д. 2009: 25–40]), подспудно имел политический характер ([Тынянов 1929; Вацуро 1994] и мн. др.). В литературе об Измайлове высказывалось мнение, что на него повлиял культ религиозно-патриотических чувств, распространившийся в русской общественной мысли в начале XIX века [Шёнле 2004: 109–118] (корректирующую точку зрения на политические взгляды Измайлова см. [Одесский 2005])⁸⁴.

Итак, пародийный текст посвящен смешению литературных моделей с реальной жизнью. В то время как ПРП не дают перекося в ту или иную сторону в соотношении вымысла и реальности, произведения эпигонов Карамзина подверглись за это атакам.

«Русский путешественник» знаком и с философией Канта и Лафатера, и с культурой Франции, и с общественными учреждениями Англии и т. д. Но он стремится всё увидеть своими глазами и передать непосредственные впечатления от увиденного, чаще всего в сложном соотношении с тем, что ему заранее известно. Это помогает на уровне личности обрести самого себя, на уровне нации — распознать отличия от других. Но сама по себе поза дает простор для подражаний и пародий.

Из того материала, который мы проанализировали в данном параграфе, между прочим следует, что подражатели ПРП, находясь на тех же позициях, что и Карамзин, разделяя его основные творческие установки, все же заметно ему уступают. Чего не хватало путешествиям Измайлова и Шаликова, чтобы если не повторить успех ПРП, то избежать шквала критики? (Впрочем, Карамзин также с нею столкнулся, но, если включить сюда с оговорками П. И. Голенищева-Кутузова, это была критика круга знакомых; выступление А. С. Шишкова отделено от первого появления ПРП более чем десятком лет). Для нашего исследования рассуждения о мере таланта несущественны, ответ должен быть в области прагматики текста.

⁸³ А. А. Гозенпуд в рамках сопоставления пьесы Шаховского с «Путешествием в полуденную Россию» прокомментировал пародийную отсылку Шаховского к измайловской собачке Лов.

⁸⁴ К проблеме идеологии «Путешествия в полуденную Россию» мы еще вернемся (в главе 4).

Сыграл ли свою роль в неудаче маршрут, пролежавший у подражателей по Российской империи, а не за ее пределами? Определенно, да. В нем не было эффекта новости. По провинциям Российской империи весь XVIII век путешествовали ученые-натуралисты, оставившие множество записок, в том числе и на русском языке: П. С. Паллас, Гмелин, Лепехин, Зуев и др. Однако и ПРП предшествовали путеводители и другие источники о европейских странах (условный Бюшинг).

Подражатели шли за Карамзиным в подборе тем и собеседников, которых на страницах его ПРП немало. Масштаб интеллектуальной жизни, открывающийся в путешествиях по России, несравнимо скромнее, но все же имеется, иногда — разнообразный. Так, путешественник Шаликова приезжает к В. В. Капнисту. Среди собеседников Измайлова находим ученого с европейским именем П. С. Палласа, русского ботаника М. И. Афонина — ученика К. Линнея, археолога-любителя М. Ф. Берлинского, а также людей, сочетающих в себе свойства просвещенного и естественного человека, например, оставшаяся неизвестной нам по имени татарская княжна. Места, связанные с именами оставивших след в русской истории лиц (Ивана Грозного, Петра I), современников (Суворова, адмирала Мордвинова), в том числе культурных деятелей (Хераскова, британского филантропа Дж. Говарда), должны были ненамного меньше привлекать русского читателя, чем, например, паломничество на берега Женевского озера. «У нас есть свой Людовик XI», — говорит Карамзин о русской истории; «у нас есть свой Вольтер», откликается Измайлов из своего маршрута.

У Измайлова есть даже сюжет, более явный, чем в ПРП, связанный с самовоспитанием путешественника [Соловьев 2011]. Но путешественники Измайлова и Шаликова предстают совсем уж простодушными и ничем не подсказывают, что стараются ими быть, в отличие от Карамзина (впоследствии Достоевский возьмет это в свои «Зимние заметки...»; см. ниже § 3.3). Художественной цельности не хватило не путешествиям, а образам путешественников, от лица которых велось повествование: в них слишком мало маски, слишком заметны из-под нее реальные авторы. Путешественниками, тем более «русскими путешественниками», эти образы назвать трудно.

3.1.2. Субъект «Писем русского путешественника». «Русский» путешественник

Вернемся к ПРП. В рассмотренных в § 3.1 эпизодах первой части маршрута путешественник определяется (в том числе, косвенно, в речи других персонажей) таким образом: «русский дворянин», «русский казак», «жалкий сирота», «путешественник», «русский», один из «русских», «москвитянин» (не англичанин), посвятивший себя «изящным» наукам, имеющий чувствительное сердце, «бедный странник», «не немец», похожий на «целомудренного рыцаря», обладатель «каменной русской груди», «путешествующий иностранец», «северный житель» и — несколько раз — «ваш друг».

Заметим, что Карамзин часто определяет национальную принадлежность своего путешественника от противоположного: как иностранца («я путешествующий иностранец» — см. п. 40 [Карамзин 1984: 85], при этом в одном из двух случаев употребления уточняется, что он не англичанин, а москвитянин), как представителя иной нации, чем местные жители — «я не Немец» (п. 34 [Там же: 74]), как представителя северной страны (п. 39: «каменная Руская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием Маинских бурь» [Там же: 84]; ср. также п. 44).

Рассматривая, вслед за А. Л. Зориным, двойную функцию высказывания, обращенного одновременно к «родным» карамзинского путешественника (или их образу) и широкому кругу читателей, скажем, что самоопределения путешественника имеют в виду даже не двух, а трех адресатов: помимо «друзей» и публики — это европейцы, с которыми он сталкивается в повествовании и относительно которых определяет себя.

Последнее понятно, но зачем называться русским не только на страницах произведения, но и в заглавии — для русской публики⁸⁵? Примеры подобных заглавий отыскать нетрудно, но совпадения будут не во всех элементах. Так, К. Ф. Мориц написал «Путешествия немца по Англии ... в письмах...» (1782) и «Путешествия немца по Италии...» (1792–1793), но там не было «путешественника», зато упоминались страны, по которым он перемещался. Так же и в других названиях европейской литературы путешествий обязательно упоминались страны, посещенные автором⁸⁶. «Русские» в заглавиях появляются только с Карамзина, это неоспоримо.

Представляясь русским в беседах с европейцами — попутчиками, случайными знакомыми, известными людьми, — путешественник Карамзина

⁸⁵ Если не предполагать, конечно, что изначально была задумана публикация в одной из европейских стран, и не видеть намека на это, например, в словах спутников-немцев, просящих путешественника «не забыть шпор» при издании журнала путешествия, оказавшихся в кармане их общего попутчика [Карамзин 1984: 31].

⁸⁶ Приведем далеко не полный, но репрезентативный список: «Заметки о Северной Италии» Д. Аддисона (1705), «Путешествие по всему острову Великобритании» (1724–1726) Д. Дефо, «Путешествия по Европе, Азии и Африке» (1727) Обри де ла Моттре, «Любопытное и новое путешествие среди дикарей Северной Америки, в котором можно найти описание Канады» (1738) К. Лебо, «Путешествие по Франции и Италии» Т. Смолетта (1766), «Путешествие в Сибирь» Ж. Шапп д'Отроша (1768), «Путешествие к западным островам Шотландии» (1775) С. Джонсона, «Письма об Италии» Ж.-Б. Дюпати (1788) и т. д. Так же среди русских изданий: «Описание путешествия его императорского высочества ... Павла Петровича в Берлин...» (1766) В. Вороблевского, «Записки путешествия в европейские государства, в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим, на Мальтийский остров» (1773) Б. П. Шереметева, «Журнал путешествия ... по иностранным государствам...» (1773) Н. А. Демидова, «Журнал высочайшего путешествия ея величества государыни императрицы Екатерины II ... в полуденные страны России...» (1787) А. В. Храповицкого и т. д. Топография в подзаголовке, как известно, есть даже у Стерна: «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), не обошлось без нее и в вымышленном путешествии Дж. Свифта: «Путешествия в некоторые отдаленные страны мира ... Лемюэля Гулливера...» (1726).

в то же время ускользает от попытки связать его с одним из сложившихся к тому времени представлений о русских: как о знатном прожигателе жизни или жаждущем знаний студенте. Мы полагаем, что и определения «русского» и «русскости» являются частью литературной маски (или масок), о которой писал Ю. М. Лотман. Остальные определения, которые он дает себе, мы тоже можем считать квази-определениями. Отсылки к образам рыцарей и других чувствительных странников — ни в коем случае не самоопределение субъекта, их литературная природа не только очевидна, но и подчеркивается повествователем (как в обыгрывании диалога с прекрасной спутницей горбатого кавалера по дороге из Берлина в Дрезден; см. выше § 2.1). То же с образом «вашего друга», покинувшего приятельский круг: текст заставляет поверить, что адресован неким «друзьям», представляет собою подлинные письма, написанные «в карете», хотя со времен Сиповского мы точно знаем, что это совсем не так. Условны и определения от противного — не немец, не англичанин, некий иностранец, подложное «русский казак» от спутников-немецких офицеров... Наши подлинные знания о субъекте речи выводимы только из материи повествования.

Определение «русский» указывает, прежде всего, не на сам субъект, а на его язык — язык, который определяет личность наравне с другими факторами.

Труд по написанию книги требовал значительных усилий и заключался отнюдь не в том, чтобы нацарапать пару фраз, подобно неприязательным надписям на колокольне страсбургского собора, оставленным его соотечественниками. Подготовка к созданию ПРП шла несколько лет (переводы, сочинения конца 1780-х годов), и труд продолжался после выхода журнального и первого книжного изданий. Усилия Карамзина по созданию текста, в принципе, объединяются словом «культура»: культура письма, издания, литературного труда как такового.

И все же, отвечая на вопрос, зачем Карамзин предпринял его, исследователи выбирают разные аспекты. Лотман сосредоточился на аспекте «сотворения» Карамзиным собственной биографии, Зорин — на формировании читателя. Исследователи обращали внимание и на другие аспекты. Так, об издании «Московского журнала» как о коммерческом проекте Карамзина обстоятельно, с бухгалтерскими подсчетами, писал К. Ключкин [Ключкин 1997]. Мы обращаем внимание на другой аспект — на культурно-семиотический перевод. Напомним, что Лотман особо подчеркнул точный и внятный человеку нашего времени язык Карамзина в переводах философских понятий Канта, «безукоризненность русских эквивалентов», выбранных Карамзиным [Лотман 1987: 67]. Сам Карамзин в позднейшем примечании к ПРП указывал на свое первенство в использовании слова «промышленность». Это не случайно: его цель — именно перевод в указанном нами широком смысле слова. «Русский путешественник», а не «путешественник по Германии, Швейцарии, Франции и Италии» — он именно потому «русский», что Россия присутствует в повествовании как *принимающая* культура, культура-реципиент. Всё в ПРП оценивается через язык, речь, образы и приемы повествования.

В ПРП не только практически разрабатывается язык русской литературы, но эта тема становится предметом обсуждения. Еще Фонвизин делал доклад в парижском ученом кружке о свойствах русского языка, а текст Карамзина пестрит упоминаниями того, как путешественник рассказывает нечто о русском языке своим собеседникам, читает по-русски стихи и переводы и т. д. С другой стороны, постоянны ссылки на то, что путешественник хорошо говорит на языках Европы (путешественника призывают на помощь как переводчика для итальянца [Карамзин 1984: 16]; упоминавшаяся выше красавица делает ему комплимент за знание немецкого⁸⁷; сам путешественник смеется над плохим французским некоторых из своих спутников [Там же: 89, 161–162]; сосед в лионском театре также делает комплимент: «Быть не может; вы Француз» [Там же: 196] и т. д. В ПФ Фонвизина также говорилось, что «первый и учтивейший комплимент чужестранному состоит не в других словах как точно в сих: “Monsieur, vous n’avez point l’air étranger du tout, je vous en fais bien mon compliment!”» [Фонвизин 1959: 2, 472]. По-видимому, это было частью «общих мест» о Франции, но Карамзин распространяет речевую характеристику и на всю Европу, и на своего путешественника, и это представляется нам принципиальным.

«Русский путешественник» — это не просто свидетель, но переводчик-интерпретатор явлений европейской жизни и культуры. Его субъектность заключается в функции посредника, и форма, выбранная для произведения, — письма — лучшее, что можно было придумать. В этом ключе важен образ Петра I, то и дело всплывающий на страницах ПРП⁸⁸. Стихи Томсона

⁸⁷ Хотя комплимент в данном случае насквозь ироничен: во-первых, красавица опознает в путешественнике иностранца, видимо, все-таки по выговору, поэтому уточняет, чтобы не обидеть, что признала в нем англичанина, «потому что Англичане хорошо говорят по-Немецки» [Карамзин 1984: 51]; во-вторых, это отсылает к поведению Йорика у Стерна, кокетничающего с женщинами (а именно это пытается делать повествователь ПРП, заходя к ней в комнату почтового дома).

⁸⁸ Ср.: «Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой все на Немецкую стать, а в другой все на Рускую. Тут была прежде наша граница — о Петр, Петр!» [Карамзин 1984: 9]. Правда, как отмечает А. Л. Зорин, по этому высказыванию «невозможно понять, то ли автор восхищается гением Петра, раздвинувшим пределы империи, то ли осуждает присоединение к России чуждых земель, нарушившее этнокультурное единство национального тела. Не исключено, что он испытывает оба этих чувства одновременно» [Зорин 2016: 156].

В Лионе: «...сии два героя были весьма не равны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Людовика: Петр прославил своих подданных — первый отчасти способствовал успехам просвещения: второй, как лучезарный бог света, явился на горизонте человечества, и осветил глубокую тьму вокруг себя — в правление первого тысячи трудолюбивых Французов принуждены были оставить отечество: второй привлек в свое государство искусных и полезных чужеземцев — первого уважаю как сильного Царя: второго почитаю как великого мужа, как Героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля.* — При сем случае скажу, что мысль поставить статую Петра Великого на диком камне, есть для меня прекрасная, несравненная мысль — ибо сей камень служит разительным образом

о Петре I даны в тексте в оригинале и в построчном переводе. Подробно пересказывается мелодрама «Петр Великий», поставленная на парижской сцене (см. подробнее об этом в комментариях: [Карамзин 1984: 650–652]). В сцене в Академии надписей дается рассуждение о Петре: «У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: Царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой Государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий <...> Все *народное* ничто перед *человеческим*» [Там же: 253–254]. См. также упоминание портрета Петра в Виндзоре и анекдот о госпитале в Лондоне. Число примеров можно было умножить.

В ПРП Карамзину было необходимо осмыслить то, что было перенесено в Россию с начала петровских преобразований, а что осталось за бортом, и увидеть своеобразие России и русской культуры. Эта тема будет продолжена затем в записке «О древней и новой России» (1811), где акценты будут расставлены по-иному: Петр, приобщив Россию к европейской цивилизации, лишил ее своеобразия. В ПРП — другая задача: в своем тексте Карамзин продолжает дело Петра, «переводя» Европу на русский язык.

Роль заимствованных элементов проясняется исходя из этого. Соотношение между непосредственными наблюдениями и заимствованиями из источников как элементами конструирования текста — одна из центральных проблем в изучении традиции путешествий, от хождений до роуд-муви и трэвел-блогов наших дней. В русской литературе мы вряд ли найдем хотя бы одно произведение, которого эта проблема не касалась бы. Приведем в качестве примера суждение Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского о том, как поступал Карамзин с книжными источниками:

...путешественник Карамзина — это путешественник с книгой в руках. Он смотрит на то, что уже знает по описаниям, и не стесняется книжных заимствований в своем произведении. Вся Европа расстилается перед ним, как обширный сборник цитат, и он наслаждается, узнавая уже знакомое и указывая неискушенному читателю на источники этих цитат, овестьвленных в городах, замках и исторических памятниках [Лотман, Успенский 1984: 572].

В записках А. А. Матвеева, рассмотренных нами в § 1.2, наблюдалось нечто сходное: заимствованные элементы — описания памятников — меняли свое назначение в новом окружении. Но там они, демонстрируя новый для России способ прославления правящего монарха, означали размежевание со старой культурой. У Карамзина описания скульптур, исторических зданий, картин и т. п. служат введением в исторические рассказы, призванные привлекать читателя занимательностью, воздействовать на их чувства. Это явление, характеризующее литературную культуру именно периода конца XVIII – начала XIX века.

того состояния России, в котором была она до времен своего преобразователя. Не менее нравится мне и краткая, сильная, многозначущая надпись: Петру Первому Екатерина Вторая. Что написано на монументе Французского Короля, я не читал» [Карамзин 1984: 198–200]. Ср. с подробным цитированием надписей на памятниках А. Матвеевым; об их функции см. § 1.2.

Это — цель высказывания, вытекающая из логики самого текста. Но если такова была цель высказывания, то его субъект должен был быть «равен» читателю, для чего в качестве повествователя и был избран «наивный путешественник».

3.2. «Наивный путешественник» как модель

В предисловии к отдельному изданию ПРП Н. М. Карамзин подчеркнул «молодость» и «неопытность» путешественника [Карамзин 1984: 393]. Названные качества не только демонстрировали ретроспективный взгляд на автобиографического повествователя или оправдывали «пестроту и неровность в слоге», но и указывали на одну из форм его саморепрезентации — литературную позу⁸⁹ «наивного путешественника», т. е. такого повествователя, который сообщает только непосредственные впечатления, то, что он «видит, слышит, думает и чувствует» [Там же]. Даже более того — то, что он видит в данную минуту, не особенно заботясь о противоречиях, возникающих при соположении двух разных «впечатлений». Эти «реальные» впечатления подаются множеством способов: в описании, портрете, диалогических сценках, самой эпистолярной ситуации и др. Функция позы «наивного путешественника» связана с особенностью, осмыслявшейся большинством исследователей ПРП, от В. В. Сиповского до А. Л. Зорина, — стремлением продемонстрировать подлинный, а не вымышленный характер повествования⁹⁰.

«Русский путешественник» Карамзина «наивен» не потому, что делает поверхностные умозаключения из увиденного или же ведет себя, подобно туристу, и начинает визит к знаменитости с декларации своей любви к достопримечательностям: «Я русский дворянин, люблю великих мужей, и желаю изъявить мое почтение Канту», — а заканчивает признанием «все просто, кроме... его метафизики» [Там же: 20–21]⁹¹. Этот срез «наивности» нас не интересует. На событийном уровне ПРП наивность проявляется в готовности строить познание мира на доверии к действительности, так происходит развитие личности. Читателю показано, как путешественник обретает

⁸⁹ Как уже указывалось выше, применительно к Карамзину понятие впервые сформулировано в цикле работ Ю. М. Лотмана о ПРП. См., прежде всего: [Лотман, Успенский 1984: 526; Лотман 1987: 17–29].

⁹⁰ См., например: [Сиповский 1899: 477; Rothe 1968: 74; Cross 1971: 69; Лотман, Успенский 1984; Vaudin 2011; Зорин 2016: 153–154]. Ср. другую точку зрения, о ведущей роли воображения в организации ПРП: [Шёнле 2004: 44–45, 54–55]. Впрочем, Ю. М. Лотман отмечал, что само по себе подобное утверждение ведет к трюизму: «Вывод о том, что “Письма русского путешественника” очень свободно отражают реальное путешествие Карамзина и являются литературным произведением, имитирующим документальность, а не подлинными документами, не представляет чего-либо новаторского» [Лотман 1981: 107].

⁹¹ О том, что кантовская философия была Карамзину не только известна, но и понятна, см.: [Rothe 1960–1962; Лотман 1987: 57–69].

жизненный опыт, основанный на конкретных впечатлениях. Хрестоматийный пример перемены впечатлений — два последовательных взгляда на Рейнский водопад, издали и вблизи [Карамзин 1984: 112–113]. Каждое из этих впечатлений сопровождается своей эмоцией: в первом случае разочарованием, во втором — восхищением. Общая же картина складывается путем монтажа изображений, взятых с разных точек⁹². Отсутствие подытоживающих комментариев позволяет читателю включиться в игру и сконструировать свое собственное восприятие.

Отметим также впечатления путешественника при въезде в Париж, привлекавшие меньше внимания как модель для восприятия с разных точек зрения (не только внешних, но и внутренних):

Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ея, Париж!... Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в ея густых тенях. Сердце мое билось. <...> Товарищ наш Француз, указывая на Париж своей тростью, говорил нам: «Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Мон-Мартр и дю-Танпль, против нас Св. Антония, а на левой стороне за Сеною предместье Ст. Марсель, Мишель и Жермень. <...> Скоро въехали мы в предместье Св. Антония; но что же увидели? Узкая, нечистая, грязные улицы, худые дома и людей в раздранных рубищах. «И это Париж?» (думал я) — «город, который издали казался столь великолепным?» <...> *Я в Париже!* Эта мысль производит в душе моей какое-то особенное, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... я в *Париже!* говорю сам себе, и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Елисейския; вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством: на дома, на кареты, на людей. Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений [Там же: 214–217].

И чуть ниже:

Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге. <...> Дорога широкая, ровная, гладка как стол, и ночью бывает освещена фонарями [Там же: 218].

Версаль находится к юго-западу от Парижа; Сент-Антуан — в его восточной части. Это топографическое объяснение разным впечатлениям, которые предстоят путешественнику при въезде в город, подается мимоходом, на разных дорогах вообще не заостряется внимание. Зато мы видим смену впечатлений: ожидание, трепет, заинтересованное рассматривание издали, разочарование увиденным вблизи и, наконец, при нахождении соизмеримого масштаба, совпадение «известного по описаниям» с увиденным «собственными глазами».

Именно это место было много раз повторено последователями Карамзина при описании приближения к какому-либо великому городу или отдаления от него; каждый из двух типов взглядов, поверхностный (издали)

⁹² Об «игре точек зрения» в ПРП см.: [Лотман, Успенский 1984: 530].

и изнутри, в зависимости от ведущей эмоции может принимать значение верификации или просто подчеркивать дистанцию:

От Бориспольскаго (последней станции к Киеву) ехал я около часа по ровному месту, между влажных болот, без удовольствия для сердца и без приятности для глаз. Я ожидал увидеть прекрасныя места вокруг Киева — и не встречал ничего, кроме степей. Летел мыслями к предмету пламенных моих желаний — и движущиеся пески, как будто бы мне в досаду, препинали путь мой. Я терял терпение.

В самое то время, когда любопытство мое обвиняло в медленности всю природу, зазеленелся густой сосновой лес, и немного повыше его, подобно блестящей точке, сверкнула одна золотая глава Печерской Лавры. Вот Киев, твердил я сам себе, вот Киев, и чувствовал радость. Мы въехали в чашу бора.

Мрачныя сосны, возносясь к облакам, опирались вековыми корнями на сыпучий белой песок; святая древность цвела на их кудрявых вершинах; молчание, мрак и ужас царствовали во внутренности бора. Я видел тут разительной образ того времени, когда Киевское Княжество стеноло под игом чуждых народов, когда гремели цепи наложенныя рукою победителя, и гибельное варварство производило явления, одне других ужаснейшия. <...> Наконец — прерывается преграда. Величественный Днепр, в синей равнине, развивается нечувствительно передо мною. Я вижу Амфитеатр гор, возвышающихся из уступов в уступы, поддерживающих, подобно величественному пиедесталу, седмглавую Печерскую Лавру, и церковь Андрея Первозваннаго, и подносящих сии храмы к самым облакам, как будто бы в дар небу от земли; — вижу красоты Природы, величество Бога и творение ума человеческого: соединение всего, что есть изящнее в пределах мира. Вижу тысячи богомольцев <...> лечу на верх — и чувствую оживление всех жизненных сил [Измайлов 1802: 1, 93–98].

В. В. Измайлов передает столь же калейдоскопично меняющийся спектр впечатлений, но меняет мотивировку, которая была у Карамзина. Историческое воспоминание, проникнутое ужасом, занимает у него место разочарования, постигшего карамзинского путешественника. Практически исчезает предметная мотивировка, наподобие выбора дороги. Путешественник Карамзина, если бы поехал через Версаль, непременно поразился бы виду и не был разочарован, верим мы. Путешественник Измайлова, кажется, был способен проникнуть в глубь веков независимо от того, каким путем добирался бы до Киева. На исторический пафос этого описания повлияло, по-видимому, знакомство с М. Ф. Берлинским (который, в свою очередь испытал воздействие топоса “ubi Gloria” через посредство польских источников [Булкина 2008: 249]). Подобные «исторические картины» — один из фирменных знаков измайловского «Путешествия...», особенно насыщены ими киевские главы: с позиции незримого свидетеля событий изображаются Измайловым крещение Киевской Руси, месть Рогнеды князю Владимиру и т. д. Но если нас интересует суть передаваемой путешественником эмоции, придется признать, что ее не объяснить наличием источников, и он

мотивирован получить желаемое впечатление собственной фантазией⁹³, а не стечением дорожных обстоятельств.

Приведем аналогичный эпизод из воспоминаний И. А. Второва⁹⁴ — его въезд в Петербург в 1802 году:

Приближаясь к Петербургу, голова моя была наполнена разными мыслями и мечтами. Итак — думал я — скоро увижу великолепный город, о котором так много слышал и мечтал. Сколько пищи будет для моего любопытства! <...> подъехал к Пулковой горе, между 15 и 16 версты от Петербурга. Спускаюсь под гору и вижу вдаль в темном воздухе громаду Петербурга, как в тумане, который скрывал все красоты сего великолепного вида. <...> Я подъехал к самой заставе и не вижу ничего великолепного, <ничего> кроме крыш и церквей. — Итак, меня обманули, думал я, прелестным видом Петербурга издали и вблизи. <...> Еду по улицам, грязь и камни, строение посредственное, я ничего не вижу еще огромного, великолепного. <...> Я видел Зимний дворец, Миллионную, Фонтанку, Мойку, Екатерининский канал с мостами, Гостиный двор, Михайловский замок и огромные строения по перспективным улицам; следовательно, видел уже великолепную наружность Петербурга [Второв 2015: 465–466]⁹⁵.

Этот автор заимствует другую сторону карамзинской модели, игру масштабами: на далеких подступах к столице путешественник наполнен ожиданиями, потому что реальных впечатлений нет. Они сменяются сначала напряжением, соответствующим смутным очертаниям города с пулковского склона, затем недоуменным разочарованием вблизи и даже ощущением обмана (ведь

⁹³ См. мнение Ан. Тургенева, высказанное им в письме к отцу от 16 мая 1802 года; сравнивая Измайлова с Карамзиным, он пишет: «В нем одно принуждение, одна натяжка; он не оттого пишет, что смотрит на прекрасный предмет, но смотрит для того, чтобы написать о нем; а ничего нет хуже. Конечно, с этою ложною силою описал он и свидание с кормилицей и торжество природы в ту минуту, как он подал копейку нищему у заставы. Но посмотрите же, извольте прочесть в Карамзине многие места, которые, хотя не имеют этой мнимой силы, но трогают гораздо, гораздо более» [Архив Тургеневых: 2, 92 (1-я паг.)].

⁹⁴ И. А. Второв, отец другого писателя, Н. И. Второва, жил в разные периоды биографии в Самаре, Симбирске, Казани, был и прозаиком, и поэтом, но известен прежде всего как мемуарист (впрочем, его воспоминания полностью до сих пор не опубликованы, как и обширный дневник). В начале 1801 года, уже имея к тому времени несколько публикаций в журналах, он приехал в Москву, где завел литературные знакомства, в частности, с Тургеневыми, Карамзиным, Измайловым. Прожив там около года, на несколько месяцев отправился в Петербург. Путешествие, включая цитируемый фрагмент, первоначально было описано в его дневнике (1802), а затем воспроизведено в мемуарном сочинении 1818 года. О Второве см. [Вацуро 1988; Зорин 1989].

⁹⁵ В пересказе этого фрагмента, включенном М. Ф. Де-Пуле в его «хронику» «Отец и сын» о И. А. и Н. И. Второвых, карамзинская параллель почти пропадает, см. [Де-Пуле 1875: № 5, 159].

впечатление было же обещано чьими-то рассказами) — и почти по-карамзински описание завершается правильным знакомством с городом, дающим ожидаемые впечатления от многолюдства и великолепия архитектуры⁹⁶.

Обратимся еще раз к предисловию к ПРП:

Пестрота, неровность в слогe есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он ска- зывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, — и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом [Карамзин 1984: 393].

Это, конечно, эпатаж сентименталиста, не желающего обрабатывать свои впечатления в текст, построенный по риторическим правилам: только то, что «исторглось из души», может представлять ценность как свидетельство личности человека. Далее в предисловии возникает принципиально важный образ:

Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окружен- ного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах [Там же].

Как мы видим, декларируемая непосредственность очень легко вливается в подбираемую с «разборчивостью» модель, преобразаясь в конце концов в застывшие формы, подтверждая выдвинутую еще формалистами концеп- цию развития и упадка литературы путешествий.

Итак, мы рассматриваем *конструирование* непосредственного контакта с действительностью в ПРП. Но нас интересует не любая рефлексия над возможностями, которые оно дает. В соответствии с нашей темой выделим несколько примеров того, как «наивность» путешественника определяет взгляд на какое-либо явление европейской жизни или даже на первое впе- чатление от страны.

Так, пересекая пролив Па-де-Кале, путешественник сталкивается с непри- ятностями морского путешествия: бурный ветер и качка вызвали морскую болезнь у пассажиров пакетбота, а столкнувшись с ее последствиями — «мно- гими неприятными явлениями», он сам «едва было не упал в обморок» [Там же: 326]. Завершается описание переезда из Франции в Англию (п. 132)

⁹⁶ Приведем, наконец, для краткого сопоставления фрагмент из «Писем из Лондона» П. И. Макарова: «Колумбовы спутники, увидя Америку, кричали: *берег! берег!* а я, приближаясь к Лондону, твердил тихонько: *Лондон! Лондон!* <...> Лондон, лежа- щий на плоском месте — покрытый вечным туманом — не радует издали взоров путешественника. — Я проехал несколько улиц и не видал ни одного великолепного здания. — Сердце мое упало. Вообразите несчастного, который вместе с пробужде- нием теряет одним разом все милье мечты свои: я похож был на сего несчаст- ного» [Макаров 1990: 500]. Чувства путешественника становятся умеренными лишь на следующий день после въезда, когда он начинает прогулки по улицам, вооружив- шись *планом города* [Там же: 501], т. е. найдя масштаб для восприятия.

и вовсе напоминанием о «шумящей бездне» [Карамзин 1984: 327]. После такого плавания первая фраза п. 133 из Дувра «Берег! берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром...» [Там же] — прозаическая, метафизическая и эмоциональная мотивировки восторга от вида английского берега сливаются здесь воедино.

Сюда же можно добавить известную «физическую причину» сплина англичан — их предпочтение говядины зелени: суждение высказывается сразу же после того, как путешественнику подают на обед «вялую траву, облитую уксусом» вместо салата [Там же: 329]⁹⁷; рассуждение о счастье в естественном состоянии человека, вытекающее непосредственно из реакции на услужливость швейцарского пастуха, подавшего путешественнику воду со словами «пей, добрый человек, пей нашу воду!» [Там же: 137]; этот эпизод непосредственно примыкает к описанию Рейхенбахского водопада и заканчивается сентенцией «не должно ли мне благодарить Судьбу за все великое и прекрасное, виденное глазами моими в Швейцарии?» [Там же].

Напомним и соседа Андрея, который сказал «*перед целым светом*, что он *плюет на нацию*» [Там же: 194].

В эпизоде с объятиями с шведским ученым Сильверхельмом в Королевском обществе «мистическая» трактовка подвергается напротив иронии:

Нынешний же день был я в Королевском Обществе. Г. Пар**, Член его, ввел меня в это славное ученое собрание. С нами пришел еще молодой Шведской Барон Сил*, человек умный и приятный. Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: «здесь мы друзья, государь мой*»; храм Наук есть храм мира.» Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а Г. Пар* закричал: «браво! браво!» Между тем Англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!... Профаны! вы не разумели нашей Мистики; вы не знали, что мы подали хороший пример воюющим державам, и что по тайной симпатии действий оне скоро ему последуют! [Там же: 345].

Последнее — намек на Версальский мирный договор от 3 августа 1790 года.

Практически всё названное нами сейчас — это хрестоматийные эпизоды, мы, не претендуя на новую их трактовку, их концентрируем, чтобы показать, что ПРП буквально пронизаны «наивными» высказываниями.

3.3. Модель «наивного путешественника» у Достоевского

Модель «наивного путешественника» воспроизводится и в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (далее — 33) Ф. М. Достоевского⁹⁸, несмотря на то

⁹⁷ Эпизод живо напоминает заключение Фонвизина в ПФ о грязных скатертях.

⁹⁸ Взаимодействие двух текстов рассматривается в нескольких работах. Так, Э. М. Жиликова перечисляет немало тем и проблем, развивавшихся Карамзиным и обративших на себя внимание Достоевского, с ее точки зрения, именно под воздействием ПРП [Жиликова 1983: 73–74]. И. Померанцев рассматривает 33 в более широком

что он заявляет другой, не связанный с моделированием непосредственного восприятия, тип повествования, дважды демонстративно отказываясь от личных впечатлений (в начале каждой из журнальных порций произведения, опубликованного по частям⁹⁹). Однако «впечатления», вынесенные в заголовок, наличествуют и в тексте, несмотря на декларируемое предположение, и подаются они с оглядкой на тип «наивного путешественника».

В первом же предложении ЗЗ появляются адресаты высказывания («друзья мои»), которые якобы просят «описать поскорее» «заграничные впечатления», чем ставят путешественника «просто в тупик» [Достоевский 2016: 50]. Объяснив, что он не может сообщить ничего нового, так как русским, «читающим хоть журналы», «Европа <...> известна вдвое лучше, чем Россия» [Там же], он переходит к попыткам передать «впечатления» — и наталкивается на непреодолимое, казалось бы, препятствие. Все три описания немецких городов — Берлина, Дрездена и Кельна¹⁰⁰ — получают у него «несправедливыми» [Там же: 52], заставляя испытывать чувство вины перед улицами Берлина, дрезденскими женщинами и Кельнским собором («виноват», «провинился», «было хотел “на коленях просить у него прощения”» соответственно). Искажение, по мнению Достоевского, происходит вследствие субъективности восприятия:

А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург¹⁰¹. <...> Через два часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный... <...> Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. <...> Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится [Там же: 51–52].

контексте, включая Д. И. Фонвизина, но уделяет внимание и влиянию ПРП [Померанцев 2000: 93–109]. К статье И. Клиспис и диссертации Ч. Арндта мы обратимся по мере изложения материала. Типологическое сопоставление ЗЗ с ПРП (например, как двух травелогов, «стоящих по разные стороны от романтизма» [Kleespies 2006: 231]), на наш взгляд, не приносит желаемых результатов.

⁹⁹ В февральском и мартовском выпусках журнала «Время» 1863 года [Достоевский 2016: 50, 77].

¹⁰⁰ И в самом путешествии Достоевского, и в описании маршрута в ЗЗ были и другие немецкие города и минимум один австрийский («Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, <...> в Вене, да еще в иных местах по два раза, и всё это, всё это я объехал ровно в два с половиною месяца!» [Достоевский 2016: 50]), но о своих впечатлениях от них повествователь умалчивает; субъективность бросается в глаза уже на уровне отбора материала.

¹⁰¹ См. параллель между прибытием в Берлин путешественников Карамзина и Достоевского [Arndt 2004: 86–87].

При этом осмысление проблемы произвольности впечатления опирается на эпизод с Рейнским водопадом из ПРП:

В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидел собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом [Достоевский 2016: 52].

Эпизод из Карамзина — часть автометаописания: Карамзин знает о зависимости впечатления от точки зрения и обстоятельств; путешественник Достоевского также постулирует это знание (со ссылкой на ПРП), однако настаивает на определенном впечатлении («...тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился...» [Там же]). Противопоставляя свою стратегию карамзинской, он не столько утверждает принцип авторского произвола или иррациональность сознания современного ему человека¹⁰², сколько дает субъективно окрашенную и вполне конкретную идеологическую оценку.

Нарушая хронологию (т. е. ставя вперед описание обратного проезда), Достоевский добивается того, что первоначальное впечатление вытесняет последующее, которое к тому же окрашено иронией («было хотел»). Обстоятельства, повлиявшие на «первое решение», сводятся к порокам европейской цивилизации: Кельн «слишком гордится» своим новым мостом (об отсылке к Карамзину — [Arndt 2004: 71]). Гордость и гордыня — это, по Достоевскому, страшный грех Европы, описание разнообразных форм которого в ЗЗ достигает апогея в образах Ваала, Вавилона и Хрустального дворца — явлениях, «завершающих» земную историю, вдохновленную «гордым духом» европейской цивилизации. Такой Европе противопоставлена конструируемая в ЗЗ христиански ориентированная Россия.

ЗЗ начинаются с обзорного взгляда:

...я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и всё это, всё это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? <...> Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал я, — зато я всё видел, везде побывал; зато из всего виденного составитя что-нибудь целое, какая-нибудь *общая панорама*. Вся «страна святых чудес» представится мне разом, *с птичьего полета*, как земля обетованная *с горы в перспективе*. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление [Достоевский 2016: 51].

¹⁰² Эту трактовку см.: [Arndt 2004: 86–91]. Заметим, в целом Арндт опирается на концепцию Г. Блума о «сильном» читателе, подвергающем предшественника радикальной трансформации, и подразумевает под таковым Достоевского. Мы же рассматриваем сохранение модели, «сильного» претекста.

Вид на Европу с высоты птичьего полета можно было бы счесть фантазией на тему воздушного средства передвижения (а воздушный шар уже был изобретен к тому времени), но, во-первых, на воздушном шаре не подняться так высоко, чтобы оглядеть всю Европу, а во-вторых, был объект несравненно более земной, позволявший это сделать. Речь, конечно, о карте, Достоевскому, как выпускнику Главного инженерного училища, хорошо знакомой. Карты широко применялись в обучении, причем в XIX веке были в моде не только плоские карты, но и рельефные (о влиянии рельефных карт на литературу, в частности, на произведения Гоголя, см. [Видугирите 2019: 97–102, 129–132 et passim]).

Почти тут же возникший в тексте Достоевского Кельнский собор — еще один объект, связанный с его профессиональной подготовкой в молодые годы. О нем повествователь 33 говорит, что «с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре». Однако какими были эти чертежи и чем они отличались от реальности, он не сообщает.



Рассмотрим два изображения из альбома, изданного С. Буассере, одним из основателей Центрального общества строительства кафедрального собора в Кельне (1842). Слева на иллюстрации показано, как собор выглядел на плане 1821 года, когда после нескольких веков простоя кельнцы взялись завершать строительство [Boisserée 1821: IV]. Вероятно, нечто подобное «чертил» и юный Достоевский¹⁰³. Во время его приезда в Кельн собор стоял

¹⁰³ Нам остается неизвестным, по каким именно образцам Достоевский изучал архитектурные стили в Главном инженерном училище, но мы точно знаем, что в обучение архитектуре (начинавшееся на 3–4 курсе) входило тушевание кистью по оригиналам. В 1838 году начальство учреждения пыталось заказать во Франции набор рисунков и оригиналов, включавший геометрические фигуры, архитектурные элементы и изображения разных стилей, в том числе готических соборов, правда, это были соборы в Бурже и Сиене. Рисунки должны были включать в себя план здания, фасад и два разреза [РГВИА. Ф. 312. Оп. 1. № 1314. Л. 9 об.]. О программах в училище см. [Якубович 1983].

в строительных лесах (он простоит в них до 1880-го), и именно это обстоятельство составляло зазор между реальным объектом и его идеальным образом (изображение справа, взятое из того же источника [Boisserée 1821: II], не вполне соответствует увиденному Достоевским, однако к 1862 году, несмотря на все усилия Общества, возведение собора оставалось примерно на том же этапе).

Итак, все попытки дать непосредственное впечатление, сконцентрированные на первых страницах ЗЗ, выглядят неудачными только если иметь в виду стремление к «объективной» картине, которая якобы должна быть составлена из них. На деле происходит выбор в пользу впечатления, основанного на предубеждении путешественника против Европы¹⁰⁴. Поэтому, нехотя уступая просьбам друзей, повествователь на самом деле делает то, что хочет. Заключительный фрагмент первой главы содержит непосредственные переключки с начальными пассажами предисловия к отдельному изданию ПРП¹⁰⁵ — в одном из самых узнаваемых фрагментов ПРП (соответствия выделены курсивом):

Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно *точных сведений*, что за нужду вы *найдете их в гиде Рейхарда* <...> было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью <...>, сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного *своего впечатления* или *приключения* <...> и не *справлялся бы с известными авторитетами* <...>

¹⁰⁴ Ср.: “Dostoevskij was deeply disillusioned with European ideas before he set on his journey; in a state of profound prejudice, he used his journey to confirm what he already “knew”” [Björling 1997: 88]. Благодарю Н. Г. Михновец за любезно предоставленную возможность ознакомиться как с текстом этого исследования, так и с ценной диссертацией Ч. Арндта.

¹⁰⁵ Достоевский несомненно читал именно вторую, полную редакцию ПРП, неоднократно переиздававшуюся в XIX веке, а не первую публикацию в «Московском журнале». Объясняя свои чувства в ожидании путешествия, повествователь ЗЗ говорит: «За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда <...> слушал разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Ратклиф...» [Достоевский 2016: 50]. Упоминание английской писательницы, читавшейся в детстве, может быть скрытой отсылкой к Карамзину, у которого говорится: «...я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром...» [Карамзин 1984: 327] (эта фраза также вошла лишь в полную редакцию ПРП). Хотя среди сентименталистов главным почитателем Радклиф был не Карамзин, а Шаликов, но именно Карамзин своими повестями «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена» «дал, быть может, самый сильный импульс к зарождению в России “готической волны”» [Вацуро 2002: 105]. Если отсылка действительно подразумевалась, то смысл ее должен быть такой: мы в России построили модель Европы как «страны святых чудес» с помощью Карамзина, и нам предстоит жестоко разочароваться. Эмоция отрезвления есть и в тексте ПРП: «Было время, когда я, почти не видав Англичан, восхищался ими, и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею. <...> Романы, естли не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу Англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их — но похвала моя так холодна, как они сами. <...> я не хотел бы провести жизнь мою в Англии...» [Карамзин 1984: 380].

вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения¹⁰⁶. А! восклицаю я, так вам надобно *простой болтовни*, легких очерков, *личных впечатлений*, *схватченных на лету*. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками [Достоевский 2016: 53–54].

Ср. у Карамзина:

он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал <...>. Много неважного, мелочи — соглашаюсь <...> для чего же и Путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей?

А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих Писем, советую читать Бишингову Географию <...>

Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами, не обязан говорить с осторожною разборчивостию какого нибудь Придворного <...> или Профессора, сидящего в Шпанском парике на больших, ученых креслах <...> [Карамзин 1984: 393].

Отказ от передачи «точных сведений», противопоставление авторитетам, извинения за неопытность и плохой слог, ведение записей во время путешествия — все это подается в тексте Достоевского как уступка пожеланиям друзей («вам надобно простой болтовни»; «простодушным быть *постараюсь*»; курсив мой. — А. С.), в то время как у Карамзина это — выражение собственного вкуса «русского путешественника». Здесь Достоевский демонстрирует, с одной стороны, знакомство с традицией и якобы готовность ей следовать, а с другой — рефлексию над типом «наивного путешественника». Итак, текст 33 сигнализирует о том, что он связан с ПРП.

ПРП, особенно первая часть — письма, опубликованные в «Московском журнале», — легко прочитать как набор зафиксированных для адресатов отдельных впечатлений. Сценками и эпизодами¹⁰⁷ насыщен текст даже более поздних писем, содержащих во многом обобщенные описания и рассуждения, повествователь остается в них действующим лицом. Так, с оратории Генделя в Вестминстерском аббатстве, а не с посещения достопримечательностей начинается его знакомство с английской столицей («Я не видал еще никого в Лондоне; не успел взять денег у Банкира <...> отдав за вход последнюю гинею свою» [Там же: 334]).

¹⁰⁶ Просьба «друзей» рассказать о впечатлениях от путешествия — скорее, отсылка к «общим местам» предисловий к «сентиментальным путешествиям». В ПРП нет подобной мотивировки публикации; она появилась в более поздних произведениях, написанных под влиянием Карамзина, и в пародиях на них.

¹⁰⁷ По мнению многих исследователей, ПРП даже распались бы на эпизоды, если бы не организующее начало — фигура «русского путешественника»; см.: [Роботи 1926: 44, 51–52; Шёнле 2004: 64]. Ср. приведенный выше сравнительный отзыв Ан. Тургенева о путешествиях Карамзина и Измайлова, из которого видно, что для него интерес чтения ПРП заключался в описанных ярких эпизодах.

В 33 насчитывается всего 15 случаев использования «наивной» модели. Перечислим их. Повествователь Достоевского описывает свои впечатления от улиц Берлина, от дрезденских женщин, от Кельнского собора (глава I), описывает попутчиков по вагону (глава II), французских шпионов и допрос в гостинице (глава IV), в Лондоне: блуждания в толпе пьяных пролетариев, девушку из “Casino”, женщину с католической листовкой (глава V), в Париже: чтение газетной статьи о Наполеоне III, беседу за табльдотом о Дж. Гарибальди, разговор со светским старичком, речь адвоката Ж. Фавра, прогулку по Пантеону (глава VII). В трех главах из восьми эпизодов, описывающих конкретные личные впечатления, нет. Не ставя себе целью рассмотреть каждый из перечисленных эпизодов, выявим в тех из них, к которым обратимся, особенности связи их с ПРП.

В начале четвертой главы 33 описывается пересечение французской границы. Разговор в поезде по дороге во Францию с соседом — швейцарцем, «чрезвычайно приятным собеседником» [Достоевский 2016: 72], внезапно прерывается при появлении новых соседей: «...к удивлению моему, мой швейцарец, при новых четырех спутниках наших, вдруг сделался чрезвычайно несловоохотлив». Незнакомцы оказываются полицейскими в гражданской одежде, которые изучают приметы въезжающих во Францию путешественников. Об этом сообщает швейцарец, вызывая изумление: «— Как? какие полицейские? — спросил я с удивлением. <...> — И... неужель шпионы? (я всё еще не хотел верить)» [Там же: 74]. Сразу же после этого сообщается еще об одной встрече с неформальным полицейским допросом: хозяева гостиницы в Париже, на этот раз открыто, записывают приметы путешественника, что опять вызывает его недоумение. Путешественник не может внятно ответить на предложенные вопросы, сбитый с толку тоном хозяев:

И это были пречестные, прелюбезные супруги, насколько, по крайней мере, я их узнал потом. Но слово «необходимо» произносилось вовсе не в какомнибудь извинительном или уменьшительном тоне, а именно в смысле полнейшей необходимости и чуть ли не совпадающей с собственными личными их убеждениями. *Итак, я в Париже...* [Там же: 76; курсив мой. — А. С.].

В самой по себе дотошной проверке властями въезжающих иностранцев для путешественника из России не могло быть ничего необычного, досмотры существовали и в России. Общее в этих двух сценках — удивление тем обстоятельством, что французы считают происходящее обыденностью и должным¹⁰⁸ — а также стремительный переход от наблюдения к выводу

¹⁰⁸ Ср. впечатления А. де Кюстина от петербургской таможни. Он сообщает, что русские попутчики предупреждали его о сложностях при прохождении таможенных формальностей, несколько не удивлялись долгой и полной чиновничьего произвола процедуре, но не желали высказываться об этом публично: «Россия — страна бесполезных формальностей — шептали они <русские. — А. С.> друг другу, однако шептали по-французски, опасаясь, как бы их не поняли низшие чины. Я запомнил эту мысль...» [Кюстин 2008: 103].

о национальном характере. Здесь мы имеем дело не с обобщенным впечатлением (эффект обобщения достигается монтажом двух названных сцен), а снова с предубеждением, с национальным стереотипом, который подсказывает повествователю как отбор материала¹⁰⁹, так и субъективную оценку описываемого.

Подчеркнем, что и в этом случае Достоевский трансформирует карамзинскую модель. «Шпионская» тема возникает в ПРП при въезде в Берлин:

Надобно сказать нечто о прусских допросах. Во всяком городке и местечке останавливают проезжих при въезде и выезде и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, то есть при въезде одним, а при выезде другим, из чего выходят чудные донесения начальникам. <...> Судите о любопытстве здешнего правительства! <...> Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне г. Блум с бумажкою в руках. «Вам надобно на это отвечать», — сказал он. Я увидел на бумаге те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: «В какие ворота вы въехали?» Они напечатаны, и мне надлежало под каждым писать ответ. «Боже мой! Какая осторожность! Разве Берлин в осаде?» — Господин Блум объявил мне с важным видом, что завтра берлинская публика узнает через газеты о моем приезде! [Карамзин 1984: 31–35].

Карамзин, посмеиваясь сам, отмечает и шутовское отношение к допросам немцев. Ирония в его рассказе, однако, не доминирует. Забавные шутки его попутчиков — немецких офицеров, которые «сказываются смешными и разными именами» при пересечении границ между землями, соседствуют с описанием их издевательств над двумя попутчиками — французом и студентом, и это уже не встречает одобрения у путешественника. Француз, впрочем, оказывается незлопамятным: он «тотчас забыл все и стал весел», а сами офицеры попросили путешественника зафиксировать их шутки в «журнале» путешествия [Там же: 28, 31]. Ирония, сочувствие, бесстрастная регистрация — к описанию каждого нового впечатления автор привлекает новую эмоцию, в то время как Достоевским эта возможность игнорируется, и каждое следующее впечатление поддерживает одну и ту же точку зрения¹¹⁰.

Наконец, третья пара эпизодов, на которой нам хотелось бы коротко остановить внимание, — визит в русскую церковь в Потсдаме и разговор с русским инвалидом в ПРП и экскурсия по парижскому Пантеону со стариком-гидом в 33. В обоих случаях путешественники встречают «ложных проводников», которые стремятся познакомить их с вверенным им объектом, но коммуникация оказывается затрудненной. Путешественник и его спутник в ПРП сначала в буквальном смысле слова не могут найти общего языка с проводником, а повествователь Достоевского, раздраженный словами гида,

¹⁰⁹ Заметим, что разговор со швейцарцем не пересказывается.

¹¹⁰ По мнению И. Клиспис, в «акте пересечения» границы у Карамзина и Достоевского проявляется различие их идентификации: Карамзин — русский, выглядящий европейцем, Достоевский — «недостаточно русский» [Kleespies 2006: 232–233].

пытается его перебить (ср.: [Карамзин 1984: 41–42] и [Достоевский 2016: 100–102])¹¹¹. Если у Карамзина эпизод разрешается в интонации примирения, то Достоевский заученные речи старика рассматривает как образец выхолощенного красноречия (а красноречие — как свидетельство ложности европейского порядка).

Г. Панофски восстанавливает фактическую основу эпизода в Потсдаме, полемизируя с суждениями И. Клейна¹¹² и М. Вахтеля¹¹³ о фикциональной природе эпизода. На наш взгляд, почвы для полемики нет. Документальная точность, отличающая Карамзина, нисколько не противоречит установке на *создание эффекта* непосредственного впечатления — того, в чем современный искушенный читатель Карамзина опознает «вымысел».

В ПРП и ЗЗ есть и другие параллельные сцены, например, в лондонских «впечатлениях»: то, что привлекает в Лондоне интерес Достоевского, было в центре внимания и в ПРП Карамзина. Так, «русский путешественник» сразу после посещения концерта в Вестминстерском аббатстве делится впечатлениями от многолюдного города, а затем от тюрьмы — это одно из его первых впечатлений. Смотреть тюрьму¹¹⁴ спешит и повествователь ЗЗ, «забывая» о соборе Святого Павла. Из лондонцев больше всего занимают обоих путешественников женщины, раздающие «листочки» — афиши к спектаклю у Карамзина и религиозные прокламации у Достоевского¹¹⁵.

Если бы пересечения текстов ограничивались только набором мотивов, приходилось бы говорить об ориентации текста ЗЗ не именно на ПРП, а на традицию в целом, так как в большинстве травелогов конца XVIII – начала XIX века они встречаются в той или иной конфигурации. Однако эпизодов, сближающих ЗЗ с ПРП, можно найти множество, и хотя ни в одном из них, кроме маркированного именем Карамзина эпизода с собором и водопадом, не будет неоспоримой текстуальной связи, в каждом обнаруживается модель, по которой ЗЗ как бы наслаиваются на ПРП.

Поскольку связь ЗЗ и ПРП строится не только и не столько на цитатах, то и апелляцию к традиции, в которую помещает Карамзина Достоевский (и

¹¹¹ Согласно реконструкции Г. Панофски, в ПРП причиной языкового барьера было польское происхождение «русского ветерана». См.: [Панофски 2011: 277, 280].

¹¹² Ср.: «...вопрос здесь не о реалиях его путешествия, а о сильном элементе самостилизации»; цит. по: [Панофски 2011: 255].

¹¹³ Эпизод «хорошо встраивается в творимый образ самого Карамзина» (цит. по [Панофски 2011: 263]).

¹¹⁴ Правда, это будет не описанные в ПРП Ньюгейт и Кинг-Бенч (а также Бедлам), а не существовавшее при Карамзине заведение Пентонвиль, созданное по американской системе, освещенной Ч. Диккенсом в его «Американских заметках» (1843).

¹¹⁵ Как считает О. Н. Кулишкина, описания Лондона в ЗЗ резко выделяются, потому что в них «имеет место акцентирование роли *взгляда* в ущерб *слову*» [Кулишкина 2010: 237]. Однако, как мы видим, соотношение «взгляда» и «слова» одинаково во всех «впечатлениях» Достоевского.

выбирает ее небезупречно с точки зрения жанра собственного произведения¹¹⁶), можно определить точнее, чем отношения наследования или наоборот полемики. Характер диалога двух произведений ярко проявляется в проанализированном нами элементе — литературной позе (модели) передачи непосредственных впечатлений. Ту же самую позу, что и Карамзин, Достоевский использует в другой функции. По мнению Ч. Арндта и других исследователей, Карамзин — синоним «русского европейца», с которым Достоевский спорит (о «русском европейце» см. ниже главу 5).

Напомним: путешественника, который «пишет о том, что он видит», Достоевский называет «простодушным»¹¹⁷. Полагаем, что это синоним «непосредственности», «наивности». Однако настоящий простодушный — или желающий быть принятым за такового — не назовет себя так¹¹⁸.

Стремясь показать себя «простодушным», путешественник не сможет составить объективной картины, потому что за любым «простодушием» скрываются «обстоятельства», влияющие на впечатление. Ими могут быть как непогода и болезнь, так и вера в то, что Европа — образец для России. Это, по Достоевскому, ошибочная, чуждая «почве» точка зрения. Приняв же «почвенную», естественную точку в качестве опоры неизбежного субъективизма, — и только в этом случае — путешественник получает возможность разглядеть чуждое русскому национальному духу начало. Это, по сути, и происходит во всех без исключения эпизодах «наивного» восприятия реальности в ЗЗ, подпитываемого *сознательно выбранным* субъективизмом.

В восприятии Кельнского собора проступает гордыня (и непроговоренная, но подразумеваемая параллель недостроенного за века здания с вавилонской башней), попутчик-англичанин в поезде предстает механической

¹¹⁶ Попытки вписать ЗЗ в какую-либо жанровую традицию в целом не приводят к значимым результатам. Один из первых исследователей ЗЗ Л. П. Гроссман называл их «сатирическими очерками “Времени”» [Гроссман 1915: 61], указывая тем самым на неразрывную связь с журнальным контекстом. В дальнейшем к ним применялись такие определения как путевые очерки, памфлет, физиологический очерк. Известно также несколько компромиссных решений. Так, О. М. Матвеева, последовательно отвергая разные варианты, останавливается на не слишком внятной и явно перегруженной формулировке: «философско-публицистический художественно-документальный очерк с ярко выраженным диалогическим началом» [Матвеева 1994: 94]; В. Н. Захаров говорит о взаимодействии «поэмы» и «фельетона» [Захаров 1985: 189]. Нашим задачам больше всего отвечает позиция А. Векшиной, которая рассматривает ЗЗ как «риторическое путешествие» [Векшина 2010: 83–91], что согласуется с подзаголовком «фельетон».

¹¹⁷ Выскажем попутно версию о связи этого эпитета с названием повести Вольтера: как и герой «Простодушного», дикий американец-гурон, русский «варвар» XIX в. оказывается в «цивилизованной» Европе наблюдателем, разоблачающим ее мораль и общественное устройство. С поэмой Вольтера «Русский в Париже» Достоевский вряд ли был знаком, но отметим непредвиденное совпадение с данной в ней моделью.

¹¹⁸ Отметим еще одну странную переключку: Герцен после знакомства с Достоевским назовет его в письме к Огареву именно «наивным», вероятно, имея в виду, что он «верит с энтузиазмом в русский народ» [Герцен. ПСС: 27–1, 247].

куклой, всю жизнь поступающей по раз заведенному порядку (см.: [Достоевский 2016: 59]), в фигурах шпионов и хозяев гостиницы показано притворство и мелочность западного человека. Парижские впечатления демонстрируют подобострастие перед властью («французик, писавший “correspondance”» [Там же: 94] в газету о Наполеоне III), деньгами (другой француз, сопоставивший Гарибальди с «хаптурками из казенного мешка» [Там же: 95]), выпрненное пустословие (сцены в суде [Там же: 99–100] и Пантеоне) и самоослепленность французов (светский старик, страдавший от недостаточного выражения восторга перед Парижем [Там же: 96]). Лондонские впечатления служат поводом к разговору о грехопадении Запада¹¹⁹.

Отметим еще один контекст понятия «наивность», присутствующий в ЗЗ. Этим качеством наделяются «заграничные люди», которые «почти все несравненно наивнее русских» [Там же: 105]. Здесь идет речь о способности закрывать глаза на очевидные пороки ради сохранения внешних приличий (в семейных отношениях) и внешнего спокойствия (в общественной жизни). Наивность — это путь самообмана, самообольщения. Наивность «классических» русских путешественников мешает им, с точки зрения Достоевского, разглядеть, что жизнь Европы строится на чуждых им основаниях, что Европа как «страна святых чудес» [Там же: 51, 54] — созданный самими русскими миф. Потому его «литературная поза» амбивалентна: упреки адресуются не только и не столько Европе, сколько России, тем русским, кто продолжает, сидя дома, верить в «страну святых чудес». Разумеется, у Достоевского всё полемически заострено, и нельзя сводить те или иные считываемые в ЗЗ оценки к его реальной позиции¹²⁰.

Достоевский заимствует карамзинский прием, но его игра с субъективностью имеет конкретную цель, отличную от карамзинской¹²¹. Право на субъективное мнение передается не повествователю, а народу — речь о «точке народного духа», способностью встать на которую он восхищается в Пушкине [Там же: 58]. Трудное, а иногда мучительное переживание перехода к «точке народного духа» составляет основную тему и содержание ЗЗ (см. об этом далее главу 5). В этом смысле — как некая исходная позиция — ему и нужен Карамзин.

Наивность как свойство восприятия присуще любому тревелогю, но по-разному преодолевается. Если она манифестируется, как у Карамзина и Достоевского, то мы имеем дело с установкой на достоверность. При этом

¹¹⁹ В дальнейшем почти все перечисленные темы отразятся в «Дневнике писателя» с критикой их как явлений, появляющихся в русской жизни.

¹²⁰ Ср., например, высказывания о Карамзине Ап. Григорьева, разделявшего с Достоевским воззрения на «почву» и — в период написания ЗЗ — бывшего одним из ближайших сотрудников Достоевского в редакции «Времени»: «Карамзин был первый европеец между русскими и вместе с тем первый истинно русский писатель»; «Карамзин как великий писатель был вполне русский человек, человек своей почвы, своей страны» [Григорьев 1980: 186, 187].

¹²¹ Ср. вывод И. Клиспис о не определившемся, запутавшемся в своей идентичности повествователе ЗЗ [Kleespies 2006: 249].

отход от (условной) реальности в сторону схем у них может быть не меньшим, чем в подлинно наивных текстах, лишенных авторефлексии. В обоих случаях за моделями поведения/повествования стоит потенциал не только «узнавания Европы», но и оценки, в ПРП — неявной, в ЗЗ — открытой, при этом с ориентацией на использование потенциала ПРП. Вскрывая то, что у Карамзина было скрыто от читателя: наличие знания, предшествующего наблюдению, — Достоевский вряд ли считал наивным самого Карамзина. Использование им литературной позы карамзинского происхождения показывает, что последний для него, как и вообще русские XVIII века — «себе на уме»: «Мне даже сдается, что все эти деды были вовсе не так и наивны» [Достоевский 2016: 64]. Но Карамзин — «русский европеец», с которым Достоевский спорит.

Что же Достоевский предпочел оставить за кадром? Карамзин балансирует между передачей непосредственного впечатления и демонстрацией подготовленности на разных уровнях «посвященности»¹²². Анализ использования модели «наивного путешественника» вновь показывает важность для Карамзина темы познания и познаваемости¹²³. Карамзин вовсе не стремится к «объективной» картине. Его волнует, во-первых, многослойность, разнородность реальности, несводимость ее к какой-либо одной трактовке, а во-вторых, способность отдельной личности, души уловить это свойство реальности и воспроизвести ее, сделать внятным другим¹²⁴.

Важно, что у Карамзина результат наблюдений «наивного путешественника» совпадает с обобщенным итогом путешествия: утверждение Европы как целого в его многообразии и в том числе России как ее равноправной части. В то же время «реальная» Европа ПРП не является «страной святых чудес». Европейские впечатления в них нередко опровергают, а не подтверждают надежды путешественника. Так, берлинские философы при личном знакомстве разочаровывают его как раз несоответствием увиденных воочию их склок декларируемому поиску объективной истины. Не вызывают сочувствия Карамзина ни беспорядки в революционной Франции, изображаемые в форме карнавальных адских сил, ни положение бедняков в европейских странах¹²⁵, ни замкнутый и холодный характер англичан, приводящий, по замечанию Карамзина, в конечном счете к значительному числу

¹²² См. об этом выше, § 3.1, и особенно: [Зорин 2016: 151–152].

¹²³ На ключевой характер этой категории для понимания творчества Карамзина впервые указал еще Б. М. Эйхенбаум в статье 1916 года, до сих пор остающейся актуальной и редко оцененной по достоинству [Эйхенбаум 1969: 203–213].

¹²⁴ По словам Эйхенбаума, для Карамзина «нет и не может быть познания души вне мира предметов и явлений и <...> самый этот мир познается только как зеркало души» [Эйхенбаум 1969: 205]. Ср. точку зрения К. Штедтке, разделяющего интерес многих исследователей к гносеологическому основанию ПРП и считающего, однако, что «проблема субъективности» ускользает от Карамзина, по крайней мере, в разговоре с Кантом она «очевидно не известна» [Штедтке 2001: 143–151].

¹²⁵ Устойчивый мотив в русских путешествиях — сопоставление положения русских крестьян и простых людей Европы, прежде всего Франции.

самоубийств. Не без иронии он описывает свои беседы в высшем обществе, равно как и в дорожных трактирах. Независимая позиция стороннего наблюдателя — не единственное, что позволяет «русскому путешественнику» замечать те стороны европейской жизни, подражать которым не следует. Его обширные познания не в меньшей степени позволяют ему держать дистанцию. В ПРП подспудные сомнения в достоинствах европейской цивилизации просвечивают сквозь привлекательный в целом ее облик. Открывая своим читателям Европу, Карамзин показывает и достоинства, и недостатки европейского пути.

«Наивность» путешественника Карамзина условна не меньше, чем у Достоевского. Когда у объекта есть устоявшаяся репутация в культуре (совокупность оценок многих, разных наблюдателей), Карамзин предпочитает солидаризироваться с нею (так с Рейнским водопадом, въездом в Париж)¹²⁶. Если таковой нет — он оставляет вопрос открытым. Это принципиально важно для восприятия ПРП. Нетрудно заметить, что поскольку репутация берется Карамзиным в общеевропейском культурном фонде, то «русский путешественник» становится транслятором «европейского» взгляда (по крайней мере, это одна из его установок).

Достоевский же всегда выбирает ту точку зрения, которая следует из его предубеждения, в правильности которого — основанного на «почве» — он уверен. Для Достоевского, противопоставлявшего «европейскому гордому духу» «русскую почву», «европеец» Карамзина — это естественный противник, обыгранный на его собственном поле, в имитации непосредственного восприятия. Однако Карамзин ускользает от критики в силу нелинейности примененной им стратегии, и это остается верным, с каких бы идеологических позиций ни подходить к ПРП. Художественная реализация гносеологической проблематики, предложенная Карамзиным, оказывается, как нам представляется, одним из самых плодотворных уроков, усвоенных у него Достоевским¹²⁷, хотя результаты этого урока внешне противоположны.

Те черты ПРП, которые ЗЗ будто бы пародируют, ведут к основополагающим для Карамзина принципам литературы.

Итоги третьей главы

Модель «наивного путешественника», которой была посвящена эта глава, в русской литературе путешествий возникла в ПРП Карамзина. Она формирует образ повествователя не как поставщика информации читателю, а как

¹²⁶ См. исследование Г. Панофски: [Панофски 2018].

¹²⁷ Ср.: «Особая светочувствительная открытость всем впечатлениям бытия, самозабвенная восторженность в обращении к людям, ради свидания с которыми Карамзин предпринял свое путешествие, — вот что запечатлелось у Достоевского навсегда» [Чичерин 1971: 357].

репортера, узнающего что-то и тут же передающего адресату, находящемуся с ним в равном положении. Являясь жестом, или позой повествователя, «наивный путешественник» описывает проблему отношения России к Европе исходя из сообщаемых впечатлений — но за этим стоит большая подготовка. Самоопределения карамзинского путешественника поясняют мотивировку поездки и его поведения: для него принципиально знать, *какой* он путешественник. Обобщающее «русский» вводит ключевую роль языка (в семиотическом смысле) — перевода на русскую почву европейской культуры, образа жизни, наследия. ПРП в этом смысле продолжают дело Петра I, но без разрыва с прошлым, органично впитывая новое, объясняя его через понятные образы, метафоры, иронию. Каждая тема здесь постоянно переходит из зримого в мыслимое. Поэтому их можно рассматривать как публицистическое высказывание, но обращенное не к конкретному адресату, а к культуре в целом.

Не так это происходит у подражателей Карамзина. Возможностью описать тот или иной эпизод разными «голосами», в разных тонах, которой дорожил Карамзин, они почти не пользуются. Читатели путешествий Шаликова, Измайлова, отчасти Макарова могли разделять с повествователями их чувства, но для иронического отстранения приходилось отгораживаться от самого текста; у Карамзина же эта возможность была заложена в повествовании. Собственно, это и дает ключ к раскрытию маски «наивного путешественника»: если можно вместе с ним улыбнуться, читая чувствительные описания Беккером его любовных приключений, то можно и признать за путешественником обладание априорными знаниями о Европе, включающими то, что подается как первое впечатление.

На событийном уровне «наивный путешественник» показан как субъект процесса познания реальности с разных точек зрения, что дает в итоге обогащенную, сложную картину мира. При этом Карамзин не склонен выбирать парадоксальный, отличающийся от общепринятого итог, напротив, он тяготеет к тому, чтобы принять устоявшиеся представления. Рассмотрев это на примере описания въезда в Париж в ПРП, мы показали, что эта модель получила распространение в литературе путешествий, утратив вместе с тем элемент непосредственности восприятия.

У Достоевского в 33 модель, предложенная Карамзиным, подвергается трансформации. Он показывает недостижимость передачи непосредственного впечатления в принципе, при этом апеллируя именно к ПРП. Полемицируя с Карамзиным, Достоевский выстраивает на основе модели «наивного путешественника» собственное решение — подчеркнутый субъективизм, основанный на «точке народного духа». Карамзин для него — «русский европеец», идеологический противник, у которого тоже есть предубеждение, хотя и скрываемое под маской объективности. Вариант «наивного путешественника» в 33 должен был стать ответом на эту позицию.

ГЛАВА 4

КОНСТРУИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ ЕВРОПЕЙЦЕВ И РУССКИХ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

В предшествующих главах мы рассмотрели модели, связанные в основном с образами самих повествователей. Это модель «встречи с Европой», модель «разочарования в Европе», модель «наивного путешественника», как бы объективная по сравнению с первыми двумя, лишенная их предпосылок, но на самом деле строящаяся с учетом имеющихся («наивный путешественник» успел и «встретиться» с Европой, и «разочароваться» в ней еще находясь в России, особенно это явно в 33 Достоевского). Но путешественник не может существовать сам по себе, вне той земли, по которой едет.

Хотя отдельные черты, свойственные той или иной нации, отмечались в путешествиях еще петровского времени, но только в конце XVIII – начале XIX века в культуре, в том числе, в ходе и под воздействием Североамериканской и Французской революций [Хобсбаум 1998: 33–34], формируется представление о нациях, чьим основным признаком является суверенитет. Проблема национального характера оказалась тесно связана с острой для русской культуры XVIII – начала XIX вв. проблемой — «ученичества», подражания. Помимо галломании, которая все-таки была не столько подражанием отдельной нации, сколько желанием пользоваться всеми преимуществами «сладкой жизни», изобретениями цивилизации и т. п., появляется англomania как сознательный выбор иного ориентира. Эти явления становятся предметом рефлексии и тесно увязываются с вопросом о национальном характере, что помогает обновить проблематику травелогов. Их авторы понимали, что публика больше не удовлетворяется сухими статистическими сведениями, что путешествия по мере роста объема материала, становящегося известным, грозят превратиться в повторение одного и того же, а значит, нужно обеспечить интерес чем-то другим.

Интерес к национальному характеру сформулирован впервые в ПФ Фонвизина («...стараюсь употребить каждый час в пользу, примечая все то, что может мне подать справедливейшее понятие о национальном характере» [Фонвизин 1959: 2, 466]), но для него главный мотив — «славны бубны за горами».

У Карамзина в ПРП отдельные элементы изображения национальных характеров встречаются с первых страниц:

Я не приметил никакой розницы между Эстляндцами и Лифляндцами, кроме языка и кафтанов <...> слух их нежен <...> Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность, и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что

они очень много работают <...> Сии бедные люди, *работающие господеву со страхом и трепетом* во все будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма не много по их Календарю [Карамзин 1984: 8–9] и т. д.¹²⁸

Галерея национальных образов в ПРП включает все страны, через которые проехал путешественник, но большая их часть сосредоточена в английской части маршрута. Причем среди отзывов об англичанах довольно много неблагоприятных. Так, карамзинский путешественник жалуется на грубость вскрывших чемодан с бельем работников английской таможни, на парикмахера, искромсавшего ему щеки тупой бритвой и на все жалобы отвечавшего, что не понимает клиента, на соседа по театру, бывшего его по плечу и выхватившего афишу из рук: «...для чего ты, господин Британец, вырвал листок с такою грубостию? для чего задел меня им по носу?» [Там же: 335] и т. п.

При этом англичане образованы, в том числе женщины: «В 8 часов утра приносит она <горничная. — А. С.> мне чай с сухарями, и разговаривает со мною о Фильдинговых и Ричардсоновых романах» [Там же: 336]. Англичане предстают как наиболее цивилизованная нация: здесь всё благоустроено — от кухни в Дувре до лондонских тротуаров, освещенных фонарями, и кофеен и пирожных лавок. Даже их нелюбовь к французам у Карамзина выглядит как достоинство:

Все хорошо-воспитанные Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю Английской. Какая розница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: *comment vous portez-vous?* без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? [Там же: 338].

И все-таки главным карамзинским открытием в ПРП был образ путешественника, подробно рассмотренный в предыдущей главе. Будучи центром повествования, он притягивает к себе все, в том числе и изображение национальных характеров. Отчасти он направлен на стирание национальных границ, а не на демонстрацию различий. Так, датчанин Беккер оказывается не представителем своей нации, а просвещенным и чувствительным компаньоном «русского путешественника», таким же гражданином мира, как и он. Интерес Карамзина к теме национального характера ярко проявится позднее, в том числе, в публицистике (записка «О древней и новой России») и историописании. Художественные средства для изображения национального характера будут найдены позже и проявятся в первую очередь в *вымышленных* повествованиях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева (о последнем см. [Фомина 2014]) и др. Путешествия лишь робко приближались к этой теме. Тем не менее нам нужно рассмотреть ее применительно

¹²⁸ О соотношении «местной» (немецкой — т. е. «господ») и внешней точки зрения в этом фрагменте см. [Киселева 2019: 131–133].

к текстам тех авторов, которые решились на более или менее прямые высказывания о национальном характере, в том числе, русском.

Отметим также, что рефлексия над литературой путешествий, появившаяся поначалу в форме критик и пародий, постепенно, под влиянием различных факторов, приобрела черты размышлений о национальном характере, что также станет предметом рассмотрения в этой главе.

4.1. Национальные шаблоны и национальный характер в «Письмах из Лондона» П. И. Макарова

Впечатление русского англомана от встречи с объектом восхищения ярко передает высказывание Карамзина в ПРП: «Берег! Берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть, конечно, одно из первых государств Европы» [Карамзин 1984: 327].

Вместе с тем образ Англии и англичан в ПРП был во многом зависим от источников, которыми пользовался Карамзин. Это подробно проанализировано исследователями, прежде всего Ю. М. Лотманом. В частности, он отмечал: «Целый ряд характеристик быта, внешности, обычаев англичан носит стереотипный характер и повторяется в широком круге описаний Англии путешественниками XVIII в.» [Там же: 668–669]. Несмотря на подражание Карамзину, П. И. Макаров в «Письмах из Лондона»¹²⁹ серьезно подошел к тому, чтобы не повторять чужих оценок.

ПРП, казалось бы, должны быть ближайшим контекстом сочинения Макарова как в организации повествования, так и в изображении национального характера. Однако современными исследователями отмечено, что «Письма из Лондона» резко отличаются от английских глав книги Карамзина, в которых

...личность героя-повествователя играет <...> роль значительно меньшую, чем в других частях. Повествование в них более последовательно и однородно. Все это не свойственно тексту П. И. Макарова. Напротив, повествовательные особенности первых частей «Писем русского путешественника» <...> ярко проявились в «Письмах из Лондона» [Цылина 2014: 278–279] (также об этом см. [Федосеева 2003]).

¹²⁹ П. И. Макаров родился, согласно большинству источников, в 1764 году (о нем см. [Уварова 1994; Лейбман 1999]). Путешествие в Англию состоялось летом–осенью 1795 года, но его описание было опубликовано не сразу после возвращения. Первоначально текст назывался «Россиянин в Лондоне, или Письма друзьям моим». Под этим заглавием состоялись первые — журнальные — публикации [Макаров 1803а; Макаров 1804]. В конце второго текста стояло обещание продолжения, но в ноябре 1804 года Макаров умер, и продолжения не последовало. Под названием «Письма из Лондона» текст был опубликован уже после смерти автора [Макаров 1805; Макаров 1817].

Под однородностью и последовательностью здесь понимается то, что в английской части ПРП материал распределяется в основном по тематике, а не по хронологии происходившего, как в предыдущих частях, а также почти отсутствуют вставные эпизоды и диалоги. Не будем спорить с устоявшейся точкой зрения. Проблема влияния Карамзина на Макарова требует отдельного рассмотрения, и приведенный выше очерк этого влияния (в § 3.1.2) — лишь один из подступов к теме. Здесь же представляется важным сосредоточиться на эпизодах, которые, так или иначе, касаются проблемы межнациональных отношений.

Чаще всего эта тема поднимается в «Письмах из Лондона» через сопоставление двух наций — англичан и французов. В небольшом по объему тексте Макаров несколько раз сталкивает французские и английские обычаи, характеры, литературные традиции.

При анализе необходимо иметь в виду политический аспект проблемы национального в разгоревшейся вскоре полемике Макарова с Шишковым. В т. н. споре о старом и новом слоге Макаров был первым и наиболее последовательным оппонентом «архаистов». Предметом спора был язык, но за этим явственно выступали другие коннотации. Авторы сентиментального направления, Карамзин и его сторонники, обвинялись Шишовым «в разрыве с национальной языковой и шире — духовной традицией» [Вацура 1994: 6], в подражании обычаям, нравам и самое страшное — идеям Франции. Критика галломании — одна из главных линий русской сатиры XVIII века, но на рубеже эпох она приобретает явный политический оттенок. Поэтому ориентация на какую-либо литературную или культурно-бытовую, идейную традицию, заявленная в текстах, важна с учетом этого обстоятельства. «Духовная эмиграция» в Англию не только выростала из разочарования во французском Просвещении, но и могла быть скрытым претекстом предстоящей полемики (подчеркнем: это звено не только гипотетическое, но и *предшествовавшее* спору).

В «Письмах из Лондона» переориентация с французской на английскую культурную традицию выражается как в самом содержании, в наборе имен и тем, в оценках, так и в построении повествования, которое — через посредничество Карамзина — во многом восходит к «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна. Путешественник Макарова не так сосредоточен на себе, как Йорик Стерна, но так же ироничен, и, в отличие от карамзинского, его ирония почти всегда открыта. Правильнее было бы говорить даже не об иронии, а о парадоксах.

Начинаются письма зарисовкой в почтовой карете, приближающейся к Лондону. В ней происходит разговор между самим путешественником, французским эмигрантом и безымянным англичанином:

Мы подъехали почти к самым воротам Лондона — и глаза мои искали *Лондона*. Я оглядывался на всех своих товарищей, и с духом беспокойным спрашивал: «Не это ли вторая столица мира?»

«Ах! Уверю вас, что не первая», — отвечал мне бывший граф *де Превы*, о котором я узнал после, что он имел тайные препоручения от французских

принцев. «Всегда лучше сделать заключение свое заблаговременно», — сказал, усмехнувшись, один толстый, румяный англичанин, сидевший в почтовой карете против нас. И все замолчали; я задумался; англичанин зевал; а Превии, смотря беспрестанно то на ту, то на другую сторону, повторял изредка любимое свое национальное восклицание, которое скромный Йорик оставил читателям на догадку [Макаров 1990: 500]¹³⁰.

Столкновение, в котором каждая из сторон отстаивает свою национальную гордость, внешне закончилось победой англичанина, но одна деталь заставляет в этом усомниться.

Поскольку поездка происходит в эпоху Революции, то упоминаемые французские принцы — это принцы Конде, а поручение должно было быть связано с финансированием корпуса Конде, которое Англия возобновила именно в 1795 году. Макаров называет француза графом де Превии; среди эмигрировавших французских графов похожее имя носили два брата, Жозеф-Мари де Грас де Превиль (1755–1849) и Рене-Луи-Доминик де Грас де Превиль (1758–1829). Первый эмигрировал еще в 1790 году [Dictionnaire 1891: 245], а второй — военный моряк — в 1792 году, и в 1795 году участвовал в высадке роялистского десанта¹³¹. Вероятно, Макаров слегка ошибся в написании имени на слух, а может быть, сознательно его изменил. Как бы то ни было, Россия была в коалиции с корпусом Конде, и выступающий на его стороне француз хотя бы отчасти мог получить симпатии русских читателей благодаря этому обстоятельству. Это был не француз вообще, а французский эмигрант, идейно не связанный с молодой республикой, поэтому легкая ирония была уместна, а едкая была бы оскорбительна.

При этом Макаров упоминает «Сентиментальное путешествие» Стерна, чем, с одной стороны, вводится тема английской литературной традиции, а с другой — задается ключ к дальнейшему тексту: читателю не следует воспринимать его как наивный отчет о поездке, его ждут парадоксальные суждения и игра со стереотипами. Один из знаменитых парадоксов «Сентиментального путешествия» — взгляд на французский национальный характер, идущий в разрез со стереотипным представлением о французах.

¹³⁰ Имеется в виду следующий фрагмент: «Не будет mal-a-propos заметить здесь, что, хотя Ла Флер прибегнул в этой передраге только к двум восклицаниям, а именно: Diable! и Peste! — однако во французском языке их существует три; подобно положительной, сравнительной и превосходной степеням, то или иное из них употребляется в жизни при каждом неожиданном стечении обстоятельств. <...> Что же касается третьей — Но здесь сердце мое сжимается от жалости и сочувствия, когда я раздумываю, как тяжок должен быть удел столь утонченного народа и какие горькие страдания должен был он претерпеть, чтобы быть вынужденным ее употреблять» [Стерн 1968: 575]. Одновременно это намек на “God damn” — ругательство, которое «неизменно включалось в тривиальный литературный портрет англичанина» [Карамзин 1984: 668] и которое использовал для речевой характеристики англичан Карамзин в схожей ситуации (первая встреча с англичанами в трактире в Кале [Там же: 325]).

¹³¹ См.: [http://impereur.blogspot.com/2019/01/rene-louis-dominique-de-gras-de.html; дата обращения: 31.01.2021].

По мнению Йорика, «если у них <французов. — А. С.> есть недостаток, так только тот, что они — слишком *серьезны*. — Mon Dieu! — воскликнул граф, вскакивая со стула. — Mais vous plaisantez!» [Стерн 1968: 621].

Если не к парадоксу, то к противоречивому суждению об английском национальном характере Макаров подводит исподволь. Образ Лондона двоятся на протяжении всего повествования. То это рационально устроенный город, в котором широкие и прямые улицы, хорошие тротуары и где местная почта к удобству жителей развозит письма дважды в день, а цена на извозчика фиксированная¹³². То это страшное место, населенное грабителями, проститутками, кулачными бойцами и просто грубиянами.

Двойственность заметна и в оценках характера англичан, например: «Важные, глубокомысленные англичане столько привязаны к моде, что смеются над бедным иностранцем, если он покажется на их улицах в том наряде, в котором приехал, хотя бы фрак его был скроен рукою славнейшего парижского портного» [Макаров 1990: 501]. Глубокомысленность как общеизвестное качество англичан в этом фрагменте иронически противопоставлена их же поверхностным суждениям об иностранцах, буквально — встрече по одежке.

Во втором письме общую картину Лондона путешественник заключает выводом о его обширности: «Лондон превосходит величиною все города на свете, и даже Париж, — и добавляет: — Но кто хочет наслаждаться жизнью, тому надобно жить в Париже, а не в Лондоне» [Там же]. Эта оценка также двойственная. С одной стороны, Лондон предстает как огромный, лишенный приятности город. Но следующая далее по тексту ремарка: «В Лондоне, кажется, все внимание обращено на выгоду людей небогатых», — переводит внимание читателя на ракурс, очень важный для автора. Наслаждение жизнью — это удел скучающих путешественников, аристократов. Макаров же заявляет целью своего произведения помощь именно небогатым соотечественникам, желающим узнать, как жить в Лондоне, давая им практическое руководство, — он пишет «не для забавы людей праздных» [Там же: 506]. Цель путешествия (в этом он остается в рамках просветительской традиции) — избавление от предрассудков, предубеждений, и Лондон для этой цели годится ничуть не меньше, чем Париж. «Русский, который не выезжал из своего отечества, уверен, что Петербург прекраснее всех городов на свете. Я сам так думал, но Лондон меня переуверил» [Там же: 502], — говорит он. То есть читатели «Писем из Лондона» рассматриваются как те, кто не ищет от путешествия наслаждений, а только пользы, поэтому Париж — не для них, а Лондон им подходит.

Макаровский принцип пользы для путешественников, возможно, потом был заимствован и М. Н. Загоскиным в романе «Тоска по родине» (см. о нем ниже, § 4.3):

¹³² Такие элементы обсуждаются и в ПРП, например, предписанное число ударов в двери для разных категорий заходящих в дом: «Кто придет, должен стучаться медною скобою в медный замок: слуга один раз, гость два, хозяин три раза» [Карамзин 1984: 337].

Я застал у себя на квартире господина Томсона, который пришел со мною проститься. Он советовал мне переехать в ту самую гостиницу, в которой жил один из его сослуживцев. — Джон Шмит искренний мой приятель, — сказал Томсон, — и когда вы отдадите ему это рекомендательное письмо, то он совершенно будет в вашем распоряжении. Вы еще не знаете, что такое Лондон. В нем приезжому человеку без товарища и путеводителя — беда! Это не город, а целый мир [Загоскин 1898: 371].

Впрочем, на той же странице «Писем из Лондона» этот благоприятный для Англии вывод оттеняется «сценой отвратительной для всякого благонаправленного и чувствительного человека» — кулачным поединком, свидетелем которого стал путешественник: «Избитого снесли с места замертво. Полиция не имеет власти удерживать таких драк, <...> это одна из привилегий английской вольности — одна, на которую министры не нападают» [Макаров 1990: 502–503].

Следующее место, встраивающееся в сопоставление французского и английского национальных характеров, относится к жизни путешественника в пансионе господина Перкса. Согласно «Письмам из Лондона», этот пансион располагался в районе Челси, на первом этаже помещалась маленькая частная школа, на втором — комнаты для постояльцев. Перкс, благодаря «долговременной бытности в чужих краях», как отмечает Макаров, освободился «от национальных предубеждений» и занимался, помимо обучения детей, составлением географических карт и словарей. Макаров сообщает, что «написал ему одну статью о Петербурге для Географического лексикона».

Имеется в виду, вероятно, William Perks или Perk, живший в районе Pimlico, не очень далеко от места, куда помещает его дом Макаров, хотя и не совсем там (факт отражен на титуле книги, изданной Перксом: “The youth’s general introduction to geography”, выдержавшей не одно издание, но того, в котором была бы помещена статья Макарова, нам выявить не удалось). Статья о Петербурге из ближайшего к времени путешествия издания [Perks 1793] коротка и содержит общую информацию, а также сведения о строящемся Исаакиевском соборе, который Перкс называет Мраморной церковью.

Вот цитата из книги Перкса, взамен которой его гость (до путешествия бывший петербургским жителем) мог бы предложить свою статью (курсивом нами выделены данные, явно требующие уточнения):

Petersburgh. Lat. 60° long. 31° Situated on *an island* formed by the river Neva, which joins lake Ladoga to the gulf of Finland. A bishop’s see and seat of government. It was founded 1703 by Peter the Great, hence named St. Petersburg. It is a fine city, and sea port of great trade. The streets are neat: the houses in general of brick, plastered over to resemble stone. The public buildings, beside the royal palaces, are a *college*, printing house, military school, and exchange. The summer palace has extensive gardens, laid out in taste, adorned with statues, fountains, and other rich ornaments. This city contains 20 *Russian*, and 4 Lutheran *churches*, besides several Calvinistic, Popish, &c. Here is a church which has been 20 *years in building*; when finished, it will be the largest and richest in Europe; it is entirely of marble inside and out, and is therefore

called *the marble church*. Here are rope walks and iron foundries. The port is defended by the fort and arsenal of Cronstadt, on Kotlin isle, 20 m. down the gulf. It contains about 500 000 inhabitants. Longest day 18 ½ hours, shortest day 5 ½ hours [Perks 1793: 156]¹³³.

Говоря о своей жизни в пансионе господина Перкса, Макаров отмечает: «...жилец, будучи в тесной связи с хозяином и почти как родной в его семействе, <...> в земле, где сыскивать знакомства весьма трудно — научается легче и приятнейшим средством языку и скорее узнает характер нации...» [Макаров 1990: 505]. Высказывание о том, что в Лондоне «сыскивать знакомства весьма трудно», повторяет жалобы русских на трудность вхождения в местное общество в Париже (в частности, у Фонвизина¹³⁴).

В конце «Писем из Лондона» трудности вхождения в английское общество проиллюстрированы эпизодом знакомства с богатым англичанином:

Приезжаю в Лондон, являюсь с рекомендательным письмом к человеку богатому: после обыкновенных учтивостей, очень холодных, он вместо приглашения сказал только, что я *в случае надобности* могу с полной доверенностью требовать его советов и услуг [Там же: 514].

Сцена холодного знакомства противостоит рассказанной в соседнем абзаце историей о знакомстве с знатым французом — графом де Броссом, сыном историка-компаративиста Шарля де Бросса:

По приезде моем в Констанц, любезный знакомец мой тотчас прибежал ко мне и повел меня к сестре своей, маркизе де Ф*, которая тогда жила в одном доме с епископом Н*, епископом С. М* и графом де Ш*, генералом прежней французской службы. В тот день была у нее вечеринка. Все осыпали меня ласками; женщины делали мне вопрос за вопросом; и через неделю я уже имел множество знакомств. Прожил в Констанце более месяца и оставил этот маленький город, весьма сожалая, что не мог прожить в нем гораздо долее [Там же].

Соседние эпизоды должны демонстрировать, что, в противоположность англичанам, французы быстро заводят знакомства, и в их обществе иностранцу легче освоиться. Однако такой вывод не может быть однозначным, и хотя сравнение сделано почти в самом конце текста, но теплый отзыв о приеме путешественника Перксом из середины повествования если не опровергает, то уравнивает его; эти впечатления идут в связке. И англичанин, и француз могут оказаться дружелюбными к иностранцам, если обстоятельства к этому располагают. Ведь французский граф де Бросс

¹³³ На *одном острове* располагается только Петропавловская крепость, а не сам город. В конце XVIII века в Петербурге было 62 православных храма, а не 20 [Антонов, Кобак 1994: 13]. В столице жило немногим более 200 тысяч человек. Исаакиевский, а не Мраморный собор строился с 1761 года, т. е. к 1793 году уже больше 30 лет. Возможно, словом “college” назван не некий колледж (академический университет? сама Академия наук?), а здание Двенадцати коллегий.

¹³⁴ Ср., например: «...для чужестранных нет никакого здесь *société*» (письмо из Парижа к сестре от апреля 1778 года [Фонвизин 1959: 2, 445]).

встретился Макарову в Констанце, т. е. в эмиграции, а в дореволюционном Париже это знакомство, даже состоявшись, могло долго не продлиться.

Напомним высказывания в ПРП о степени расположения англичан к иностранцам. Путешественник знакомится с ними только через посредников: русского посланника С. Р. Воронцова (как у Макарова через священника Якова Смирнова, см. о нем [Кросс 1996: 59–68]), через торгующих с Россией купцов, через ученых. При этом о высшем свете ничего не сообщается, а в Королевском обществе встречает холодноватое отношение:

Я засмеялся, и мы обнялись по-братски, а г. Пар* закричал: «браво! браво!» Между тем Англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!... [Карамзин 1984: 345].

В ПРП англичане предстают чопорными и нелюдимыми: «Он человек тихой и для Англичанина довольно приветливой» [Там же]. Путешественник всю жизнь мечтал поехать в Англию, бредил всем английским и теперь рад поскорее уехать от них.

Завершается путешествие Макарова описанием неприятной сцены в театре с соотечественником путешественника, которого некий пьяный английский лейтенант задирал и пытался с ним драться, оскорблял, называя его французом (“Frenchman! Frenchman!”). «Надобно заметить, — говорит Макаров, — что в Англии люди *некоторого сорта* почитают всех иностранцев за френчманов» <курсив мой. — А. С.>. Последняя фраза путешествия содержит самоироничную характеристику: «...да избавит вас бог от пьяных лейтенантов <...> а особливо от желания скитаться по чужим землям!» [Макаров 1990: 515]. Значит, то же самое можно применить к человеку любой нации¹³⁵.

Отношение повествователя «Писем из Лондона» к литературной традиции путешествий, на наш взгляд, связано, хотя и косвенно, с темой национального характера. Обширный фрагмент писем, к которому мы уже обращались выше, сопоставляя повествовательные техники Карамзина и его подражателей, начинается с обращения к друзьям и содержит многочисленные отсылки к общим местам сентиментальной литературы путешествий — от пейзажа и меланхолической луны до ученых, открывающих путешественнику свои кабинеты, и красавиц, открывающих свои будуары. Он считается завуалированной критикой ПРП или, по крайней мере, отсылкой к ним:

Вам, конечно, странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, ни сижу на мягкой, зеленой траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира или о судьбе человечества; не поручаю зефирам нести мои чувствования, мои вздохи к богине этого

¹³⁵ Здесь опять уместно вспомнить афоризм из писем Фонвизина: «Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собой одну нацию» (письмо к П. И. Панину из Ахена от 18/29 сентября 1778 года [Фонвизин 1959: 2, 480]).

рая, молодой, прелестной англичанке — белокурой, нежной, томной, чувствительной — с голубыми глазами, с правилами, достойными героинь добренькой *Скюдери*, с сердцем мягким, как воск на солнце; не описываю зданий, статуй, картин, монументов, редкостей, произведений искусств и натур; не рассуждаю о правлении, о министерстве, о политике, о торговле, о законах Англии — но вот мой ответ: я даю вам отчет в подлинных своих деяниях и мыслях; следовательно, намерен говорить только о том, что действительно со мною случилось, — о том, что видел *своими* глазами и в чем уверился *своим* умом. Не хочу собирать контрибуций со всех авторов старых и новых, мертвых и живых; не хочу тиранить воображения своего для того, чтобы написать вам *роман*. Притом я еще не знаю, к чему служат все те путешествия (кроме, однако ж, *Стерна*), которые называются *сентиментальными*? <...> Великие приключения нравятся молодому человеку: он думает, что найдет везде чудеса Удольфского замка, освободит какую-нибудь Дульцинею от ее тирана и сделает связь с двадцатью Элоизами; он думает, что будет принят везде с братскою любовью; что все ученые отворят ему свои кабинеты, артисты — рабочие, а красавицы — будуары; думает, и ошибается [Макаров 1990: 505–506].

Макаров здесь почти цитирует карамзинское «сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал» из предисловия к отдельному изданию ПРП [Карамзин 1984: 393], но цитирует с изменением, на первый взгляд незаметным: «...я дам вам отчет в подлинных своих деяниях и мыслях; следовательно, намерен говорить только о том, что действительно со мною случилось, — о том, что видел *своими* глазами и в чем уверился *своим* умом». Выделенное в тексте дважды слово «свой», подчеркивающее намерения автора, вместе с утверждением, что он *не* сидит под луной и *не* ходит по будуарам, как будто целит в Карамзина¹³⁶.

Выпад, впрочем, тут же уравнивается упоминанием Карамзина в примечании:

А *Письма Русского путешественника* разве не доказывают, что можно соединить цветы Литературы, поэтические описания живописной Природы, чувствительность с *истиною*; что можно в одно и то же время писать и для *сердца* и для *ума* и для *воображения* и для *пользы*? — Но г. К-зин у нас один; притом кажется, что *россиянин в Лондоне* имел более в виду иностранных писателей, нежели наших [Макаров 1990: 506].

Представляется, что критика направлена все же не на Карамзина, а на французских и русских последователей *Стерна*, упоминаемых во фрагменте, таких как Ж.-К. Горжи, автор «Нового сентиментального путешествия» (“*Nouveau voyage sentimental*”) и П. И. Шаликова, чье «Путешествие в Малороссию» (1803) Макаров критиковал в «Московском Меркурии» за отрывочность: «...собрание отрывков, какие человек с талантом мог написать не выезжая из Москвы <...> Заглавие портит все, обещая читателям более, нежели сколько они тут найдут — и другое, а не то, что они найдут» [Макаров 1803б: 120], — и стиль: «Читатели также пожелают, чтобы

¹³⁶ Как и упоминание рассуждений «о правлении, <...> о законах Англии» намекает на главки ПРП «Выбор в Парламент», «Семейственная жизнь», «Литература».

не было множества французских речей, таких, которые всегда можно заменить русскими» [Макаров 1803б: 124–125]¹³⁷.

С учетом контекста можно сказать, что позиция Макарова — в противопоставлении не столько Стерна и Карамзина всем остальным, сколько Стерна и его удачного последователя, сумевшего заключить в свое произведение национальное своеобразие, — неудачливым последователям. Причиной их неудачи он выставляет зависимость от чужой литературной традиции, некритическое использование почерпнутых из романов образов и стиля («добренькая Скюдери», «чудеса Удольфского замка», «Дульцинея» и «связь с двадцатью Элоизами» в тексте «Писем из Лондона», «французские речи» в отзыве на Шаликова).

Упреки авторам в книжности описываемых чувств были весьма распространены в современной Макарову критике. Так, образы из «Дон Кихота» использовались для высмеивания как раз сентиментальных путешественников, оторванных от действительности и способных на многих страницах описывать свои впечатления от предметов, вполне обыкновенных, что было характерно еще для просветительской традиции [Багно 1988: 287–290]. Это опиралось, конечно, на особенность главного героя романа Сервантеса: «Мы видим мир глазами Дон Кихота, для которого быт, пейзажи и интерьеры современной ему Испании не имели никакого значения. Он их не видит. При этом он в мельчайших деталях и подробностях описывает воображаемый быт...» [Там же: 9]. Соотнесению сентиментального путешественника и Рыцаря Печального Образа способствовало и представление о лексической близости сентиментального стиля и стиля речей Дон Кихота, чье своеобразие русский читатель XVIII века хорошо представлял даже по переводам на родной язык¹³⁸.

¹³⁷ Казалось бы, это вполне уравновешенный, далеко не разгромный отзыв, но, на наш взгляд, он показывает весьма сдержанное отношение к Шаликову. Вот для сравнения действительно положительный отзыв о шаликовском путешествии в «Журнале для милых»: «Путешествие кн. Шаликова заставило меня полюбить “Вестник Европы”. Я, не зная этого молодого человека, заочно имею к нему особенное почтение. Он умеет хорошо говорить с сердцем, умеет любезно его питать чувствительностию. Словом: я люблю кн. Шаликова, люблю простой милый слог его; люблю путешествие его в Малороссию; оно усладило чувства мои; оно и теперь в часы праздности заставляет забывать скуку и питает сердце. Шаликов! О молодой человек! твое путешествие заставило меня вспомнить многое, что очень, очень приятно для сердца моего» [Журнал для милых 1804: 296–297].

¹³⁸ Ср. пер. И. А. Тейльса: «Чуть только пресветлый Аполлон начинал позлащенные локоны белых волос своих распускать по поверхности земного круга и птички приятным своим согласием стали вещать приход прекрасной и сияющей Авроры, которая, оставляя ложе ревнивого своего супруга, показывалась смертным на своде ла-Манхского горизонта, как славный Дон Кишот, враг непристойного покоя и неги, садится на беспримерного коня своего, Рыжака, и вступает в древнее и славное поле Монтельское...» (цит. по: [Багно 1988: 294–295]) и те места в «Рассуждении о старом и новом слог» Шишкова, где он приводит цитаты из современных ему книг, уклонившихся от естественности и простоты в сторону «французского elegance’a»:

Упомянутые в том же отрывке «Удольфские тайны» А. Радклиф несут, по-видимому, схожую функцию: маркер чрезмерной, заимствованной из книг чувствительности¹³⁹. В. Э. Вацуро отмечает в приведенном нами «антисентиментальном» отрывке Макарова «легкую иронию» по отношению к Радклиф, хотя в рецензиях на переводы готических романов Макаров был склонен вообще не признавать за ними пользу и, следовательно, считал их произведениями невысокого уровня [Вацуро 2002: 263–267].

Макаров не ставит знака равенства между бездумным заимствованием из европейских литератур и влиянием чуждой русскому духу культуры, и этим он отличается от критиков круга Шишкова, полагавших эти явления не только вредными, но и родственными. Ведь подражатели, о которых говорится в «Письмах из Лондона», по большей части сами французы, заимствовавшие модную форму и тип повествования у англичанина — Стерна.

Далее, сообщая о двух женщинах, уехавших из Франции в революционную эпоху и нашедших счастье в Англии, куртизанке Дюте Розали и аферистке Ла Мотт де Сен-Реми, Макаров резюмирует фрагмент, посвященный им, крылатой фразой «Преступление достойно стыда, но не эшафота». Тем самым Англия, принявшая этих несчастных, оказывается достойнее революционной Франции, преследовавшей их.

Париж — город контрастов, в нем нищета сочетается с роскошью, что отмечали многие русские путешественники XVIII века. Но Лондон Макарова — такой же контрастный:

«Молодая, прекрасная женщина ехала за городом в карете — парой — без лакея. Скачет к ней верхом человек порядочно одетый, и в некотором еще расстоянии кричит: Аор (обыкновенное слово английских воров)! Кучер остановился. Дама вынимает кошелек — с тремя гинеями. И более нет? — Ни единого шиллинга. — А перстень на прекрасном вашем пальце? — Этот перстень стоит, может быть, тридцать или сорок фунтов стерлингов... но я получила его от любимого человека! — Вор задумался. Милостивая государыня! сказал он, наконец: люди моего ремесла неохотно расстаются с добычей: уступаю вам подарок любимого человека, но вы, надеюсь, не откажете мне в том, что я ценю гораздо выше. — Красавица побледнела. Учтивый кавалер поцеловал ее руку, оборотил свою лошадь, и скрылся из виду».

Какие любезные воры!

«В прошедшую ночь поднята на Чарль-стрит женщина, раненная в трех местах ножом: сомнительно, что она осталась жива».

«...мы думаем быть Оссиянами и Стернами, когда, рассуждая о играющем младенце, вместо: как приятно смотреть на твою молодость! говорим: *коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!* Вместо: луна светит: *бледная гекката отражает тусклые ответки.* Вместо: окна заиндевели: *свирепая старица разрисовала стекла.* <...> Вместо: деревенским девкам навстречу идут цыганки: *пестрые толпы сельских орад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся Фараонит*» [Шишков 1824: 55–56].

¹³⁹ Ср.: «Исследователи Радклиф единодушно признают героиню “Удольфских тайн” самым чувствительным из созданных писательницей персонажей» [Вацуро 2002: 172].

«В прошедшую ночь найден подле Вестминстерского аббатства человек неизвестно кем застреленный».

Какие злые воры!

Я читал это сегодня поутру в газетах [Макаров 1990: 507].

К сожалению, в английских газетах за 1795 год найти оригинал не удалось (вернее, в одной газете — за указанный период нам была доступна только «Таймс», в которой криминальная хроника тогда публиковалась редко). Но можно не сомневаться в том, что под объявлениями, приведенными в тексте «Писем из Лондона», была фактическая основа. Независимо от того, существовал источник или нет, выбор этого фрагмента работал на общую характеристику Англии как контрастного, противоречивого пространства. Любопытно, что в ПРП также отмечена противоречивость поведения английских преступников, присущее им чувство чести:

С некоторого времени Правительство посылает осужденных в Ботани-Бейскую колонию: от чего Невгат называются преддверием; но не чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть *с честью повешены* в Англии, нежели плыть так далеко? «Мы любим свое отечество (говорят они) и не терпим дурного общества» [Карамзин 1984: 341].

Противоречия распространяются и на описание прекрасных англичанок: «Вообразите богиню любви, когда она вышла из океана; представьте себе глаза небесного цвета» и т. д., в конце Макаров добавляет: «Теперь должно испортить всю картину. Друзья мои! Вздохните из глубины сердца: гурии, которых я описал, торгуют своими прелестями» [Макаров 1990: 509].

В ПРП эта линия тоже имеется, но подана без такого контраста. Когда Карамзин описывает англичанок, то они оказываются прекрасными без обмана:

Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных Грациями. Оне ходят как летают; за иною два лакея с трудом успевают бежать. Маленькия ножки, выставясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней *троттуара*; на белом корсете развевается Ост-Индская *Шаль*; и на Шаль, из-под шляпки, падают светлые локоны. Англичанки по большей части белокуры; но самыя лучшия из них темноволосыя. Так мне показалось; а я, право, смотрел на них с большим вниманием! [Карамзин 1984: 333].

По контрасту первые женщины, которых Карамзин описывает в Париже, — это «нимфы радости» из Пале-Рояля, которые «вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий, и скрывались как призраки лунной ночи» [Там же: 216]. Никакой двусмысленности нет, скорее наваждение, а вот лондонских проституток путешественник Карамзина встречает в долгой тюрьме.

Итак, набор внешних характеристик английского характера, данных Макаровым, отчасти совпадает с шаблонными представлениями, отчасти — с впечатлениями карамзинского путешественника; скрытые же характеристики выявляются на уровне композиции произведения.

Правительство, не следящее за передвижениями иностранцев по стране, по его словам, «нежное», а английские обыватели — грубы и в лучшем случае недоверчивы к представителям других наций. И при этом, «если какой-нибудь особый, чрезвычайный случай подаст об иностранце хорошее мнение, тогда англичанин будет искренним и вернейшим его другом» [Макаров 1990: 513], т. е. поступает образом, совершенно противоположным только что описанному характеру. Пригласивший путешественника на обед англичанин, в знакомстве с которым тот не видел ничего, кроме формальности, затем удивляет его внезапной переменой и открытостью; впрочем, общество, собравшееся за столом, оказывается скучным.

Англия и англичане в «Письмах из Лондона» в свете внутренней конструкции текста предстают противоречивыми, совсем не такими однозначно-мрачными и враждебными к иностранцам, как при поверхностном взгляде. Это не только пример глубокого «вчитывания» путешественника в национальный характер англичан, но и своего рода оммаж Стерну с его «серьезными французами». Это перевернутый парадокс, но не полемическая отсылка, а скорее дань уважения, и на уровне композиции «Писем из Лондона» традиция Стерна–Карамзина не пародируется. «...Грибы, выросшие у корн<я> дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, M^{de} Жанлис — овладевают русск.<ой> сл.<овесностью>. Sterne нам чужд — за исключ.<ением> Карамзина», — писал Пушкин в заметке «О ничтожестве литературы русской» (1834) [Пушкин. ПСС: 11, 496]¹⁴⁰. Если Стерн и был чужд русской литературе, то по крайней мере, еще за исключением П. И. Макарова¹⁴¹.

В «Письмах из Лондона» Макаров использовал именно факты, которые достались ему непосредственно в процессе путешествия: знакомство с учителем географии Перксом, газетные сообщения и т. п. При этом он показал некоторые особенности национального характера англичан, сумев облечь свой рассказ в форму литературной игры. Характер англичан здесь не выглядит шаблонным, он конструируется из «реальности» и стерновского парадокса. ПРП в этом отношении им, на первый взгляд, проигрывают. Но и отмеченная Ю. М. Лотманом шаблонность сведений, и, сравнительно с другими странами, скучные описания, распределенные по темам, не случайны у Карамзина и были вызваны далеко не только кратковременностью пребывания в Лондоне; не свидетельствуют они и о том, что его творческий импульс иссяк к концу работы над текстом. Этот тип повествования больше отвечал предмету, начинавшему волновать Карамзина в период написания английской части ПРП (скорее всего, 1796-й, а затем самый конец 1790-х — 1801 год [Серман 2004: 209–210]): им был национальный миф, «народный дух», в его терминологии.

¹⁴⁰ Набор имен здесь иной, чем у Макарова, и относится к «среднему» пласту западно-европейской литературы.

¹⁴¹ О других аспектах связи «Писем из Лондона» с «Сентиментальным путешествием» см., например: [Цылина 2014: 270–272].

Вероятно, для литературных путешествий где-то здесь и проходит водораздел между просто хорошим произведением своей эпохи и классическим, в данном случае «Письмами из Лондона» и ПРП. К последним возвращаются новые поколения читателей даже тогда, когда не только усвоены сведения о быте и нравах того или иного народа, но и впечатления остроумного очевидца от встречи с ним не дают прежней свежести и новизны, а национальный характер уже известен и его изображение не может стать литературным событием, в то время как миф в силу своей воспроизводящей природы притягателен без конца.

4.2. Путешествия наполеоновского периода. «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки

Исторические события рубежа XVIII–XIX веков неизбежно отражались на литературных размышлениях об отношении России к Европе, прежде всего как к носительнице идеи цивилизации. Война за независимость США стала поворотным пунктом в отношении к политическим вопросам — в них стали видеть не историю монархов, а историю народов и, соответственно, свидетельство прогресса. Но за нею последовали события, дававшие иной ракурс для взгляда на проблему развития. Французская революция вызывала интерес не только как решающее событие в истории европейской цивилизации; преступления, совершавшиеся во имя провозглашенных ею идеалов, одних заставили сомневаться в самой идее прогресса и искать новые исторические концепции (Карамзин, Радищев), а других подтолкнули к негодованию против «пагубных плодов мечтания равенства и буйных свобод» (из книги «Излияние сердца, чтущего благодать единоначалия» (1794) И. В. Лопухина). Итоги революции совпали с итогами века, «столетья безумна и мудра», по слову Радищева. Отечественная война 1812 года, в ходе которой, по выражению К. Н. Батюшкова, французы показали себя россиянам как вандалы, дала импульс для новых выводов. В результате победы над Наполеоном Россия становится одной из ведущих стран цивилизованного мира, хранительницей мира и прогресса¹⁴² (а вовсе не охранительным пугалом и жандармом Европы, стремящимся повернуть время вспять к феодальной идиллии — это более поздняя проекция освободительных идей на события тех лет). В тот момент русские и их император принимают эстафету европейского просвещения. Залог успеха этой передачи первенства мог лежать для современников как в идеалах Просвещения, так и в религии, что давало удобное обоснование первенства.

То, что Россия — хранительница православия — конечно, общее место для русской культуры. Россия хранит традиции православия (в том числе,

¹⁴² Подробно формирование этого типа представлений об интеллектуальном наследии эпохи рубежа XVIII–XIX веков (на примере Карамзина) рассмотрено Ю. М. Лотманом [Лотман 1988].

обретает древние святыни византийской эпохи в Крыму; см. «Владимир просвещенный» Хераскова). Заметно усиление религиозного содержания, связанного с идеей национальной самобытности.

Всё это было не отказом от признания Европы, но разрывом с собственным прошлым, вернее, его образом, потому что прошлое может быть только воображаемым. На этом этапе ревизии стали подвергаться результаты петровской реформы, «старина» и «новизна» вновь менялись местами во всей диалектической полноте, когда «ориентация на прошлое связывалась с вычеркиванием из памяти реальной традиции и обращением к химерическим конструктам прошлого» [Лотман, Успенский 1977: 36]¹⁴³.

В травелогах также видно смещение вектора¹⁴⁴.

В 1805 году В. В. Измайлов издал новую редакцию своего «Путешествия...», в которой начал описание пути не с подмосковной деревни, а с Киева, изъязвив все главы, посвященные поездке до границы Малороссии (подробнее об этом см.: [Соловьев 2013]). В этом заметны следы подгонки к концепции «полуденной России» и усиления религиозно-патриотического пафоса [Шёнле 2004: 109–118]. Измайлов собирался вести свое повествование о землях, завоеванных Российской империей в разное время — в постколониальной трактовке, чужих и, во всяком случае, малознакомых для русского читателя (не избалованного сочинениями как о порубежных, так и о далеких заграничных территориях). С этим заданием должно было войти в противоречие пространное описание пути от Москвы до Малороссии, пролежавшего по губерниям, задолго до XVIII века населенным этническими русскими. При этом Измайлов не выполнял государственного задания, а просто писал свою книгу (что он особо оговаривал в автобиографии, составленной, вероятно, для словаря русских светских писателей Евгения (Болховитинова) в 1806 году [ОР РНБ. Ф. 588. Ед. хр. 244. Л. 1–1 об.]¹⁴⁵.

¹⁴³ В первые годы царствования Александра I эти настроения, выраженные в литературных произведениях будущих участников «Беседы любителей русского слова», носили оппозиционный правительству характер [Альтшуллер 2007: 11–23].

¹⁴⁴ С. А. Козлов обращает внимание на то, что вольные (т. е. после манифеста 1762 года о вольности дворянства) «путешествия русских людей совпали с оформлением контуров имперской идеи в России» [Козлов 2008: 135]. Несмотря на указанные исследователем имперские мотивы в путешествиях екатерининской эпохи, мы не до конца разделяем данный тезис: всё же произведения, отмеченные существенным влиянием имперской идеи, появляются лишь с начала XIX века.

¹⁴⁵ В противовес этой трактовке можно привести следующие рассуждения. В промежутке между 1802-м (издание 3 и 4 частей «Путешествия», в которых описываются Крым и Кавказ) и 1805 годом (новое издание книги, во второй редакции) вышло «Путешествие в Малороссию» кн. П. И. Шаликова, представившее, по словам Т. А. Роболы, «утрировку сентиментальной манеры» [Роболы 1926: 59] и подвергшееся критике со стороны как противников «нового слога», так и его защитников (см., например, цитировавшуюся выше рецензию П. И. Макарова в «Московском Меркурии» [Макаров 1803б]). Игнорировать это было невозможно. Измайлову пришлось открещиваться от поверхностного понимания карамзинизма, которое провоцировалось Шаликовым. Главы от Москвы до Киева содержали эмоционально насыщенные

Но были и травелогги, сразу писавшиеся в духе интереса к русскому национальному самосознанию. В «Письмах русского офицера» Ф. Н. Глинки¹⁴⁶ встречаются, например, такие высказывания:

С сердечным удовольствием видел я, что благие нравы предков, вытесненные роскошью и нововведениями из пышных городов, не остаются вовсе бесприютными сиротами на Русской земле. Скромно и уединенно процветают они в простоте сельской. — Не раз повторял я, про себя, достопамятное изречение Монтескье: «Еще не побежден народ, хотя утративший войска, но сохранивший нравы свои» [Глинка 1990: 28].

Здесь представление о национальной самобытности, заостренное против подражания европейским образцам и высказываемое в период борьбы с Наполеоном, опирается на максимум французского просветителя. Для Глинки акцент на национальной самобытности очень важен. Он иллюстрирует свою мысль на библейском примере и задается вопросом, что позволяет народу сохранять самоопределение, несмотря на неблагоприятные политические условия:

Если б евреи не имели Моисея, то, верно, при первом исходе из Египта исчезли бы в толпе прочих, населявших ту часть земли, народов. Но премудрый, Богом вдохновенный законодатель так умел скрепить их обычаями, нравами, обрядами и законами, что в течение нескольких тысяч лет и теперь, в гонении и рассеянии, существуют они еще в виде народа. Если б внезапное бедствие постигло Европу, который из ее народов, среди всех волнений и перемен, сохранил бы надежнее и вернее свое народное или нравственное бытие? — Угадайте.

И сам отвечает:

Тот, который тверд и непоколебим в нравах и вере праотцев. Твердость в нравах и вере отечественной сохранили русских в трехвековое владычество татар над Россиею [Там же: 36].

эпизоды (например, воспоминание о рано умершем брате), но при этом не давали того материала, который позволял назвать псевдоэпистолярное произведение «путешествием», скорее «прогулкой»; соответственно, они составляли отличную почву для упреков в необязательности и для пародий, поэтому и были исключены. Карамзинские ПРП устроены принципиально иначе. Ему не пришлось бы проводить такую операцию с текстом, как Измайлову, даже если бы его маршрут ограничивался Россией.

¹⁴⁶ Создававшиеся в разное время, на протяжении всех антинаполеоновских кампаний XIX века, «Письма русского офицера» первоначально публиковались по следам событий, как по частям, так и отдельными изданиями. Две важнейшие редакции, включающие эпизоды разных лет, были отделены друг от друга почти десятилетием (1808 и 1815–1816), а в течение долгой жизни автора издавались в различных комбинациях еще несколько раз. В настоящей работе, не ставящей задачи выявления истории текста, «Письма» цитируются по современным изданиям: [Глинка 1986] и [Глинка 1990].

В тексте «Писем...» Глилки русские — не единственный народ в Европе, сохранивший верность «в нравах и вере праотцев». Параллелью к ним выступают испанцы, также давшие отпор завоевателю. В связи с этим интересен поворот известной сцены из «Путешествия из Петербурга в Москву», в которой проезжающий через станцию генерал стесняет прочих проезжающих, ожидающих лошадей: «...повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра» [Радищев 1992: 109]. У Глилки в главе с названием «Трактир в Завидове» (та же станция, что у Радищева) генеральский распорядитель просит путников на станции не шуметь, потому что его превосходительство спит:

— Это француз! — сказали некоторые, и шум не уменьшался... — Мы довольно насиделись молчаками в дороге; здесь всякому вольно говорить и веселиться, — так говорили другие. — Нет, милостивые государи! — сказал наконец хозяин трактира, — этот генерал не француз, а испанец! — Испанец! — воскликнули многие, и шум начал утихать... — Испанец! — повторяли другие. — Ему надо дать успокоиться! — Все заговорили шепотом о твердости духа испанцев, о героической любви их к отечеству и проч. и проч. [Глинка 1990: 110]¹⁴⁷.

Процитированные выше фрагменты относятся к «русской» части произведения Глилки¹⁴⁸. Ситуация же «русский за границей» во время войны вызывает у повествователя «Писем русского офицера» настоящий взрыв религиозно-патриотического экстаза:

Люди ожидали будущего, как страшного суда. <...> Взволновались народы, как волны океана, и все силы, все оружие Европы обратилось на Россию. Бог предал ее на раны, но защитил от погибели. <...> Изумленная Европа, слезами и трауром покрытая, взирая на небо, невольно восклицает: «Велик Бог земли Русския, велик Государь и народ ее! Велик Кутузов, полководец мудрый!» <...> [Глинка 1986: 255]¹⁴⁹.

Мессианские пассажи, однако, вписываются в более общий дискурс, в котором находится место и национальной гордости, и размышлениям

¹⁴⁷ Отметим также, что ситуация, в которой оказался повествователь Глилки косвенно отсылает еще к одному месту книги Радищева: рассказу Ч., который тщетно добивался у подчиненных местного начальника разбудить его, чтобы предпринять меры по спасению людей, терпевших кораблекрушение в Финском заливе [Радищев 1992: 15–16].

¹⁴⁸ Антинаполеоновские кампании — не только Отечественная война 1812 года, но и предшествовавшие ей — как в государственной риторике, так и в литературе рассматривались как общенародное, национальное дело, см. об этом одну из последних работ [Халиуллин 2021].

¹⁴⁹ «Письма русского офицера» анализируются рядом исследователей в контексте ораторской прозы: [Кочеткова 1975: 109]. Т. А. Ложкова, развивая это положение, считает, что Глинка «выстроил мощный ассоциативный фон», который действует на сознание читателей, помогая им выбрать «представление о реальности, обладающее нерушимой целостностью» [Ложкова 2014: 239]. Признавая справедливость этого подхода, мы в своей работе концентрируемся на другом.

об ошибках на пути европеизации России, и ироническому остранению французских нравов.

В описании Парижа (во многом опирающемся на ПРП) Глинка, отдавая справедливость городу в том, в чем он был признанной столицей мира (оперное и драматическое искусство, архитектура и музейные собрания и т. п.), не забывает о достижениях русских. Так, перечисляя имена французских актеров и актрис, он готов сказать, что им «нет подобных на свете, и сказал бы это верно, когда б не видал нашей Семеновой и не знал Яковлева!» [Глинка 1986: 272–273]; ср. также [Там же: 279].

Многие места «Писем» Глинки можно прочесть как завуалированную, а иногда и вполне прозрачную критику европеизации, предпринятой русскими правителями XVIII века и в особенности Петром I:

...люди имеют странный предрассудок искать счастья и дарований в дальних землях тогда, как то и другое всегда почти бывает у них под рукою дома. Людовик в сем случае сделал общую многим государям ошибку: для украшения Лувра выписал он из Рима, с большими издержками, Бернини, которого почитали первейшим художником того времени. Иноземец, славный за горами¹⁵⁰, не оправдал молвы на деле [Там же: 279].

Представьте, что Генрих ходил в бороде, и она не мешала ему быть умным и любезным... Отчего ж предков наших называют варварами именно за то, что они ходили в бородах? [Там же: 292].

В десятом веке, когда славяне имели уже Олега и Ольгу, удивлявших умом своим самых просвещенных греков, невежество во Франции, по собственному признанию их историков, было так велико, что короли и вельможи их едва умели подписать имена свои [Там же: 297].

Сделаем здесь небольшое отступление от текста Глинки. Последняя из приведенных цитат вписывается в мощную традицию «удревнения» русской истории, истоки которой, вероятно, находятся еще в летописных сообщениях о странствиях апостола Андрея Первозванного в Киеве и Новгороде,

¹⁵⁰ Отметим здесь, возможно, случайную, лексическую переключку с ПФ Фонвизина (с их рефреном «славны бубны за горами»). Глинка с Фонвизиным сближает и такой фрагмент: «Попробуй спросить в ужине обеденное блюдо, которое тебе пришлось по вкусу, и тотчас назовут тебя более нежели варваром, более нежели непросвещенным: назовут тебя смешным (*ridicule*). Тогда ты уже совсем пропал: парижанин скорее согласится быть мошенником, нежели прослыть смешным!» [Глинка 1986: 258]. Ср. рассуждение о *ridicule* у Фонвизина: «...*ridicule* всего страшнее. Нужды нет, если говорят о человеке, что он имеет злое сердце, негодный нрав; но если скажут, что он *ridicule*, то человек действительно пропал, ибо всякий убегает его общества. Нет способнее французов усматривать смешное и нет нации, в которой бы самой было столь много смешного. Разум их никогда сам на себя не обращается, а всегда устремлен на внешние предметы, так что всякий, обращая на смех другого, никак не чувствует, сколько сам смешон» [Фонвизин 1959: 2, 473]. Не исключено, что эти переключки не выдают знакомства Глинки с ПФ (хотя оно более чем вероятно), а говорят об использовании общих мест.

а в XVIII веке представленной сначала в трудах В. К. Третьяковского [Клубков 2011; Simankov 2017: 3–6, 36–37] (и в какой-то мере поддержанной авторитетом М. В. Ломоносова, боровшегося с норманнской теорией), а в дальнейшем — Дамаскина (Д. С. Семенова-Руднева), И. П. Елагина, А. С. Шишкова. «Удревнение» базировалось скорее на этимологических изысканиях, чем на критическом изучении источников, и было органично связано с противостоянием галломании. К моменту появления шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге» это направление, можно сказать, развилось в учение о национальном духе:

Русский язык и «русский дух» оказались напрямую связаны с источником цивилизации — Древней Грецией, в то время как европейские державы, и прежде всего столь нелюбезная Шишкову Франция, наследовали преемнику Греции — Риму. <...> Наконец, русский язык в представлении Шишкова был результатом естественного развития церковнославянского, в отличие, например, от французского, родившегося из «испорченной» местными наречиями латыни. Таким образом, русский язык наделялся атрибутами древнего, богодухновенного и естественного. Обращение («возвращение») образованного общества к русскому языку привело бы к возрождению национального духа и восстановлению утраченного культурно-языкового единства нации [Мазур 2004: 200].

Следуя в своих воззрениях за этими ревнителями старины, хотя и не занимаясь этимологией, Глинка не делает вывода о несоответствии петровских преобразований духу русской нации, но, по-видимому, подразумевает, что русские сохранили свой национальный характер *вопреки* им.

Глинка исследует и характер французской нации, объяснением которому у него служит метафора театра. В главе «Взятие Парижа» (которую он называет переводом «любопытной статьи», написанной умершим вскоре французом¹⁵¹) восприятие сражения за Париж в марте 1814 года описывается как сильное театральное впечатление:

Из всех зрелищ, которые были когда-нибудь показаны французам (ибо у них все сделалось театральным зрелищем), любопытнейшее и вместе ужаснейшее было, конечно, зрелище великой битвы, долженствовавшей решить судьбу Франции.

Но вскоре парижане предпочитают этому зрелищу обычные развлечения:

И люди, сетовавшие за час пред тем о судьбе своего отечества, с непритворным восхищением любовались кукольным театром! [Глинка 1986: 299–300].

Независимо от того, действительно ли это был переводной источник или изобретенный Глинкой, он чутко выбрал позицию рассказчика, передав французскому автору право судить о своей нации.

Главное, чему подчинены все эти сделанные вскользь замечания (и свои, и заимствованные), — это раскрытие национального духа русских:

¹⁵¹ Из известных писателей весной 1814 года скончался Л. С. Мерсье — 25 апреля.

Любезные французы! Прелестные француженки! Вы нас пленили, очаровали, просветили, вы офранцузили нас!.. Читайте ж в душах наших усердное, пламенное желание подражать вам всегда! Так, мы употребим все усилия, чтобы общества обейх столиц наших одушевились, украсились умом и духом французским. (Так говорит француз за русских, а истинные русские, верно, повторять будут в утренних и вечерних молитвах своих: «Избави, господи, от мора, потопа, огня и французского духа!..») [Глинка 1986: 307].

Это опять «чужой голос» — перевод одного из «однодневных сочинений», брошюры «Прощание русских с парижанами», продававшейся за 10 су в Пале-Рояль; автор «Писем» берет на себя роль комментатора:

Да мимо идет чаша сия! Нельзя ли обойти нас производством в северные французы? Мы, право, еще не стоим этого. Разница между нами и вами, господа французы, еще очень велика: Москва и Париж свидетельствуют в том! [Там же: 308].

Итак, Ф. Н. Глинка, противопоставляя реакцию русских и французов на вход вражеских войск в их столицы, противопоставляет тем самым французскому духу русский дух, который для него, несомненно, составляет основу для сопротивления и победы над Наполеоном.

Напомним, что отметила Екатерина II как свойства национального характера русских в ответах на вопросы Фонвизина в «Собеседнике»:

— В чем состоит наш национальный характер?

— В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных [Фонвизин 1959: 2, 275].

От признания положительными качеств, присущих национальному характеру, до идеи особого «русского духа» и даже до богоизбранничества, сопоставимого с судьбой народа Моисея, — долгий путь (который на многих этапах повторял путь, пройденный европейскими нациями). Это не просто тема, а основа травелога Глинки. Ср.:

По мере духовного становления автора центральной проблемой, цементирующей повествование, становится проблема национального самоопределения и самосознания. Уже в первой части «Писем» за рассказом о чужеземном «образе жизни» постоянно ощущается мысль о русской жизни и о русских порядках. Во время поездки по внутренним губерниям России Глинку переполняют национально-исторические воспоминания. В стороне от столбовых дорог он ищет и находит островки старинного русского быта, присматривается к национальным «нравам, обычаям, коренным добродетелям», не затронутым «наносными пороками» [Петрунина 1981: 58].

Не будем утверждать, что в итоге его путешественник добрался до представления о превосходстве национального характера русских над другими. Преувеличения были связаны с его особой повествовательной позой. Путешествие Глинки корреспондирует с ПРП Карамзина, что бросается в глаза уже с названия — «Письма русского офицера», — которое не просто дань моде. Очевидно, что в представлении о национальном духе он отталкивается от того, что он увидел в тексте Карамзина. И дело не только в оборотной

стороне модели путешественника-«скифа», выделенной Ю. М. Лотманом в ПРП. Карамзинский ученик обернулся грозным победителем Европы.

Общая концепция «Писем русского офицера» не могла не быть связана с идеями его брата и единомышленника С. Н. Глинки. Переключки есть не только в целом, но и в частностях: так, в издававшемся С. Н. Глинкой «Русском вестнике», рассуждая о культурном контексте «Слова о полку Игореве» (1811, № 7), он приводит обычную для этого издания «утомительную ламентацию <...> о вреде “иноземного влияния” и о “коренных добродетелях” предков» [Киселева 1982: 99], в которую, однако, включен характерный намек на современность, направленный как против подражания Западу в целом, так и против «русских путешественников»:

Известно из летописей, что некоторые наши удельные Князья были в чужих краях, где вероятно заимствовали ложное понятие о рыцарстве <...> Вероятно также, что дальновидные предки наши, усмотря вред от *наносных предубеждений*, воспретили без нужды странствовать в чужие земли (цит. по: [Там же]).

Ф. Н. Глинка не «странствовал без нужды»; в названии проявилась полемичность по отношению к ПРП: повествователь Глинки не праздный вояжер, а «русский офицер», совершающий *вынужденное* путешествие¹⁵². И совершает он его человеком, свободным от «наносных предубеждений». Важное отличие от ПРП состоит в том, что «русский офицер» отправляется в путь уже с идеей о «коренных добродетелях» предков, в то время как путешественник Карамзина любовь к отечеству несет сокровенно и не настаивает при всяком удобном случае на том, что она объединяет всех русских.

В тот же период наполеоновских войн утверждения о религиозности и патриотизме русских как нации были приведены и тонким, правда, не беспристрастным, европейским наблюдателем, оказавшимся в России, — Ж. де Сталь. В книге «Десять лет в изгнании» (“Dix années d’exil”, 1821, издано посмертно) она подает ее именно как национальную черту и находит в ней залог блестящего будущего России:

Деспотические правительства, не ограниченные ничем, кроме убийства деспота¹⁵³, колеблют в умах людей привычные представления о чести и долге, однако

¹⁵² Таких путешественников в своей знаменитой классификации Йорик Стерна называет «путешественниками поневоле». В мемуарных произведениях XVIII века мы сталкиваемся с этим типом путешественника довольно часто: так, он представлен именами А. Т. Болотова и А. Я. Климова [Климов 2011], оказавшихся в Европе в составе русской армии. Интересную параллель к последнему (русскому пленному на прусской службе) составляют в ПРП охраняющий церковь в Потсдаме старик-солдат, забывший родной язык, а в мемуарах И. А. Второва — немец, ставший русским монахом Иосифом [Второв 2015: 464–465].

¹⁵³ А. С. Пушкин позже назовет это выражение, приведя его в трансформированном виде в «<Заметка по русской истории XVIII века>» (1822) («самодержавие, ограниченное удавкой» — с отсечением продолжения фразы), «славной шуткой г-жи де Сталь» [Пушкин. ПСС: 11, 17] см.: [Томашевский, Вольперт 2004: 319; Сталь 2017: 383–386].

на развалинах своей кровавой истории русские сберегли любовь к отечеству и религии, а нация, богатая добродетелями такого рода, еще способна удивить мир [Сталь 2017: 146].

Необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, как негативный противовес национальным добродетелям все-таки отмечается деспотизм. Во-вторых, суждение вписывается в общий характер панегириков Александру I и в то же время не отрицает слухи о причастности его к отцеубийству. В-третьих, Сталь не оригинальна; подобным образом, пророча русским славное будущее, рассуждали (по мнению Фонвизина, с прицелом на личную выгоду) и французские просветители. Но нам важно, что здесь это рассуждение включено в размышление о национальных характерах и судьбах народов Европы. Подспудно Сталь сравнивает русских с французами (в соответствии с публицистическим заданием ее произведения¹⁵⁴):

...за все время пребывания в Российской империи, которую столь несправедливо почитают варварской, я испытывала чувства исключительно возвышенные и сладостные <...> Страны, откуда я выехала, слыли мирными, на деле же правительства их поставляли солдат Наполеону, и путешественник там не мог ступить ни шагу, не предъявляя паспорта и не подвергаясь полицейским преследованиям [Там же: 133].

В Европе повсюду бросается в глаза контраст между богатством и бедностью. В России же, можно сказать, не замечаешь ни того, ни другого [Там же: 140].

...положение у здешних крестьян не то, что у средневековых крепостных. Третьего сословия в России не существует; обстоятельство это влияет весьма неблагоприятно на судьбы литературы и изящных искусств, ибо обычно именно третье сословие способствует развитию просвещения. Однако благодаря этому отсутствию посредников вельможи и простолюдины любят друг друга сильнее, чем в других странах¹⁵⁵. <...> Кроме того, Российская империя столь велика, что деспотизм знати тяготеет над каждым отдельно взятым простолюдином не так сильно [Там же: 143–144].

В последней из приведенных цитат особенно заметно проецирование внутреннего состояния России на положение дел во Франции, хотя здесь обходится без прямого сравнения¹⁵⁶. По словам Сталь, сама структура русского

¹⁵⁴ Восприятие личности Наполеона I, его образ во французской и русской публицистике и литературе — отдельная тема, которой мы здесь не касаемся.

¹⁵⁵ Возможно, в этом месте с весьма комплиментарным мнением о русских нравах соседствует, не отменяя его, намек на возвышение графа И. П. Кутайсова при Павле I. Дворцовая карьера брадобрея, о которой Сталь не могла не слышать в России, во многом повторяла путь Оливье ле Дэна при Людовике XI, за исключением того, что последнего казнил новый государь, а Кутайсов при Александре I подвергся лишь кратковременному аресту.

¹⁵⁶ Оценка положения русских крестьян как завидного по отношению к их европейским собратьям встречается в XIX веке не только у мадам де Сталь. См., например, развернутое рассуждение голландско-бельгийского путешественника Яна Нолета в отчете о поездке по России в 1842 году: «...судьба русских рабов зачастую предпочтительна перед судьбой наших бельгийских деревенских жителей и всегда

общества ограждает государство от потрясений, подобных Французской революции, несмотря на периоды деспотизма (прежде всего подразумевается, очевидно, хронологически близкое ей правление Павла I). Выводы, к которым она приходит, описывая причины таких периодов:

Знаю, что в ответ мне могут напомнить о страшных злодеяниях, какими изобилует история России; однако я склонна винить в них не столько саму нацию, сколько бояр, развращенных деспотической властью, которой они служили орудием либо опорой. Вдобавок политические распри везде и всегда извращают национальный характер <...> [Сталь 2017: 139];

Несколько скверных анекдотов, относящихся к прошлым царствованиям, несколько русских, живших долгами в Париже, несколько острот Дидро внушили французам, что в России нет ничего, кроме развращенного двора, раболепных офицеров и закабаленного народа; это великое заблуждение [Там же: 142], —

согласуются с положениями, высказанными Карамзиным в записке «О древней и новой России», не противопоставлявшим самодержавие и гражданскую вольность, но констатировавшим, что в одних условиях они не мешали друг другу, а в других первое усиливалось за счет второго. В его изложении главным двигателем русской истории предстает «дух народный», и кровавые страницы в ней сменялись обретением государственной гармонии благодаря выбору народа:

...Годунов не имел выгоды быть любимым, ни уважаемым, как прежние монархи наследственные. Бояре, некогда стояв с ним на одной ступени, ему завидовали; народ помнил его слугою придворным. Нравственное могущество царское ослабло в сем избранном венценосце [Карамзин 1991: 25].

Немногое из государей бывали столь усердно приветствуемы народом, как Лжедмитрий в день своего торжественного въезда в Москву... [Там же: 26].

Россияне перестали уважать его, наконец, возненавидели и, согласясь, что истинный сын Иоаннов не мог бы попирать ногами святыню своих предков, возложили руку на самозванца [Там же: 26–27].

Вера, любовь к своим обычаям и ненависть к чужеземной власти произвели общее славное восстание народа под знаменами некоторых верных отечеству бояр [Там же: 28].

предпочтительна перед судьбой наших бедных заводских рабочих. И ничего удивительного, потому что в России нет мелких землевладельцев; помещик, владеющий десятью, двадцатью, тридцатью деревнями, вполне обычен; все, что приносит земля, все, что на его земле дышит и рождается, принадлежит ему; следовательно, в его интересах хранить все эти вещи в чистоте, а также хорошо содержать крестьян и их жилища. Сгорит ли деревня — помещик снова ее отстроит. Даст ли поле в неблагоприятный год недостаточно пропитания бедным слугам? Помещик раскроет щедрую руку — вот и будет тем же рабам Божий Промысел» (цит. по: [Вагеманс 2016: 62]). Впрочем, эти восхваления у Нолета основаны на показаниях русского дворянина — спутника в дороге между Москвой и Петербургом.

Мадам де Сталь проводит границу между предшественниками, опиравшимися в оценке России и русских на отдельные факты, и собой. В своем анализе она руководствуется представлениями о том, что разным народам свойственны разные черты, народы Севера отличаются от народов Юга, европейцы от азиатов и т. д.¹⁵⁷ Соответственно, нет всеобщих законов развития наций:

Русские, как я надеюсь показать в этих записках, имеют куда больше сходства с народами Юга или, скорее, с азиатами, нежели с народами Севера [Сталь 2017: 138].

Русские, обитающие в Петербурге, имеют вид южного народа, который осужден жить на севере и изо всех сил борется с климатом, не согласным с его природой [Там же: 150].

По сей день даже самые родовитые из русских не принадлежат цивилизации в полной мере, одни походят внешне на французов, другие — на немцев, третьи — на англичан, но в душе все они русские и это-то составляет их силу и самобытность [Там же: 157].

...нации этой присущи свойства самые противоположные. Быть может, причина этих контрастов в смешении европейской цивилизации и азиатского характера [Там же: 142].

Среди главных черт русского национального характера она называет мягкость и добросердечность (замеченные именно в простом народе):

Я не нашла в русских ничего варварского; напротив, в их повадках есть нечто изысканное и мягкое, чего не сыщешь у других народов. Ни один русский кучер не пройдет мимо женщины, какого бы возраста она ни была и к какому бы словию ни принадлежала, не поклонившись ей <...> [Там же: 138–139], —

а кроме того, высокий военный дух и религиозность. Сдержанность в общении с иностранцами Сталь объясняет влиянием деспотизма. Чуть ли не как главную черту она отмечает непостоянство русских:

И мужчины, и женщины в этой стране предаются любви с той горячностью, какая вообще им свойственна, однако по непостоянству ума своего легко отказываются от недавних предпочтений. Некий беспорядок воображения не позволяет им ни в одной сфере наслаждаться верностью предмету, первоначально избранному [Там же: 160].

Причину этого мадам де Сталь находит в том, что цивилизация в России пошла по пути, не совпадающему с природным:

...природа и цивилизация у русских существуют раздельно, отчего один и тот же человек предстает перед вами, смотря по обстоятельствам, то европейцем, действующим, кажется, лишь в согласии с законами общества, то славянином, слушающимся лишь голоса самых неистовых страстей [Там же: 165].

¹⁵⁷ О «философической географии» г-жи де Сталь см. статью В. А. Мильчиной [Сталь 2017: 172–198].

Отчасти двойственность проступает в ее восприятии двух столиц: Москва являет собой патриархальный Восток, а Петербург — продукт экспансии на Запад (он же север) народа, южного по своему существу.

Виновника раскола мадам де Сталь не называет, но можно догадаться, что это Петр I. Она и в этом не оригинальна, восходит к формуле обвинения, выдвинутого в адрес Петра в «Общественном договоре» Руссо, тексте, конечно, хорошо ей знакомом:

Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются [Руссо 1969: 183].

Интересно, что, смягчая оценку деспотического правления русского императора, Сталь почти повторяет высказывание А. Н. Радищева в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» (1790), также отмеченное отсылкой к трактату Руссо:

...ему в течение всей его жизни угрожали только русские, тосковавшие по древним обычаям своей страны. Впрочем, восхищение, которое питают к Петру в России до сих пор, доказывает, что он сделал ей много добра, ибо через сто лет после смерти деспотам не льстят [Сталь 2017: 151].	Да не уничижуся в мысли твоей любезной друг превознося хвалами столь властного Самодержавца, которой избил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстит невозможно! [Радищев. ПСС: 1, 150–151].
---	---

Поскольку знакомство мадам де Сталь с текстом Радищева слишком маловероятно, то, отбросив версию чудесного совпадения, можно предположить лишь, что у них был общий и неизвестный нам источник, корректировавший мнение Руссо.

«Десять лет в изгнании» в России хорошо знали, и авторы путешествий 1820–1830-х годов могли иметь в виду это сочинение¹⁵⁸. Но для нашей темы важно другое: наблюдения над травелогом мадам де Сталь показывают, что идеи, отраженные в травелогах 1800–1810-х годов, как русских, так и европейских авторов, развивались в едином поле. Само по себе литературное путешествие в послереволюционной Европе уже немыслимо без размышлений о духе отдельных наций, их сходствах и различиях, напряженного поиска самих себя. Карамзин был среди пионеров данного подхода, но не высказывался прямо, предоставив это право своим преемникам. Что характерно, обобщений о национальном духе нет у собственно карамзинистов: Макарова, Шаликова, Измайлова, но есть у Глинки, от ПРП отталкивающегося.

Поскольку нас интересуют не отголоски общественной жизни того или иного периода в источниках разного порядка, а следы модели в литературной традиции, мы можем обратиться к тем эпизодам рецепции травелогов

¹⁵⁸ О восприятии в России творчества мадам де Сталь в целом см. [Заборов 1972].

XVIII века (на примере ПФ), которые показывают, как смена базовой модели повлияла на восприятие этих текстов.

4.3. Национальная характерология в рефлексии о литературе путешествий. «Письма из Франции» Фонвизина в 1830-е годы

После Карамзина Россия и русские становятся полноправной темой для путешествий по Европе. Классически это проявляется в разговорах со знаменитостями, которым был задан тон в ПРП. Русские путешественники часто начинают с убеждения собеседника в том, что в России его знают и ценят, а также приводят доказательства своей осведомленности, порой попадая в неловкое положение. Так, Кюхельбекер рассказывает Л. Тикку о чтении изданных Тиком же «сочинений покойного Новалиса» и о том, что поэт «не старался быть ясным» и «утонул в мистических тонкостях», на что Тик «спокойно и тихо объявил», «что Новалис ясен, и не счел нужным подтвердить то доказательствами» [Кюхельбекер 1979: 15]. Светский характер бесед отчасти определяет темы: если гость из России, то с ним говорят о ближайшем окружении, о каких-то общих деталях быта знаменитости, но обязательно и о том русском явлении или тех русских людях, которые известны хозяину или могут его заинтересовать. Тот же Кюхельбекер в передаче разговора с немецким поэтом Тидге называет своего однокашника Пушкина «молодым творцом “Руслана и Людмилы”» [Там же: 13] (который превращается таким образом из лично знакомого путешественнику человека в представителя русской литературы), а также отмечает: «Я много рассказывал ему о нашей словесности...» [Там же].

Но о России говорят и с русскими! Сообщая о разговорах с Н. А. Мельгуновым, Кюхельбекер так описывает встречу соотечественников: «...мы разговариваем только и единственно о России и не можем наговориться о ней...» [Там же: 15]. Получается, что русский путешественник как тип говорит о России с собеседниками-европейцами, со встреченными соотечественниками, с адресатами писем. Россия окружает его в Европе. Поэтому для русского путешественника с книгой в руках естественно, что этой книгой становится путешествие русского же автора; такой образ проникает и в чисто вымышленное повествование. Рассмотрим такой случай на примере ПФ.

Реконструируемый нами выше диалог Карамзина с ПФ — эпизод их ранней рецепции. В целом, из этого периода мы не знаем ничего достоверного (кроме наличия нескольких списков писем и, следовательно, читательского интереса к ним). Мало известно и о дальнейшей рецепции. В известных нам травелогах 1810–1830-х годов Фонвизин не упоминается, следов чтения ПФ нет и позже, ни у П. В. Анненкова, ни у В. П. Боткина и других авторов.

ПФ актуализировались в определенном журнальном и общественном контексте. Россия менялась, менялся и ее образ на Западе. За спиной оказались раздел Польши, Французская революция и наполеоновские войны,

патриотический подъем Отечественной войны, восстание декабристов. Вероятно, после 1800-х годов и до 1830-х годов образ «русской Европы», который предлагают ПФ, не был актуален.

В изданиях, по которым читатели знакомились с текстом ПФ до 1830 года, были представлены письма к Панину с ударными фрагментами («рассудка француз не имеет» и т. п.). Полный список ПФ, выполненный в начале XIX века, известен только один. Вероятно, были и другие, но скорее следует предполагать знакомство публики с этими текстами по журналам и сделанным по ним копиям, чем по спискам, которые могли восходить к самому кругу Фонвизина–Паниных. Эту гипотезу, к сожалению, нечем проверить.

В 1830 году вышло первое собрание сочинений Фонвизина, подготовленное П. П. Бекетовым, в его составлении активно участвовали также П. А. Вяземский и И. Г. Салаев [Фонвизин 1830]. Именно как вступительная статья к этому изданию родилась биография писателя, опубликованная Вяземским полностью лишь к 1848 году. Глава биографии о письмах Фонвизина из Франции не была известна публике до этого времени, но и самой публикации писем было достаточно, чтобы подогреть к ним интерес. Вот что писал О. И. Сенковский в отзыве на издание 1838 года [Фонвизин 1838], повторявшее издание Бекетова–Салаева:

Письма фон Визина из Франции, Германии и Италии очень занимательны; везде виден ум наблюдательный, оригинальный, светлый, глубокий. Но, в письмах, фон Визин, к сожалению, держался более книжного слога. Какая разница с «Недорослем»! Несмотря на это, и письма, богатые внутренним содержанием, читаются с большим удовольствием [Сенковский 1838: 65].

В 1839 году появилась повесть М. Н. Загоскина «Госка по родине». Ее герой, от имени которого ведется повествование, Владимир Завольский, пишет, что читал Фонвизина в молодости, в свою бытность в столице:

Как я служил еще в Петербурге, мне попалась однажды весьма любопытная рукопись, составленная из писем или, лучше сказать, путевых записок нашего знаменитого Фон-Визина; он вел их во время путешествия своего по Европе [Загоскин 1898: 388].

Подчеркнем: это говорит Завольский, а не Загоскин. В его очерке «Путешественник» 1820 года Фонвизин не упоминается¹⁵⁹. К тому моменту, как уже говорилось, ПФ были известны только в журнальных публикациях или в списках. Поэтому мы полагаем, что автор «Госки по родине», вполне возможно, познакомился с ними после публикации в собрании сочинений 1838 года, и именно эта публикация, а вовсе не давнишнее чтение, приписанное им своему герою, подтолкнула его к включению в текст повести отсылок к Фонвизину, а также, вероятно, послужила источником текста. Однако действие повести происходит на рубеже XVIII–XIX века, когда вышло две неполных публикации ПФ (в 1798 и 1806 годах), так что в привязке к этому периоду Загоскин оказался точен.

¹⁵⁹ Благодарю Е. А. Ящук за это уточнение.

Фонвизин входит у Загоскина в более широкий круг литературных явлений конца XVIII – начала XIX века, актуальных для темы путешествий.

Во-первых, отправиться в дорогу героя Загоскина толкает литературно-театральное впечатление: увидев средневековую декорацию в опере «Князь Невидимка», он пленяется «полуразбойничьей жизнью феодальных баронов Германии» и решает ехать «на Рейн» [Загоскин 1898: 290]. В этом он похож не на реального путешественника, отправлявшегося за границу если и не по делу, то с определенной программой, а скорее на графа Пронского из «Нового Стерна» А. А. Шаховского. Персонаж пьесы Шаховского, напомним, едет в путешествие, вдохновившись сочинениями, продававшимися при книжной лавке Московского университета, т. е. сентиментальными путешествиями В. В. Измайлова и кн. П. И. Шаликова.

Во-вторых, Завольский ретроспективно оценивает свое поведение при помощи пословицы «Там хорошо, где нас нет», в несколько иной форме зафиксированной в «Горе от ума» (в Москве ему встречается герой с грибоедовским именем Кузьма Петрович). Вообще пословицами многое определяется в оценке событий тремя персонажами: самим повествователем (уже пожилым человеком), главным героем в его молодости и слугой Никанором. Так, рассказ о путешествии начинается с пословицы: «Подлинно правду говорит русская пословица: “скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”» [Там же: 366].

Завольский с Никанором и дальше, путешествуя, общаются пословицами. Например, таможенные порядки в Англии вызывают такой диалог:

- Делать нечего, братец: такой закон.
- Помилуйте, сударь, какой это закон! Где видано ломать чужое серебро?
- Да разве, Никанор, ты не слыхал русской пословицы: «что город, то нор»...
- Конечно, сударь, так! Да только вот что: когда они сами-то ездят по другим землям, ломают ли у них серебряные чайники и молочники?
- Кажется, нет.
- Ну, вот извольте видеть! Так за что ж они-то других обижают?
- Да разве ты, Никанор, не знаешь, что у себя в дому всякий господин и волен делать что хочет [Там же: 370].

Обильное использование средств народного языка для подчеркивания «русскости» путешественника — выраженное фонвизинское начало. Ни у каких других авторов травелогов Загоскин такого позаимствовать не мог. Наравне с упоминанием Достоевским в 33 фразы «рассудка француз не имеет» (см. об этом ниже, в 5 главе), эта особенность повествования Загоскина подтверждает, что афористическая языковая стихия — одно из самых ярких достижений ПФ, которое другие авторы стремились перенять.

«Фонвизинская» пословица упоминается в таком контексте:

Начните уверять московского мещанина, что, например, Лондон более Москвы, он покачает головою и скажет с насмешливой улыбкою: — Помилуйте, батюшка, славны бубны за горами! Где быть городу больше Москвы? Да наша

белокаменная и Царьграду не уступит, так другим бы прочим городишкам и со-
ваться нечего [Загоскин 1898: 309].

ПФ в повести Загоскина встраиваются, таким образом, в ряд произведений о русских скитальцах, из которых только первые два — фонвизинское и ПРП — являются собственно литературными путешествиями, а следующие, не названные им, но легко выявляемые пьесы Шаховского и Грибоедова (а также «Евгений Онегин»), собственно, и задают этот мотив бесцельного странствования.

Еще раз отметим, что с фонвизинским началом у Загоскина сочетается следование еще одной литературной традиции, связанной с путешествиями, — пародийно-критической, и обе эти линии согласуются между собой.

Фонвизин используется как показатель отношения к западно-ориентированной литературе (ироничных высказываний о ней в повести много, например, о «скверной луже, в которой Карамзин утопил свою бедную Лизу» [Там же: 334]), сливающегося с отношением умудренного годами повествователя к своей молодости. В восприятии литературной традиции, как и на сюжетном уровне, Загоскин типологически близок к ситуации «приехал — разочаровался», которой не было видно у Карамзина, зато она была явно выражена у Фонвизина.

На Воробьевых горах Завольский встречает другого представителя «фонвизинского направления» — Крылова, хотя общий контекст располагает к тому, что должен появиться другой москвич, глава сентименталистов Карамзин. В тексте до этого нагнетается использование слов-маркеров, используемых Карамзиным: «болтовня», «не строит воздушных замков» (отсылки к ПРП), «Сьерра-Морена, увенчанная розмарином» (цитата из одноименной повести).

При этом в путешествии героя, когда цитируются письма и Карамзина, и Фонвизина, Загоскин пронизательно находит в них общее критическое начало. Это было свойственно не всем их читателям:

Я простился с моими парижскими знакомыми. Завтра поутру отправляюсь в Бордо. Мой Никанор Федотыч укладывается, а я, от нечего делать, вздумал сравнить мнения двух русских путешественников о характере Французской нации: один из них Николай Михайлович Карамзин, а другой Денис Иванович Фон-Визин. Вот что говорит первый о Французах, с которыми он имел время познакомиться [Там же: 407].

Далее следует цитировавшийся нами выше (в § 2.2) фрагмент ПРП — выдержки из письма к французской даме, подводящего итог пребыванию в Париже, со слов «Скажу огонь, воздух — и характер французов описан» и до слов о том, что революция может переменить характер «веселого, остроумного, любезного» народа:

В заключение Карамзин говорит, что это писано для дамы и для француженки, которая ахнула бы от ужаса и закричала бы: «Северный варвар!» если б он сказал ей, что французы не остроумнее и не любезнее других. Фон-Визин не имел этой уважительной причины рассыпаться в вежливостях, и в письме своем

к графу Петру Ивановичу Панину изъясняется гораздо откровеннее насчет Французов [Загоскин 1898: 408].

Завольский выписывает цитату о том, что «рассудка француз не имеет», но не успеваешь сделать вывод из сравнения, как вмешивающийся слуга Никанор подтверждает оценку обоих путешественников: французы, по его словам, «не все богаты, да все тароваты» [Там же: 409].

Повествователю приходится заключить, что все три характеристики различаются только «в выражениях», а общее в них то, что «из всех европейских народов самый непостоянный, ветреный, хвастливый и легковверный народ есть, без всякого сомнения, народ Французский» [Там же: 411].

Из Фонвизина у Загоскина есть и прямые цитаты, и скрытые. Так, он повторяет слова Фонвизина «По крайней мере, не могут мне инпозировать наши *gens de France*» [Там же: 412], а также второй раз отсылает к самой знаменитой характеристике об отсутствии рассудка, напоминая ее продолжение: «Один остроумный писатель говорит, что для Француза совершенный возраст не существует; он или молод, или дряхлый старик» [Там же: 399]. Возможно, здесь слышен отзвук разоблачения Вяземским цитаты: назвать Фонвизина прямо автором афоризма было нельзя, после того как авторство было возвращено Дюкло.

И далее:

Одна цель этих милых ветренников без бород и с седыми волосами забавляться с утра до вечера. Какое им дело до того, что большая часть их наслаждений основана на самом низком и грязном разврате. Будьте уверены, что нет мерзости, которая не оправдалась бы в глазах Француза, если он только может сказать про нее: *c'est gracieux! c'est élégant* [Там же: 399].

Здесь тоже перепев афоризма Дюкло–Фонвизина, но уже как бы от себя, со знаменательным добавлением “*c'est élégant*”, отсылающим к критике карамзинизма Шишковым, растоптавшим в прах карамзинский *élégance* в «Рассуждении о старом и новом слоге».

Утверждение «Истинный гидалго, какой бы он нации ни был, всегда честен и благороден» [Там же: 430] соотносится с «Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собой одну нацию» Фонвизина.

Подведем итог этого остроумного и легко читаемого, но однослойного повествования: «Завидуем мы французской веселости, уважаем немецкую аккуратность, удивляемся английскому глубокомыслию; но про свой *русский толк* и доброго слова не хотим сказать, а, право, он стоит того, чтоб о нем говорили» [Там же: 379].

Это главный для Загоскина вывод, и Фонвизин выступает в его сочинении свидетелем за «русский толк». В том, что в контексте произведения мнения Фонвизина берутся всерьез как совпадающие с оценкой умудренного летями старика, описывающего приключения своей молодости, не приходится сомневаться. Это видно даже в ироничном примечании-извинении перед читателем в недостоверности описаний, из-за того что за пятьдесят лет все изменилось, и «мы так подвинулись вперед, что теперь списанный

с натуры “Недоросль” Фон-Визина кажется нам карикатурою» [Загоскин 1898: 357]. Б. Е. Ложкин, рассматривавший прозу Загоскина в контексте его мировоззрения, отмечает, что решение героя поселиться в Испании связано с неодобрительным отношением Загоскина к космополитизму молодых людей, выбирающих не те ценности: «Пропагування вітчизняних цінністей, порівняння їхньої глибини з поверховістю та меркантильністю, притамаиними громадянам Заходу, — ось для чого Загоскін писав “Тоску по родине”» [Ложкин 2000: 9].

По мнению Белинского, написавшего подробную и язвительную рецензию на «Тоску по родине» (и на упоминания Фонвизина никак не отреагировавшего! возможно, он не хотел оставлять оппоненту такого сильного союзника), Загоскин

...нападает на карикатурных европейцев, этих жалких крикунов, которые вечно недовольны ничем в своем отечестве и видят хорошее только за границей, а за нею ничего не могут понять, кроме достоинства гостиниц. В нападках г. Загоскина на этих господ видно много энергии и жара, — много истины и соли; но не слишком ли увлекается ими наш талантливый романист? [Белинский 1953: 298].

О «достоинствах гостиниц» мы говорили в предыдущей главе в связи с карамзинским типом путешествия (но здесь, как кажется, критик намекает от противного на тексты Н. И. Греча). Согласимся, что Загоскин действительно «слишком увлекается».

В отличие от его героя, Загоскин вообще не жил за границей (если не считать заграничного похода русской армии после Отечественной войны). Мы видим, что модель «славны бубны за горами» к 1830-м годам — без какого-либо воздействия со стороны забытого к тому времени текста — могла функционировать, быть осмысленной автором, понятой читателем уже и без реальной поездки в Европу. Применительно к «форме» литературных путешествий это отмечалось Т. А. Роболи; применительно к идеологической их стороне становится нам ясно из текста Загоскина. Фонвизин же здесь оказывается образцом и соратником поневоле. Он нигде прямо не говорит о преимуществе национальных, тем более простонародных ценностей перед общеевропейскими, разве только о том, что жить своим умом лучше. Завольский возвращается в Россию навсегда. Фонвизин же после 1778 года совершил еще два больших путешествия по Европе.

Вариант Загоскина — лишь один из возможных путей развития фонвизинской модели. На основании единичного примера говорить о том, что она вырождается, неосновательно, просто модель отрывается от реальной основы.

Одна фраза, использованная Загоскиным в «Тоске по родине», как нам кажется, соотносится с другим, намного более известным эпизодом рецепции ПФ в 1830-е годы:

Я не смел подозревать в пристрастии просвещенного Фон-Визина, а и того менее думать, что автор «Недоросля» и «Бригадира» станет из какого-нибудь невежественного патриотизма унижать иностранцев тогда, как он так ясно видел и так верно описывал закостенелое варварство и безграмотность некоторых русских дворян своего времени [Загоскин 1898: 388].

Загоскин здесь варьирует размышления П. А. Вяземского, но расходится с ним в выводах; возможно (если Загоскин был знаком с текстом Вяземского или слышал о его общем направлении), это отчасти выпад против биографа писателя, для которого «унижение» «просвещенным Фонвизиным» просвещенной французской нации было парадоксом.

Мнение Вяземского дает наиболее важное понятие о контексте, в котором ПФ воспринимались в XIX веке.

Создавая биографию Фонвизина, Вяземский не мог не столкнуться с трудностью — необходимостью согласовать высокую оценку литературного дарования Фонвизина, симпатию к его личности с его высказываниями, которые Вяземский считал недопустимыми:

Должно признаться, что некоторые из наблюдений путешественника и справедливый, а именно те, кои относятся до политического положения Франции. Здесь жестокие обвинения наблюдателя оправданы были последовавшею революциею. Но за то в наблюдениях его о характере Французов, об образе жизни их, и в характеристике знаменитых писателей какая неумеренность, какая оскорбительная резвость в суждениях, сколько желчи и даже исступления! Впрочем, не одним Французам достается <...> В другом месте говорит он: «У нас все лучше, и мы больше люди, чем немцы» [Вяземский. ПСС: 5, 78–79]¹⁶⁰.

«Неумеренность» и «исступление» в «характеристике знаменитых писателей» — это скептические высказывания о французских философах и писателях в фонвизинских письмах. Такая оценка Вяземского исходила как из его общего представления о недопустимости огульной критики, не раз высказанного, например, в «Записных книжках»:

Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда не должно позволять себе излагать о ней судейские приговоры. В рассмотрении тяжбы подсудимого должно держаться уложения, которому он подлежит, а нельзя со своими законами идти на управу в чужую землю [Там же: 8, 9], —

так и из контекста отношения к философам как зачинщикам революции — Вяземскому чуждого, но распространенного, когда он (по-видимому) впервые знакомился с текстом писем¹⁶¹, и все еще влиятельного в 1830-е годы — во время создания биографии.

В его трактовке очернение французских нравов и французских писателей — парадокс ПФ, который был следствием характера Фонвизина, его

¹⁶⁰ Фонвизин говорит это в письмах из другого путешествия.

¹⁶¹ М. И. Гиллельсон относит возникновение интереса Вяземского к творчеству Фонвизина к 1818–1819 годам, а начало сбора материалов для биографии датируется 1823 годом [Гиллельсон 1969: 202].

самобытности. С точки зрения Вяземского, Фонвизин принадлежит к особому разряду умов:

Умы, так сказать, слишком заматерелые, от оригинальности своей или *самобытности* односторонние, *перенесенные в климат, им чуждый*, не заимствуют ничего из новых источников <...> не развиваются, а напротив, теряют силу и свежесть свою, как растение пересаженное, которому *непреренно нужна земля родины*, чтобы цвести и приносить плоды. <...> От сего ли свойства, от того ли, что, осмеяв в «Бригадире» повесу, который, побывав в Париже, бредит им наяву, *побоялся он сам поддаться обольщению* и вследствие сего впал в другую крайность, не менее предосудительную [Вяземский. ПСС: 5, 75; курсив мой. — А. С.].

Между тем, нетипичное для русского образованного человека отношение к Западу — то, в чем Вяземский видит предубеждение самого Фонвизина, — есть, по нашему мнению, его «литературная поза» (ср. не раз упомянутую нами концепцию Ю. М. Лотмана о «литературной позе» Карамзина [Лотман, Успенский 1984: 529; Лотман 1987: 22, 29–32]; о письмах Фонвизина Лотман пишет: «...герой заграничных писем Фонвизина — Стародум, мудрец, Диоген, умудренный годами и жизненным опытом, критическим оком вззирающий на европейскую “ярмарку тщеславия”» [Лотман 1987: 23]).

Обвиняя (и в то же время — оправдывая) своего персонажа, Вяземский отметил множество совпадений отдельных пассажей из писем Фонвизина с высказываниями из книги Ш. Дюкло «Рассуждения о нравах нашего века» (см. выше, § 2.2), выдержавшей во Франции не одно издание. Заимствованные мысли не могли быть тем, что Фонвизин «приметил» сам, между его действительными наблюдениями и мнимо-собственными выводами затесался посредник. Вяземский осуждает Фонвизина не столько за плагиат, сколько за то, что он скрыл французское происхождение источника. Карамзина же, похвалившего французов за критический взгляд на самих себя (пусть его похвалы и слишком тонки, чтобы их можно было принять за просто), легко представить как образец (правда, неназванный именно в этом месте книги Вяземского) корректного обращения с чужой самокритикой.

Итак, Вяземский проигнорировал «позу» Фонвизина; при этом особенное неприятие у него вызвали негативные мнения Фонвизина о «философах». Почему? Во-первых, для него как для «старшего карамзиниста» «существует ряд писателей (Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин), по отношению к которым нарушение пietetа считается, независимо от литературных симпатий, неприличным» [Гинзбург 1986: 30], и то же, несомненно, распространяется на представителей французской традиции XVIII века: Вольтера (которого, правда, Фонвизин не задевает), Д'Аламбера и других просветителей. Во-вторых, существовал определенный контекст высказываний Вяземского.

В предисловии к изданию 1848 года он писал:

...метрическая справка, о летах являющегося ныне в свет сочинения, показалась мне не излишнею, для предупреждения недоразумений, и для правильного

заключения об относительном достоинстве и об относительных недостатках предлагаемой книги. Такие метрические и, так сказать, личные указания, равно нужны как в оценке книги, так и в оценке людей. В суждении о тех и других не должно никогда терять из вида, в какое время книга была написана или человек действовал [Вяземский. ПСС: 5, V].

К нашему сюжету это имеет непосредственное отношение. Прежде всего, дадим эту «метрическую справку»: где, когда и как создавалась биография Фонвизина.

Уже упоминалось, что начиналась она как биография для задуманного П. П. Бекетовым собрания сочинений Фонвизина, но обилие документов екатерининского времени, собранных Вяземским, привело к трансформации замысла. Первая редакция была завершена в конце 1830 года, вторая — в 1832 году. В печать тогда попали только введение (в «Литературной газете») и одна глава (в альманахе «Альциона» на 1833 год), еще несколько — на рубеже 1830–1840-х годов, а полностью «Фонвизин» был опубликован только в 1848 году [Гиллельсон 1969: 202–203, 316–317]¹⁶², также в «Литературной газете» и «Современнике».

Далее опишем позицию Вяземского этого времени. В 1829 году Вяземский написал записку для Николая I, в которой защищал свою общественную позицию — независимость суждений и поведения при одновременной лояльности высшей власти (Л. Я. Гинзбург). Эта позиция — просвещенный монархизм под главенством закона — была свойственна «литературным аристократам» 1830-х годов в целом, но, по-видимому, именно для Вяземского, начиная с кризисного для русской монархии 1830 года (июньская революция во Франции, холера в России, восстание в Польше) было принципиально последовательно ее проводить.

Е. А. Тоддес, проанализировавший идеологическую биографию Вяземского в работе «О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года» [Тоддес 2019: 99–123], увидел в высказываниях Вяземского 1825–1840-х годов «асимметричную реализацию одной из центральных для послепетровской культуры антитез — “Россия – Запад”» [Там же: 102]. У Вяземского «русифильские» и «антирусские» высказывания, как убедительно показывает Тоддес, не были сбалансированными, их сочетание носило парадоксальный характер, и в текстах, имеющих в виду разных оппонентов — русское правительство или западных интеллектуалов, написанных в разных обстоятельствах, — он занимал различные позиции.

Фонвизинское «пророчество» 1778 года «с кафедры» о философах, развращающих общество (и подготавливающих революцию — даже две революции, как знал читатель 1830-х годов), было не столько противно

¹⁶² Обзор рецензий на издание 1848 года см. [Гиллельсон 1969: 318–319; Новонайденный автограф 1968: 105–119]. Подробно история создания «Фонвизина» изложена в: [Новонайденный автограф 1968: 58–69].

принципам Вяземского, сколько вредно тактически, оно могло быть истолковано как знак, что и любая другая, в том числе, отечественная «республика литераторов» так же неблагонадежна.

Это тем более вероятная трактовка его восприятия ПФ, что сам Вяземский в 1830-е годы (несмотря на ряд его эпатажных заявлений, см., например, [Гиллельсон 1974: 122–123]) не предстает таким уж оголтелым западником. В той же книге о Фонвизине он критикует «новое воспитание»:

Я не исключительный поклонник старины; не ослепляюсь предрассудками, которые силятся удерживать поколения неподвижно, как часовых, поочередно сменяющихся на одном и том же месте; не разделяю безусловно страха людей, которые пугаются смелыми движениями времени и просвещения; но притом жалею, что новое воспитание, многосложив обязанности и требования юношества, не умело теснее согласовать необходимые условия Русского происхождения с независимостью Европейского космополитства. Карамзин, защищая Петра Великого от обвинений, что он лишил нас Русской нравственной физиогномии (а впрочем и физической, обрив нам бороды), говорит: «Все народное, ничто пред человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами». Истина возвышенная и прекрасное правило политической мудрости, которое можно пополнить и пояснить тем, что должно быть прежде или более гражданином, нежели семьянином. Но в применении к воспитанию частному, т. е. личному, а не народному, не должно терять из виду, что именно для того, чтобы быть Европейцем, должно начать быть Русским [Вяземский. ПСС: 5, 19–20],

а о самом Фонвизине говорит, что «он везде руководим был просвещенным патриотизмом...» [Там же: 173]. Наконец, отметим, что, по справедливому замечанию М. И. Гиллельсона, «письма Фонвизина из Франции и Италии, с которыми полемизировал Вяземский, оказались крайне злободневны в начале 1830-х годов. Эти послания <...> точно “накладывались” на споры о России и Западе» [Гиллельсон 1974: 125]. В дружеских спорах писателей пушкинского круга 1830-х годов, предшествовавших разделению на славянофилов и западников, выстраивалась — под влиянием идей Гизо, Шлецера — общая канва вопросов, волновавших далее и Гоголя с Киреевским, и Достоевского со Страховым: православие и католичество, исторический выбор (как проблема, а также отдельные этапы этого выбора: деятельность «обоих Иоаннов», воцарение Романовых, реформы Петра I), вопрос национальной самобытности [Там же: 121–126]. Всё это применялось к современной ситуации, после разгрома декабристов в России и революций 1830 года в Европе. Обсуждая Фонвизина, Вяземский и его оппоненты имели в виду общеисторическую проблематику и современную ситуацию одновременно, и в зависимости от своих взглядов на то и другое выбирали позицию.

Позицию Вяземского, по-видимому, не разделил никто из тех, с кем он обсуждал свою книгу. Так, она вызвала отпор со стороны Пушкина [Новонайденный автограф 1968: 37–39]. Хотя Пушкин и писал, что это лучшая из книг, написанных по-русски, исключая Карамзина, он оставил на полях рукописи примечания, во многих из которых выражал несогласие с автором:

«Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на Фонвизина за мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей» [Вяземский. ПСС: 1, LI]. Позицию Вяземского Пушкин, действительно, считал тенденциозной.

В 1968 году В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон опубликовали замечания Пушкина (а также А. И. Тургенева, К. С. Сербиновича, П. А. Плетнева) на полях рукописи Вяземского¹⁶³ и проанализировали их полемику (см. также [Гиллельсон 1969: 202–215]). Так, на отзыв Вяземского о реплике Фонвизина по поводу внешности и поведения д'Аламбера:

Почтешь ли следующий отзыв отзывом литератора: «Из всех ученых более всех удивил меня Даламберт: я воображал лицо важное, почтенное, а нашел прмерзкую фигуру и преподлинную физиогномию!» Имея достаток весьма ограниченный, он и в нем по умеренности желаний своих находил еще избыток и уделял его на благотворения. И что же могло побудить Фон-Визина противоречить таким образом общему мнению, общему убеждению? Приезд в Париж русского полковника, брата одного из петербургских временщиков, к которому явились Даламберт, Мармонтель и другие, для засвидетельствования нижайшего почтения и будто с тем, чтобы чрез него достать подарки от нашего двора [Новонайденный автограф 1968: 38]¹⁶⁴ —

Пушкин отвечает: «Отзыв очень любопытный и вовсе не оскорбительный. — Даламб.<ер> и Кондорсет имели подлинную наружность. Первый был известен своим буффонством» [Там же].

На недоумение Вяземского, вызванное некоторыми формулировками Фонвизина в описании триумфа Вольтера:

Восторги, поклонение, апофеоз заживо, которыми приветствовала его благодарность сограждан, сие торжество, напоминающее народные празднества древней Греции, не возбудили никакого умиления в душе писателя. Крики упоенной публики в театре: vive Voltaire! кажутся ему неблагопристойными, и вместо того, чтобы в лице его участвовать в торжестве, приносящем честь всем авторским заслугам, он, как будто чуждый сим заслугам, дивится, что народ может гордиться своим писателем и приносить ему дань удивления и любви [Там же: 39] —

Пушкин возражает: «Описание Вольтерова торжества в Ф. В. превосходно, и есть исторический документ. О Вольтере Ф. В. везде отзывается не только с уважением, но и с явной симпатией» [Там же]. И автор, и его критик не знали, что вызвавшее спор место — почти дословный перевод из газеты (см. об источнике выше, § 2.2).

¹⁶³ Вацуро и Гиллельсон датируют ее создание весной 1832 года. Помета на рукописи (в которой два писарских почерка) — «Москва, 1832» [Новонайденный автограф 1968: 3].

¹⁶⁴ Цитируемый текст рукописи (в издании Вацуро–Гиллельсона представлен именно он) был исправлен Вяземским в печати, но не принципиально.

Обсуждали, конечно, и лично, и при этом возражения, конечно, высказывались¹⁶⁵. Но общее положительное впечатление от рукописи не дало Пушкину сконцентрироваться на них; в любом случае, других следов этого спора у нас нет. Обращает на себя внимание то, что Вяземский, соглашаясь с отдельными положениями критики, встраивает их в свой текст на правах стилистических уточнений, не отходя ни на шаг от первоначальной концепции.

Но если отзыв Пушкина был хотя неприятен, но поступил по запросу самого автора, то издатель И. Г. Салаев по собственному желанию вступился перед Вяземским за Фонвизина, после того как закончил переписывать его письма для набора (письмо от 15 февраля 1832 года [Новонайденный автограф 1968: 126–127]). По-видимому, ранее Салаев помог изготовить и ту самую рукопись, которую он сдавал в цензуру, забирал обратно и которую потом читали Пушкин и другие. Отзыв Салаева кажется не менее ценным, чем пушкинский, и совсем не потому, что он исходит от представителя «торгового» сословия. Говоря о биографии в целом в превосходных тонах, Салаев счел возможным в единственном месте противопоставить точке зрения Вяземского свою. И это единственное место, которое заставило его возражать автору, — обсуждение писем из Франции.

Салаев защищает мнение Фонвизина о Франции цитатой из самого Фонвизина: достойные люди разных стран составляют одну нацию (на них его выводы не распространяется). «Нетерпимость» к порокам он определяет как причину критики: Франции ли и французского характера, России ли — чего угодно. При этом находит и объективные основания фонвизинских инвектив:

Во-первых: должно заметить, что письма Фон-Визина напечатаны не вполне: некоторые из оных от времени утратились, а в напечатанных многие места исключены цензурою; следовательно, судить об оных слишком строго было бы несправедливо. <...> Исключенные места относятся по большей части к России, где довольно достается и любезному отечеству нашему от его <Фонвизина. — А. С.> нетерпимости. Это обстоятельство может служить ответом на его же слова: «у нас все лучше, и мы больше люди, чем немцы» [Новонайденный автограф 1968: 126]¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Е. О. Ларионова отмечает, что в возражениях Пушкина видны «следы глубоких разногласий с Вяземским в польском вопросе и в оценке французских событий 1830–1831 гг.» [Ларионова 2020: 257].

¹⁶⁶ Макогоненко полагает, на основании протеста наследников Фонвизина против передачи прав на издание от Бекетова к Салаеву, что в созданном издателями фонде материалов находились рукописи, не предназначенные к тиснению [Фонвизин 1959: 2, 634]. Если это и так, то среди них не было ПФ. В цитируемом письме Салаев указывает на цензурные изъятия из *печатного* текста писем. Это говорит о том, что ни он, ни Бекетов, ни Вяземский не имели доступа к оригиналам или другим источникам текста, восходящим к оригиналам. К тому же Салаев переслал Вяземскому *все* имевшиеся у него материалы, о чем сообщает ему в письме от 31 октября 1831 года [РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2712. Л. 2]. Таким образом, к 1830-м годам

...вступаясь за писателей французских, вы между прочим выставляете их бескорыстие, говоря, что Даламберт отказался от обольстительного приглашения прусского короля, предлагавшего ему место в Берлинской Академии, и от приглашения императрицы Екатерины, предлагавшей ему 100 тысяч рублей жалованья <...> Замечания ваши справедливы; но должно заметить и то, что Даламберту известно было, как поступил Фридрих Великий с другом его Вольтером, и не это ли обстоятельство побудило его отказаться от приглашения прусского короля? [Новонайденный автограф 1968: 127].

Высказывания Салаева о заимствованиях из Дюкло весьма любопытны. Во-первых, это еще одно косвенное упоминание неопубликованных (и неизвестных нам до сих пор) писем Фонвизина к Панину, помимо слов Вяземского о письмах, утраченных в пожаре 1812 года и описывавших знакомство с Сен-Жерменом: «...я слышал, будто в письмах автора к Графу Панину, которые не напечатаны, есть места, где он именно объясняет, что сии выписки заимствовал он из Дюкло». Во-вторых, Салаев делает предположение о том, что Фонвизин не рассчитывал сохранить свои источники в тайне:

Не выдаю это за справедливое, потому что сам не видел сих писем; но по крайней мере этот слух не без основания: вероятно, Фон-Визин знал, что княгиня Дашкова, племянница графа Панина, любившая французскую словесность, читала и сочинение Дюкло и могла объяснить дяде заимствования Фон-Визина, которые он скрывал пред ним, выдавая их за свои <...>. Впрочем, это одни догадки, не подкрепленные никакими доказательствами [Там же].

Салаев подходит к письмам Фонвизина как к тексту, составленному с расчетом на читателя, «с оглядкой», при том что Вяземский в своих суждениях о них рубит с плеча. Это показывает нам, что литературная условность писем не была секретом для читателей в 1830-е годы. Вяземский, искушенный в литературных делах никак не меньше издателя, изобразил Фонвизина периода ПФ своим противником, конечно, далеко не из наивности. Однако погруженность в литературные конвенции могла сыграть с ним и злую шутку.

Мы полагаем, что восприятие Вяземским ПФ в какой-то мере зависело от отношения к письму как к литературному жанру, к которому предъявлялись совсем иные требования, чем в эпоху Фонвизина. Так, Вяземский писал А. И. Тургеневу 25 апреля 1830 года, призывая его посылать материалы в «Литературную газету»: «Пиши литературные письма для Газеты нашей и присылай ко мне; пиши, хотя не письма, а так, кидай на бумагу свои литературные впечатления и пересылай ко мне, а мы здесь это сошьем» [Остафьевский архив 1899: 194]. Вяземский полагает возможным объединять отрывки в письма, «литературность» которых будет основана на стиле; единое публицистическое задание не кажется ему обязательным. То, как выражает себя мастер жанра — и есть хорошо. Конечно, эта мерка не подходит для того, чтобы адекватно оценить ПФ.

авторитетных списков, видимо, уже не было нигде, а оригиналы лежали среди бумаг Паниных.

Пушкин же, что видно из его ремарок, прочел письма Фонвизина как исторический документ, поэтому, несмотря на во многом общие с Вяземским литературные представления, совсем по-другому увидел их.

М. И. Гиллельсон писал, имея в виду публицистическую проекцию «Фонвизина», что основа разногласий между Пушкиным и Вяземским была идеологической:

Таким образом, обозначается несколько аспектов, вокруг которых концентрируется полемика. Один из них — явственно звучащий в подтексте — сравнительная оценка социальной жизни России и Западной Европы; Пушкин вслед за Фонвизиным возражает против безоговорочного предпочтения последней, к чему склонен Вяземский. Второй — о этических нормах поведения французских энциклопедистов, и в частности об их взаимоотношениях с Екатериной II; эта проблематика непосредственно связана с вопросом о зависимости или свободе писателя на материале XVIII в. Третий аспект непосредственно корреспондируется с уточнением общественной позиции Фонвизина [Гиллельсон 1969: 213]; ...спор по поводу энциклопедистов является частным проявлением общих расхождений [Там же: 215].

Не будем этого отрицать. Но все-таки кажется, что Вяземского заставили оспаривать высказывания Фонвизина в первую очередь тактические соображения. Он хотел предотвратить использование свидетельств Фонвизина как аргумента той стороной, чья позиция ему была чужда: возвеличивание национального в ущерб общеевропейскому, т. е. предотвратить то, что делает Загоскин. При этом то, что Вяземский предполагал такую возможность, говорит об актуальности для него проблемы национального духа, о том, что эту проблему он в ПФ заметил и попытался объяснить.

Набор общих представлений о русской литературной культуре XVIII века состоит почти исключительно из актов, направленных на сближение с Европой. Вся литературно-просветительская деятельность русских в XVIII веке ретроспективно оценивалась как подражание Западу, по-видимому, вплоть до 1860-х годов (и, соответственно, как отрицание исконно русского). Фонвизин — по той позе, которую он выбрал — на этом фоне стоял и стоит особняком.

Итоги четвертой главы

Рассмотренные в этой главе материалы объединены темой национального характера. Интерес к ней формируется в русской литературе путешествий с конца XVIII века. Сначала в ПФ высказывается стремление его описать; затем в ПРП даются многочисленные отзывы о тех или иных чертах представителей разных наций, в наиболее суммированном виде — об англичанах, чей уклад жизни был предметом особого внимания Карамзина. Однако «воображаемое сообщество» собиралось вокруг идеи национального духа, вполне проявившейся только в начале XIX века, и первоочередное внимание было уделено произведениям этого времени.

На пороге помещения национального духа в эпицентр повествований о путешествиях находятся, хотя и не показывают этого шага, «Письма из Лондона» П. И. Макарова. В них явно и скрыто сопоставляются две нации — французы и англичане. Являясь в какой-то мере выражением вытеснения галломании модой на все английское, «Письма из Лондона» дают сопоставление на уровне повествования. Двойственность, контрастность английской жизни, показанная в них, отсылает к парадоксу Стерна о серьезности французов, соотносится с рядом высказываний в ПРП, но опирается при этом на факты и сведения, почерпнутые во время путешествия. Здесь нет проникновения в национальный дух как организующее начало, но есть условия для его возникновения.

Из путешествий 1810-х годов национальное самосознание ярче всего проявилось в травелогe Ф. Н. Глинки, который писался и издавался с начала войн антинаполеоновской коалиции и был полемически заострен против «французского духа» и в культурном, и в политическом выражении. В «Письмах русского офицера» на первый план выходит утверждение русского национального характера как базирующегося на любви к отечеству и православии. Те же свойства отмечала и мадам де Сталь в описании России, данном в ее воспоминаниях о годах «изгнания» из Франции. Совпадение свидетельствует не о наличии этих свойств в действительности, а об общем идейном поле, смене ориентиров у авторов путешествий.

В связи с нашей темой мы также рассмотрели, как ПФ Фонвизина стали материалом рефлексии о русских скитальцах в повести М. Н. Загоскина «Тоска по родине», герой которой совершает путешествие в начале XIX века. Взгляд из 1830-х годов на национальное самосознание этой эпохи требовал перспективы. Обращение к более ранней традиции выявляло, казалось, константы русского отношения к Европе. Спор ориентированных на национальный дух и историческое мировоззрение отразился в те же 1830-е годы в полемике по поводу произведения Фонвизина между А. С. Пушкиным и П. А. Вяземским. Мотив «пристрастия» в описании Фонвизиним европейцев предполагал, исходя из позиции оппонентов, разные трактовки: для Вяземского это свойство самобытного ума, для Пушкина и выступившего независимо от него И. Г. Салаева — исторический документ.

В 1860-е годы, в период, когда Достоевский писал ЗЗ, понятие «нация» и в европейской, и в русской общественной мысли приобретало уже иной характер, поэтому связанный с ними материал будет рассмотрен отдельно в следующей главе.

ГЛАВА 5

«РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ» И «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЕВРОПА» В «ЗИМНИХ ЗАМЕТКАХ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Зимние заметки о летних впечатлениях» (ЗЗ) были опубликованы в начале 1863 года в февральском и мартовском номерах издаваемого братьями Достоевскими журнала «Время» (поскольку рукописей не сохранилось, а издание журнала оборвалось после апрельского выпуска, нельзя точно сказать, предполагалось ли продолжение)¹⁶⁷. Формально (в рамках журнального материала) они представляли собой отчет о поездке Достоевского в Европу летом 1862 года.

ЗЗ впервые в художественном творчестве Достоевского концентрированно ставят одну из центральных для него проблем — Россия и Европа, причем акцент сделан на смене отношения России к Европе. В той или иной степени, эта проблематика будет затронута во всех его последующих сочинениях (начиная с «Записок из подполья»¹⁶⁸), в романном творчестве («Игрок», «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы») и в публицистике (главы из «Дневника писателя», Пушкинская речь). Ее трактовка будет также повторяться, и она общеизвестна: Развитие России обращено к будущему, к ее великому предназначению, которое будет обретоено после переориентации образованной части нации с подражания Западу на свою «почву», т. е. без возвращения к идеалам, оставшимся живыми в простом народе. Достоевский полагал, что этот процесс не будет простым и успех его не гарантирован в силу исторически обусловленного раскола между высшим слоем и народом — но его возможно преодолеть, когда все слои общества объединит идея собственного национального пути. Поскольку в России она находится на этапе становления, дать конкретные предписания невозможно, только некоторые творцы, как Пушкин, могут угадать ее силой художественного гения. Мироззрение, обычно определяемое как почвенническое,

¹⁶⁷ Отклик на ЗЗ в печати не появился, хотя после журнальной публикации они вышли в составе изданного у Ф. Стелловского Полного собрания сочинений писателя [Достоевский 1865] (учитывая широко известную историю взаимоотношений Достоевского с издателем, предположим, что эта публикация ЗЗ была вызвана коммерческим расчетом, а не популярностью у читателей). Журнальные критики с 1861 года активно писали о «Записках из Мертвого дома» [Белов 2011: 66–67], ЗЗ прошли на этом фоне незамеченными, несмотря на то, что вышли не в «вялый» летний, а в «горячий» зимний сезон, когда подписка обыкновенно шла полным ходом и редакция стремились выдать лучшие публикации (благодарю А. Е. Козлова за указание на это обстоятельство журнальной жизни).

¹⁶⁸ См. [Достоевский 2016: 432–433, 492] (комм. Е. И. Кийко, Н. Г. Михновец).

оформляется именно в период активной журнальной деятельности Достоевского начала 1860-х годов, первым его манифестом стало «Объявление о подписке на журнал “Время”» (1860), в котором говорилось о «слитии образованности и ее представителей с началом народным и приобщении *все*го великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни...» [Достоевский. ПСС: 18, 35; курсив мой. — А. С.]¹⁶⁹. Продолжение размышлений о будущем России в рамках концепции «почвенничества» отмечается во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861)¹⁷⁰. Подобно этим и другим журнальным выступлениям Достоевского ЗЗ находятся на пересечении публицистики и беллетристики¹⁷¹, решают сиюминутные журнальные задачи и одновременно аккумулируют становление поэтики и философии автора.

Достоевский к тому времени уже получил признание и в литературной среде, и у читателей, прежде всего, как автор «Записок из Мертвого дома». ЗЗ отчасти ориентируется на те же, что в «Мертвом доме», приемы и круг тем. В то же время, читатели привыкли и к ипостаси Достоевского — публициста «Времени», и в ЗЗ писатель активно использует приемы фельетонного повествования¹⁷². Сопоставляя ЗЗ с «Мертвым домом», нельзя обойти вниманием межжанровый диалог между травелогом и воспоминаниями¹⁷³. Там свобода, даже произвол перемещения во времени, здесь — в пространстве. При этом на самом деле мемуарист ограничен событиями, а путешественник маршрутом. «Мертвый дом» описывает тюрьму — полностью закрытое пространство, из которого нет выхода (но выходит, как мы знаем, мемуарист), а ЗЗ — современную Европу, у которой нет выхода из своей истории. При взгляде на ЗЗ как на произведение, написанное после «Мертвого дома», поражает, что здесь Достоевский как бы забывает о том, что сам изобразил без прикрас в галерее русских типов в «Мертвом доме». Повествователь ЗЗ ограничен иным опытом — опытом «русского европейца».

¹⁶⁹ Литература вопроса огромна, мы в общих чертах напоминаем только важное для дальнейшего рассуждения. См. о почвенничестве и Достоевском прежде всего: [Долгинин А. С. 1940; Осповат А. 1980; Де Лазари 2004].

¹⁷⁰ Возможно, именно отсылкой к данному циклу следует объяснять оговорку в ЗЗ: «А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать» [Достоевский 2016: 54].

¹⁷¹ Поскольку ЗЗ — единственное из публицистических выступлений Достоевского — были включены в 1865 году в состав собрания сочинений писателя, что, во-первых, отчасти снимает вопрос о их завершенности, а во-вторых, позволяет относить их к художественному, а не критическому наследию Достоевского.

¹⁷² «Фельетон за все лето» — подзаголовок при первой публикации ЗЗ. В обстоятельном исследовании истории журнала «Время» В. С. Нечаева обратила внимание на связь ЗЗ с текущими публикациями журнала (правда, описывала только переключки в «социальных» темах — о положении рабочих и т. п. [Нечаева 1972: 159]). А. Н. Першкина в диссертации о «Времени» сопоставляет ЗЗ с опубликованными в январском номере путевыми заметками П. А. Бибикова [Першкина 2013: 141–142].

¹⁷³ Благодарю И. П. Смирнова за идею этого соположения.

Достоевский прекрасно видит все недостатки России — но всё это «забыл», передав в ЗЗ голос другой своей ипостаси, потому что здесь у него другая цель. Особенности точки зрения повествователя на конкретном примере (при взгляде на Кельнский собор) мы разбирали выше, в § 3.3.

Если Лондон ЗЗ чем-то напоминает Лондон, изображенный в ПРП, то Париж имеет сходные черты с — Петербургом и в ранних «Белых ночах», и в написанных позже «Преступлении и наказании» и отчасти «Идиоте». Та же духота (буквальная — описываются «летние впечатления») и бездуховность, от которых укрываются французские буржуа и русские собственники, в садах с «благодетельными фонтанчиками»¹⁷⁴, в вагонах, в питейных заведениях, в уголках собственной совести. Это тема скорее для эссе или исследования «городского текста» — то ли «петербургского» (в той его части, что сближает все столицы¹⁷⁵), то ли собственно Достоевского, транспланируемого из одного «умышленного» пространства (не вымышленного, но и не реального) в другое.

ЗЗ окружены широчайшим историческим контекстом. Год путешествия — 1862-й — в истории России первый пореформенный год, когда на долгое время закрепились позиции участников общественно-политических споров. Неназванные в тексте ЗЗ, но состоявшиеся во время этого путешествия визиты к Герцену были связаны с поиском точек соприкосновения в вопросе о будущих отношениях высшего класса с освобожденным крестьянством. То, что народу в ЗЗ дается слово, — это тоже знак времени. Год публикации ЗЗ — 1863-й — принес известия о польском восстании, начавшемся в январе и связавшем проблему нации с самыми основами существования империи. Взаимоотношения с другими нациями, если их конструировать по принципу, на котором должны были строиться, согласно тексту ЗЗ, отношения внутри русской нации, держатся на элементе братства, что включает как восстание, так и его подавление.

Наконец, небольшая на фоне других, но яркая деталь этого фона, — не собственно историческая, а связанная с исторической датой, — могла бы стать поводом для реконструкции в области исследования канона. В честь тысячелетия Руси (а точнее, летописной даты призвания Рюрика) в сентябре 1862 года был открыт памятник в Новгороде с нанесенными на него барельефными изображениями пантеона выдающихся исторических деятелей, в том числе писателей и художников. Как сам памятник, так и список увековеченных им лиц широко обсуждался, авторы памятника консультировались с историками и писателями (конечно, не с Достоевским, но он не

¹⁷⁴ Важный контекст образа отдыхающих буржуа в ЗЗ раскрывает С. Л. Фокин, сопоставляя его с впечатлениями современников от «Завтрака на траве» Э. Мане [Фокин 2013: 263–266].

¹⁷⁵ См., например, о механизмах усвоения «петербургского текста» в «киевском»: [Булкина 2019] или сопоставление «петербургского» с «венецианским»: [Меднис 1999: 12–13].

мог не быть в курсе событий¹⁷⁶). В ЗЗ, сопровождая свой анализ провокативными высказываниями («не подумайте, что я о русской литературе пишу»), Достоевский приводит свой пантеон выдающихся литераторов: Фонвизин, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Белинский, Гоголь, Некрасов, Тургенев (выключая за скобки тоже упоминаемых, но в особом ключе Карамзина и Чаадаева, с одной стороны, и Козьму Пруткову и Вс. Крестовского — с другой). Кроме Белинского и живых тогда Некрасова и Тургенева остальные имена в ЗЗ совпадают с «общенациональным» набором, хотя некоторых недостает (например, Ломоносова). Зато не упоминается ни один правитель России, даже Петр I, хотя уж его присутствие в тексте, обсуждающем отношение России к Европе, было бы более чем оправдано. Имя Екатерины II встречается только в форме эпитетов «екатерининский дед» и «екатерининское время» [Достоевский 2016: 56]. В Парижский Пантеон повествователь ЗЗ также заходит совсем не случайно: его привлекают туда имена Вольтера и Руссо, стоящих у истоков современной французской культуры, и их восприятие. Эти детали повествования ставят вопросы о том, кто и почему включен Достоевским в его «русско-европейский» канон или отсутствует в нем.

Примеры можно продолжить, но мы не сможем охватить все темы¹⁷⁷. Для нашей работы главное — использование моделей, разрабатываемых в травелогах, и именно специфическое наполнение данных моделей в самих текстах и во взглядах на них. ЗЗ — квазитравелог, антитравелог и метатравелог одновременно. Тема ЗЗ, развивающаяся из предшествующих, рассмотренных нами, и объединяющая их — «русский европеец». Нашей задачей будет рассмотреть, *как конструируется этот образ в ЗЗ и каковы его прагматика и функция.*

5.1. Предшественники «русского европейца» и русский европеизм в травелогах

«Русский европеец» как понятие истории культуры в целом — слишком большая и сложноорганизованная проблема, чтобы ее можно было кратко описать (см. [Кантор 2001]), даже применительно к фикциональной

¹⁷⁶ Еще одна сторона торжеств, о которой Достоевский мог быть осведомлен лишь из неофициальных сообщений, — фрондерство новгородских помещиков, не желавших встречать царя по церемониалу в мундирах, что обернулось «комедийным переодеванием» с последующим разоблачением [Майорова 2002: 320]. Нельзя не отметить параллель между этим «нелепым и быстро элиминированным жестом» [Там же] и рассуждением о «ряженных» славянофилах в ЗЗ. Исследовательница справедливо указывает на отголоски обсуждений памятника в описании литературного праздника в «Бесах» [Там же: 321] (см. также комм. Т. И. Орнатской к «Бесам» [Достоевский. ПСС: 12, 314]).

¹⁷⁷ ЗЗ посвящено много работ самых разных направлений, мы будем обращаться лишь к тому, что связано с темой нашего исследования. Обзор современных западных исследований ЗЗ см. [Михновец 2014].

литературе [Маркович 1996]. Она интересует нас только в преломлении литературы путешествий, причем в основном произведений, упоминавшихся в предыдущих главах. Однако без краткого пояснения к нашему пониманию этого термина обойтись невозможно.

Первое, что обращает на себя внимание в нем, — это парадокальность, заложенная в самой форме: словосочетание «русский европеец» должно было бы означать уроженца какой-либо из европейских стран, живущего в России, или его потомков (по аналогии с «русский немец» и т. п.). Во-вторых, оно лишается смысла, если считать, что Россия — часть Европы (в географическом, политическом, ментальном или культурном отношении). Именно так обстояло дело, когда оно появилось на свет в середине XIX века. И так, ни этнический, ни цивилизационный критерий для выявления специфики этого образа не подходит, и нами в расчет не берется.

Если рассматривать «русского европейца» через русский европеизм, то последний, по словам современного исследователя — это «умонастроение, носитель которого ощущает Европу (не в меньшей степени, чем Россию) своей духовной родиной, испытывает внутреннее притяжение к ней, достаточно органично воспринимает реалии ее жизни, европейски образован, смотрит на мир через призму европейской культуры» [Кузьмина 2018: 12–13]. Однако такая трактовка, помимо того, что дает определение через определяемое слово, слишком расплывчата. Г. А. Тиме предлагает рассматривать явление русского европеизма «не как сложившийся феномен, но как не прекращающийся духовный диалог и диалектический процесс», проясняющий понятие «свободная христианская личность», каждая из составляющих которого как бы раздваивается, требует конкретизации [Тиме 2003: 250]. Этот философский (и даже богословский) подход также не отвечает задачам поиска моделей и описания их функционирования, поставленным в нашем исследовании. Зато предложенное Тиме написание «русский-европеец» через дефис (расходящееся с традицией, а потому нами не заимствуемое), помогает охватить сущность явления в рамках нашей модели.

«Русский европеец», на наш взгляд, по крайней мере показанный в травелогах и литературе, их окружающей (критика, пародии и т. п.), есть феномен, используемый и необходимый для выражения *субъекта литературного высказывания*, обращенного адресно к русскому реципиенту. Коммуникация, в которой он участвует, предполагает отрефлексированную трансляцию идей и ценностей, сформированных внутри европейской культуры и общественной мысли. Сам он при этом не обязательно «смотрит на мир через призму европейской культуры», чем, в частности, отличается от «западника»; он может быть как вымышленным героем произведения, так и повествователем, максимально близким к инстанции автора.

С этой точки зрения, например, критический голос Белинского в большинстве его выступлений, в особенности после гегельянского поворота, можно охарактеризовать как представляющий «русского европейца», то же относится и к Чаадаеву «Философических писем». Повествователь фонвизинских ПФ, скептически настроенный по отношению к европейскому

порядку, не может считаться «русским европейцем», не будет им и Екатерина II (могла бы быть как автор «Наказа», но это — не литературное произведение, хотя и стало в какой-то мере участником литературного процесса; его прагматика и субъектность относятся к иной области). Попробуем испытать эту рабочую гипотезу применительно к травелогам.

До Карамзина говорить о «русском европейце»-путешественнике и о русском европеизме в путешествиях едва ли приходится. При этом связь ПРП с европеизмом несомненна. В ПРП можно найти определение «беспечный гражданин вселенной» [Карамзин 1984: 439]. В нем мы видим сочетание модели «наивного путешественника» с только появляющимся «русским европейцем»: «беспечность» — это качество первого, а «гражданин вселенной» — отсылка к идеям космополитизма Вольтера и Канта (например, в «Идее всеобщей истории...» 1784 года). «“Европеизм” оставался ведущим признаком позиции как самого Карамзина, так и карамзинского лагеря в целом, на всем протяжении их сложной эволюции» [Киселева 1995: 66], и европеизм ПРП интуитивно понятен, однако его нужно рассмотреть в образе повествователя. Исследователи давно отмечают двойственность образа путешественника, созданного Карамзиным:

«В России, перед русским читателем, Карамзин предстал в утрированном виде “европейца”. <...> Однако в кругу своих европейских знакомцев Карамзин играл подчеркнутую роль “русского”» <цитируется работа Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского о ПРП. — А. С.>, — эти слова отнесены к реальному Карамзину, но их можно переадресовать и герою-рассказчику, который осведомленностью в европейской словесности, пропитанностью европейской культурой, — европеец, а своим широким приятием окружающего, открытостью к нему — русский... [Бухаркин 1999: 13].

Для нашего понимания образа «русского европейца» важно подчеркнуть, что повествователь ПРП участвует в диалоге между русским путешественником (а не сентиментальным путешественником или путешественником вообще) и русским адресатом, при этом передает сформированные европейской культурой понятия и образы. Всё это, как мы стремились показать в главе 3, напрямую присутствует у Карамзина, но далеко не в полном объеме — у его последователей.

Если же говорить о современниках, не связанных с Карамзиным, то можно рассмотреть в качестве примера еще два произведения. Первое — это «Записки» А. С. Шишкова о плавании из Кронштадта в Константинополь [Шишков 1834]¹⁷⁸. По мнению Л. Н. Киселевой, которое мы разделяем, они

¹⁷⁸ В 1834 году была издана вторая, сильно переработанная редакция его первоначального произведения, которое, по всей видимости, создавалось на рубеже 1770–1780-х годов и с ошибками было опубликовано в 1897 году в «Русской старине», см. [Киселева 1995: 71] (там же см. характеристику дошедшей до нас рукописи, опираясь на которую Л. Н. Киселева заново открыла этот текст).

...никак не оправдывают ожиданий яркого антиевропеизма, возвеличивания «своего» — русского — в противовес огульному осуждению «чужого» — европейского, — ожиданий, которые могли сложиться на основе знакомства с публицистикой Шишкова 1800–1810-х гг. В эпоху полемики о языке Европа присутствует в сочинениях Шишкова как идеологическая конструкция, член априорно заданной оппозиции «свое — чужое» с заранее расставленными оценками. В «Записках» перед нами проходят живые картины, никак в схему не вменяющиеся [Киселева 1995: 70].

Создавая «Записки», Шишков перерабатывал материал первоначального произведения, вычеркивая из него целые эпизоды описаний (например, посещение достопримечательностей Копенгагена, впечатления от английского театра в Портсмуте и т. д.), отказываясь от жанровых признаков сентиментального травелога (обращений к адресату — «любезному другу», дат «писем» и др.). Поэтому, хотя «характер описания европейских впечатлений и общий положительный тон отзывов о Европе не меняется» [Там же: 76], позиция заинтересованного и непредвзятого наблюдателя Европы более явно просматривается в ранних «письмах».

Впрочем, это еще не «русский европеец». Адресант — русский морской офицер, это явно из описываемых целей путешествия; но вот об адресате мы ничего не знаем¹⁷⁹ кроме того, что он «никогда морской жизни не чувствовал» [Шишков 1897: 416] и имеет понятие о «привыкших к московским веселостям щоголях» [Там же: 410]. Доминирующая эмоция «писем» — скука, так как отлучки на берег до прибытия в Италию скоротечны, и большую часть времени повествователь проводит в море на корабле: «Извини меня, что я давно не исполняю того, что от меня требует и моя к тебе дружба, и собственная моя скука»; «...мои обстоятельства и моя скука, невзирая на безнадежность в переслании сего письма <...> понудили меня действительно приняться за сие упражнение»; «...в такой-то находясь скуке, пишу я к тебе это письмо» [Там же: 409, 410]. Именно эта мотивировка определяет развернутую путешественником коммуникацию, а явления европейской жизни играют роль развлечений в пути, а не культурного трансфера. Наиболее яркий эпизод в этом смысле — карточная игра в Ливорно со спутником, французским маркизом — вошел только в «Записки» 1834 года, в первом тексте ее нет. Пользующаяся вниманием исследователей сцена [Киселева 1995: 69–70; Безродный 2021: 104] по-своему оттеняет структуру ЗЗ, в которых не нашлось места ни карточным играм, ни рулетке, хотя, как нам известно, биографический автор заезжал в игорные центры. Но главное в этом эпизоде и подобных ему, что текст Шишкова показывает стремление заинтересовать читателя и не дает сигналов к его интерпретации как к произведению, транслирующему какие-либо идеи и ценности. Из рассмотренных нами моделей он ближе всего к парадигме «встречи

¹⁷⁹ Что не мешает иногда относить первоначальную редакцию «Записок» «к интимно-дружеской разновидности бытового письма», поскольку они «представляют собой личную переписку автора с близким другом» [Тополова 2014: 133].

с Европой», и путешествий, подобных этому, было множество; на их фоне понятно, что ПРП дают голос именно «русскому евопейцу».

Заканчивая разговор о Шишкове, заметим, что в «Рассуждении о старом и новом слоге» он использует приемы, напоминающие нам о Фонвизине (прежде всего смеховые), и предстает, таким образом, еще одним «юродствующим» предшественником повествователя ЗЗ. Открывая дорогу в том числе и Достоевскому, Шишков инициировал полемику между «славяно-россами» и сентименталистами своим «лингвистическим» произведением с политической подоплекой. Существенная часть его претензий была связана с проблемой отношения русских к Европе (только к современной европейской цивилизации, но не античному наследию, признававшемуся своим), и именно в нем он приложил руку к созданию «русского евопейца» — правда, в качестве оппонента. Не того пародийного оппонента, который выведен в «Рассуждении» и коверкает одновременно русскую и французскую речь, но оппонента, конструируемого самим читателем, лишь отчасти воплотившегося в критиках на Шишкова, — и угадываемого за ним карамзинского направления, которое наиболее последовательными сторонниками Карамзина связывалось далеко не только с реформой слога, но и действительно с набором общеевропейских и общечеловеческих ценностей.

Другое произведение, которое мы также лишь кратко рассмотрим — это «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. В нем, пожалуй, впервые — и очень резко — воплотился европеизм как принятие западных ценностей, к которым «не в последнюю очередь относятся идеи революционных и демократических преобразований» [Тиме 2003: 249] (преимущественно это делают их противники). Конечно, «Путешествие...» Радищева — полностью фикциональное, тем не менее, его иногда включают в историю литературы путешествий в России на правах «подстрекателя» жанра [Шёнле 2004: 21].

С Путешественником Радищева, на первый взгляд, всё ясно: используя разножанровые приемы (сатиры, утопии, журнальной статьи, проекта-записки, анекдота и т. п.) для описания существующего положения дел в России, якобы увиденного воочию на главном маршруте страны, он одновременно предлагает сценарии переустройства во многих областях общественной жизни. Эффект тотальности создается не за счет радикальности называемых мер, но именно благодаря всеохватности: общее государственное устройство, цензура, образование, положение крестьян и т. д. Опирается он при этом на идеи европейских мыслителей: Гельвеция, Рейналя, Мабли, Руссо, Гердера и др. Загвоздка только во второй стороне коммуникации. Если адресатов отдельных частей «Путешествия...» можно определить, как условных и конструируемых, но понятных, то остается неясным, кем должен быть идеальный реципиент-интерпретатор всей структуры. Прагматика «Путешествия из Петербурга в Москву» с самого начала и до нашей поры вызывает разноречивые суждения: от «сатирического воззвания к возмущению» (Пушкин) и «дерзкой» книги (из стихотворения, приписываемого Державину: «Езда твоя в Москву со истиною сходна, / некстати лишь

смела, дерзка и сумасбродна») до высказывания самого автора, имеющего статус самооправдания на допросе (что не дает, однако, права сбросить его со счетов), что он писал книгу «ни с каким другим намерением, как чтобы прослыть хорошим писателем» [Процесс Радищева 1952: 167]. Не так давно предложенное решение: «...главным принципом, определившим оформление структуры “Путешествия”, стал *монтаж* <курсив мой. — А. С.>, который был в наибольшей степени характерен для периодических изданий 1780-х годов» [Стенник 1993: 15], — не снимает вопроса о том, кому предназначался такой «просветительский журнал». Очевидно, что «русским европейцем» повествователя «Путешествия из Петербурга в Москву» можно назвать лишь с определенной натяжкой.

Итак, «русский европеец» (по крайней мере, в травелогах) — это нововведение Карамзина, имевшее корни в XVIII веке и параллели в порубежную эпоху. Контекст, пусть и фрагментарный, 1770–1830-х годов позволяет установить, что это явление было органичным для русской литературы путешествий и опиралось в том числе на рассмотренные в предыдущих главах модели описания проблемы «Россия и Европа».

Признаки «русского европейца» можно успешно найти в произведениях очень многих авторов между Карамзиным и Достоевским. Далеко не всегда это будут авторы «западнического» направления. Так, упоминавшийся уже Кюхельбекер, творчество которого в целом относят к «архаизму», в своем «Путешествии» создает повествователя, который ведет себя как типичный «русский европеец». Александр Тургенев, Боткин, Герцен и др. в путешествиях, Иван Тургенев и тот же Герцен в фикциональном творчестве создавали образы «русских европейцев» (вплоть до фантастического путешествия Веры Павловны Кирсановой в Новую Россию в ее четвертом сне из «Что делать?», с поправкой на пол героини). Этот ряд не добавляет принципиально новых черт в наше понимание данной модели.

На наш взгляд, новаторство Достоевского в модели «русский европеец в Европе» заключается в том, что он отделяет «русского европейца», превращающегося в ЗЗ в объект обсуждения, от собственно путешественника, т. е. того голоса, который ассоциируется с субъектом повествования. Попробуем показать, как именно он это делает.

5.2. «Русские европейцы» в «Зимних заметках...»

В ЗЗ проблема «Россия — Европа» рассмотрена прежде всего в связи с типом «русского европейца»: не столько Европа показана его глазами, сколько самый тип анализируется, подвергается исторической и литературной (само)рефлексии¹⁸⁰. «Русский европеец» объявляется продуктом взаимодействия

¹⁸⁰ Ср.: “Leskov <в его травелогe. — А. С.> and Dostoevskii draw attention, not only to the physical and symbolic boundaries between Russia and western Europe, but also to social, ethnic, confessional, and geographic distinctions within Russia itself” [Dwyer 2011: 68].

образованных русских с Европой, ошибочно построенного как подражание тому, что больше не может служить образцом¹⁸¹. Если стремиться найти точки соприкосновения позиций повествователя и автора, то необходимо привлекать переписку Достоевского и другие документы этого времени.

Таких источников немного¹⁸². Единственное сохранившееся письмо Достоевского из путешествия 1862 года обращено к соратнику по изданию «Времени» Н. Н. Страхову (от 26 июня / 8 июля, из Парижа). Из него следует, что Достоевский за границей как будто стремится не к заграничным впечатлениям, а больше — к беседе с русским человеком и о России:

Господи! Как подумаешь, сколько еще не сделано и не сказано, и потому сижу здесь и рвусь отсюда, из так называемого прекрасного далека, хоть не телом, так духом к Вам, в Россию. Всякий, всякий должен делать теперь и, главное, попасть на здравый смысл¹⁸³. Слишком у нас перепутались в обществе понятия [Достоевский. ПСС: 28–2, 26].

И далее: «Еще, голубчик Николай Николаевич: Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! <...> чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов» [Там же: 27–28]; «Быть того не может, чтоб мы за границей не встретились! Я никогда не простил бы себе этого» [Там же: 28]. Этот импульс распространяется и на литературный текст.

В 33 размышления о русских и о России, можно сказать, доминируют. Национальная идентичность в понимании Достоевского — это соответствие «народному духу»; эта категория оказывается важнее сословного или имущественного деления общества. Так, француз — «архисобственник», и эта характеристика относится и к буржуа, и к крестьянам. Русские — нация, которая ближе всех стоит к идее братства. Однако трагедия образованных русских заключается в том, что они не соответствуют своей национальной идее, поскольку ее носитель — простой народ, от которого они оторвались. Даже те, кто призывает обратиться к народу, по сути своей — носители личного, а не братского начала, что является следствием их стремления в Европу. Поэтому «русский европеец» — это тип, лишенный национальной

¹⁸¹ Следует напомнить, что позиция повествователя и позиция Достоевского, конечно, не одно и то же, хотя четкого разграничения между повествователем и автором у него не существует. Об этом писали почти все исследователи 33, назовем лишь вновь работу А. Векшиной [Векшина 2010]. При этом одна из последних статей о 33 [Волгин 2021] возвращается к отождествлению Достоевского с его героем. Среди задач нашего исследования нет тех, что вынуждали бы уравнивать их высказывания.

¹⁸² Это прежде всего дневник Герцена, письма М. М. Достоевского и Н. Н. Страхова к Достоевскому, в целом переписка Достоевского конца 1862 – начала 1863 года, а также отчасти воспоминания Страхова (написанные 20 лет спустя, но все же сообщаящие некоторые детали, отсутствующие в других источниках). О реальном путешествии Достоевского см. [Брусовани, Гальперина 1988].

¹⁸³ «Здравый смысл» — частое в тексте 33 обоснование повествователем оправданности своих высказываний.

принадлежности. Эти идеи и прямо высказываются в ЗЗ, и подсказываются читателю опосредованно, на разных уровнях текста, прежде всего, — через отсылки и аллюзии, то открытые, то скрытые — к одним и тем же образам.

Рассмотрим, как текст сигнализирует о *конструировании* образа. На уровне структуры образов выделяются три аспекта: *контексты, временная организация и литературные отсылки* — которые и являются такими сигналами.

Обратившись к *контекстуальному* анализу, мы рассмотрели непосредственное лексическое окружение определения «русский» в ЗЗ и проследили следующие тенденции. Оказалось, что в 75 % случаев определение «русский» вводится через соотношение с европейцами, Европой, европейским образом жизни, мнением европейцев о России. Один из примеров: «Кому из всех нас *русских* (то есть читающих хоть журналы) *Европа* не известна вдвое лучше, чем Россия?» [Достоевский 2016: 50]. Или: «Чацкий — это совершенно особый тип нашей *русской Европы*, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать, — Где оскорбленному есть чувству уголок...» [Там же: 69–70; курсив мой. — А. С.].

Дважды «русский» соседствует со сниженным, высмеивающим попытку внешнего сближения с народом высказыванием о «господах», т. е. славянофилах:

Слышал я недавно, что какой-то современный помещик, чтоб слиться с народом, тоже стал носить *русский костюм* и повадился было в нем на сходки ходить; так крестьяне, как завидят его, так и говорят промеж себя: «Чего к нам этот *ряженный* таскается?» Да так ведь и не слился с народом помещик-то [Там же: 60].

Такой русский костюм Достоевский называет *балетным*.

Наконец, один раз в окружении слова «русский» появляются не только образованные «русские европейцы», то и представители простого народа:

Действительно ли мы русские в самом-то деле? <...> Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем [Там же: 55, 58].

Местоимение «мы», однако, указывает на то, что в этом, как и в остальных случаях, основной денотат — это именно «русский европеец», дворянин, интеллигент, образованный в европейском духе, с точки зрения повествователя — лишенный национальной идентичности и тоскующий по ней.

Высказывания повествователя ЗЗ о русских часто обращены в прошлое, к национальной литературной и культурной традиции. В то же время его мнения о европейцах подаются как обобщение наблюдений в настоящем времени. Мы полагаем, что *категория времени* является конструктивной как в идеологической концепции ЗЗ, так и в структуре образов. Если для России она актуальна (наблюдается движение из прошлого в будущее), то Европа в ЗЗ — нечто оконченное, продукт цивилизации, отбившейся от мистико-религиозной истории под воздействием «гордого духа», «могучего

духа», во власти которого находится история земная. Однако, с точки зрения повествователя, образованному русскому сословию, со времен Петра I ориентированному на Европу и оторвавшемуся от своих национальных корней, грозит та же опасность, что и учителям-европейцам. Обращение к прошлому для повествователя важно потому, что, по его мысли, в начальный период русского очарования Западом лучшие русские люди предупреждали об опасности этого процесса и представляли неполноту перевоплощения в европейцев (в основном он опирается на мнения Фонвизина в ПФ).

Напомним контекст ключевой для ЗЗ цитаты, которая становится лейтмотивом в суждениях повествователя Достоевского о французах — самой авторитетной нации для «русских европейцев»:

Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, когда он может веселиться. Забава есть один предмет его желаний [Фонвизин 1959: 2, 480–481].

В ЗЗ она процитирована так: «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье» [Достоевский 2016: 54]. Отсекая вторую половину фразы¹⁸⁴, искажая ее, Достоевский превращает фонвизинское высказывание о характере *французской* нации в критику «русских европейцев», их якобы стремления подражать французам. Мысль Фонвизина важна здесь в силу временной дистанции: если европеизация с самого начала оказывается не полной, то для русских есть шанс вернуться к истокам.

Важнейшей особенностью повествования, связанной с национальными образами, представляется то, что для обрисовки типов русских людей, в отличие от европейцев, в ЗЗ чаще всего используются *литературные образы* из произведений Фонвизина, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Тургенева. Перечислим их: Бригадирша, Софья, Гвоздилов и Митрофанушка; Чацкий, Молчалин, Репетилов, Скалозуб; Онегин, Пугачев «Капитанской дочки»; капитан Копейкин; Базаров, Кукшина. Не все из них — «русские европейцы», но все так или иначе соотнесены с ними в ЗЗ.

Сосредоточимся на Чацком, который занимает одно из центральных мест в размышлениях автора ЗЗ о типе «русского европейца»:

Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашел себе дела? Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду;

Однако ж Чацкий *очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу* <...> Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. <...> Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. <...> Одного Молчалина

¹⁸⁴ В том же виде использует цитату Ап. Григорьев [Григорьев 1990: 2, 61]. В комментариях к Полному собранию сочинений Достоевского Е. И. Кийко отметила, что цитата усечена в соответствии с искажением ее в статье Ап. Григорьева, опубликованной во «Времени» ранее [Достоевский. ПСС: 5, 363]. См. также: [Серман 1971: 138–140]. Эта мелкая деталь важна, на наш взгляд, тем, что показывает актуальный контекст обращения Достоевского к литературным образам прошлого.

нет: он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине... [Достоевский 2016: 62; курсив мой. — А. С.].

Антиподом Чацкого (не столько одного Чацкого, сколько всех перечисленных действующих лиц комедии Грибоедова, что переворачивает исходную расстановку персонажей) в исторической перспективе выступает Молчалин. Он один остался в России, потому что «знает Русь, и Русь его знает»¹⁸⁵. Это тип, который не вызывает сочувствия, это русский — огульно, русский с его собственных слов (см. о нем ниже).

Настойчивость, с которой Достоевский обращается к образам из «Горя от ума», заставляет искать для этого актуальный импульс.

В 1861 и 1862 годах вышли два издания этого произведения: первое в Лондоне в Вольной русской типографии, в составе сборника «Русская поэтаенная литература» (1861). Предисловие к нему написал Н. П. Огарев. У нас нет точных сведений о том, читал ли Достоевский этот сборник, но учитывая его острый интерес к Герцену и визиты к нему в Лондоне, в качестве рабочей гипотезы можно принять предположение, что выход сборника в герценовском издательстве повлиял на актуализацию текста «Горя от ума» в творческом сознании Достоевского. Вот небольшой отрывок из предисловия Огарева, мотивно сходный с высказываниями о Чацком в 33:

...Чацкий не только Грибоедов, Чацкий живой человек своей эпохи, от этого он тем более живое лицо¹⁸⁶. От этого, чего критика не хотела заметить, все лица сгруппированы около него; он *самый рельефный образ в целой комедии* и один стоит на первом плане. <...> Чацкий, исключительно занятый гражданским вопросом и *не-реполненный горькой безвыходностью русской жизни, скачет по Европе;*

Чацкий — это совершенно особый тип нашей *русской* Европы, это тип милый, восторженный, *страдающий, взывающий и к России*, и к почве, *а между тем все-таки уехавший опять в Европу*, когда надо было сыскать,

Где оскорбленному есть чувству уголок... —

¹⁸⁵ Источник цитаты — роман Н. Полевого «Клятва при гробе Господнем»; контекст фразы: «...кто читал, что писано мною доньше, тот, конечно, скажет вам, что красного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю и — еще более, позвольте прибавить к этому, — Русь меня знает и любит» [Полевой 1990: 285]. Кроме 33, Достоевский использует ее в «Селе Степанчикове...» как уничижительную автохарактеристику Фомы Опискина.

¹⁸⁶ Значительно ранее и Вяземский отмечал способность Грибоедова «“так сказать, живьем” перенести на сцену черты, схваченные в мире действительности»; впрочем, этот отзыв 1837 года еще носил характер стилистического, а не общественно-критического, как в критике следующих эпох [Маркович 1995: 15–16]; ср. у Чернышевского в неопубликованном при жизни тексте (причем здесь речь идет именно о «Горе от ума»): «...дело в том, чтобы всякое лицо было живым человеком» [Чернышевский 1949: 798]. Противопоставление «живых лиц» и «фигур с ярлыком на лбу» характерно и для театрального раздела «Времени», который вел Григорьев, ср., например: [Григорьев 1862: 179–180].

у него оставалось одно чувство, в котором он еще чаял спасения — любовь к женщине; ради этого чувства он возвращается домой, но и оно разбивается о пошлость окружающего мира и он опять бежит «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок» [Огарев 1861: LIII].

одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то [Достоевский 2016: 69–70].

Симптоматично и то, что Достоевский называет Чацкого «полезным когда-то» типом, и то, что у Огарева Чацкий воодушевлен чувством к женщине, а у Достоевского — к *почве*, и то, что оба автора связывают дальнейшую судьбу Чацкого с Европой (на что нет прямого указания в самой комедии, сцену которой герой покидает сразу после реплики, процитированной обоими интерпретаторами). Откуда им было известно, что Чацкий уедет в Европу? Это, скорее всего, логическое следствие развития личности «живого» героя.

Ход рассуждений Достоевского отчасти проясняет следующий источник/импульс.

Другое издание «Горя от ума» начала 1860-х годов вышло в Петербурге отдельной книгой (1862), и А. А. Григорьев откликнулся на него рецензией «По поводу нового издания старой вещи» в августовском номере «Времени» (цензурное разрешение выдано в конце августа, номер вышел в начале сентября), т. е. сразу после возвращения Достоевского из заграничного путешествия. То, что пишет Григорьев, пересекается с образной структурой 33¹⁸⁷. Критик называет Чацкого «единственным истинно героическим лицом нашей литературы» [Григорьев 1990: 2, 328], анализирует «разочарование» Белинского в нем:

...великий критик, видимо, охладел к «Горю от ума», ибо охладел к личности героя грибоедовской драмы. Причина перемены взгляда заключалась не в чем ином, как в этом. Таков был фазис развития его и нашего критического сознания. То была эпоха, когда Рудины, в упоении от всепримиряющего начала: «что действительно, то и разумно», — считали Чацких и Бельтовых «фразерами и либералами» [Там же: 329].

Заметим, однако, что для Григорьева, как и для Огарева, литературный герой Чацкий, хотя и связывается с общественной жизнью, остается в рамках литературы¹⁸⁸. Повествователь Достоевского критикует Чацкого как

¹⁸⁷ Параллель отмечена в комментариях к ПСС Достоевского, впервые указана И. З. Серманом: [Серман 1971: 140]. Статья Григорьева «представляет собой измененный вариант главы 5 статьи “Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина”» (комм. Б. Ф. Егорова [Григорьев 1990: 2, 473]).

¹⁸⁸ Отмечая это, впрочем, не забудем и об эзоповом языке, который применялся в критике: имена литературных героев позволяли скрыть намеки на реальных лиц. Если Григорьев намекал «на причастность героя комедии к поколению “падших борцов”» — декабристов [Маркович 1995: 21], то «невыход» в реальность из литературных образов был тем более уместен.

в буквальном смысле «живое лицо» (возможно, в силу собственной литературности), и не за взгляды, а за происхождение: Чацкий — часть светского общества, которое далеко от народа и не в состоянии сблизиться с ним. Поэтому такой тип не готов к современности, главную задачу которой Достоевский видит в осознании необходимости сближения с народом.

Григорьев противопоставляет грибоедовские жизненные (т. е. взятые из окружающей русской действительности) образы миражам современной беллетристики, взятым, как он полагает, «напрокат» из чужой жизни:

...какой-нибудь Чельский в романе «Племянница», какой-нибудь Сафьев в повести «Большой свет» *взяты напрокат из другой, французской или английской жизни*. Пусть они в так называемой великосветской жизни и встречаются, да художеству-то нет до них никакого дела, ибо художество не воссоздает миражей или повторений <...> [Григорьев 1990: 2, 330].

Любопытно, что Григорьев использует мотивировку, словно взятую из Шаховского больше чем пятьдесят лет спустя. Чельский и Сафьев в его тексте выступают, подобно графу Пронскому из «Нового Стерна», как фантомы, созданные писателями-подражателями иностранным образцам.

Если пользоваться противопоставлением Григорьева, то соотношение в ЗЗ литературных образов, представляющих русских и европейцев, можно описать так. Литературные типажи, применяемые Достоевским к иностранцам (почти исключительно к парижским приказчикам) — Гюстав, Адонис, Вильгельм Телль, Грандисон, Алкивиад, Монморанси. Эти образы, заимствованные из западной литературы, были растиражированы русской второсортной беллетристикой и водевилями. Это — типы «миражные». Как полагает Достоевский, русские типы взяты из *подлинной* жизни, которая одна и составляет предмет поэзии¹⁸⁹. Каково бы ни было отношение автора ЗЗ к этим типам, как бы ни ограничивал он их исторической эпохой — это увековеченное явление.

Понятно, что Григорьев и Достоевский сходятся в почвеннической идеологии. Как пишет Григорьев о русских, «...собственная, тщательно ими скрываемая натура их самих — и добрее и лучше той, которую берут они взаймы» [Там же: 334]. Достоевский с этим солидарен и поэтому обращает особенно пристальное внимание не на то, *что* русский человек берет взаймы, а то, *как* он это делает¹⁹⁰.

Автор ЗЗ полагает, что в России XVIII века подражание Европе не было чем-то серьезным:

...пребольшие подчас были плуты и себе на уме в отношении ко всем тогдашним европейским влияниям сверху. Вся эта фантазмагория, весь этот маскарад,

¹⁸⁹ Ср. выделяемое В. С. Нечаевой «общее зерно» «эстетических profession de foi» братьев Достоевских: «...подлинное искусство есть именно искусство, наиболее художественно воспроизводящее современную жизнь» [Нечаева 1972: 27].

¹⁹⁰ Забегая вперед, укажем, что вторая часть ЗЗ посвящена, в сопоставлении с первой, изучению того, что представляет собой европейское общество, европейское сознание «на самом деле», а не в искаженном подражанием виде.

все эти французские кафтаны, манжеты, парики, шпажонки, все эти дебелые, неуклюжие ноги, влезавшие в шелковые чулки; <...> — все это, мне кажется, были ужасные плутни, подобострастно-лакейское надувание снизу, так что даже сам народ иной раз это замечал и понимал [Достоевский 2016: 57].

Вскрытие маскарадной (т. е. искусственной) природы русского европеизма — одна из задач ЗЗ. Однако маскарад — явление по своей природе временное, в России он, по Достоевскому, затянулся, и нужно сделать все возможное для того, чтобы эту стадию преодолеть (в этом состоит прагматика ЗЗ).

Григорьев подчеркивает литературную природу феномена «русского европеизма». Он полагает, что русское светское общество, которое изображается современными писателями, порождено французской литературой, поэтому борьба с ним — это

...борьба с *призраком, созданным не жизнью, а Бальзаком*, борьба и утомительная и бесплодная, хождение на муху с обухом. <...> Решительно можно сказать, что представление о большом свете не есть нечто рожденное в нашей литературе, а напротив — занятое ею, и притом занятое не у англичан, а у французов [Григорьев 1990: 2, 334–335].

Этот момент также отражается в ЗЗ: Франция, которой формально посвящена почти вся вторая часть ЗЗ, интересует Достоевского именно потому, что русская литература находится под влиянием французской, а это показатель того, что русское общество под влиянием французского сбивается со своего пути.

Итак, статья Григорьева во многом проясняет контекст грибоедовских образов в ЗЗ. Однако к Грибоедову Достоевский обращается не только через нее (хотя переклички, на наш взгляд, очевидны), но и *непосредственно* — к тексту «Горя от ума»¹⁹¹. Цитаты из «Горя от ума», как полагал А. Л. Бем, дают «материал для установления идейно-художественного воздействия Грибоедова на Достоевского» [Бем: 416]. На наш взгляд, речь должна идти, конечно, не только о прямых цитатах, но и о таких, например, отсылках:

Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине [Достоевский 2016: 52]¹⁹².

Это рассуждение, помимо совпадения с названием повести Загоскина (возможно, умышленной аллюзии здесь и не было, а сработал общий фонд метафор), полемически отсылает, как нам представляется, к реплике «воротившегося домой» «скитальца» Чацкого, для которого «и дым отечества <...>

¹⁹¹ «Какое именно издание комедии Грибоедова находилось в библиотеке Достоевского, указать затруднительно, так как писатель с детства знал и любил “Горе от ума”» [Библиотека Достоевского: 39].

¹⁹² Ср. в записной тетради Достоевского 1860-х годов: «Русский за границей теряет употребление русского языка и русских мыслей» [Достоевский ЗТ № 1: 8].

сладок и приятен», и преобразуется в насмешку над коммерсантом. Подобных неявных следов «Горя от ума» в ЗЗ можно найти множество, и они будут свидетельствовать о важности контекста комедии Грибоедова для понимания ЗЗ. Но мы хотим подчеркнуть особый аспект взаимодействия двух текстов.

У Достоевского тип «русского европейца» конструируется *не просто из отсылок к литературному персонажу Чацкому, но по модели* этого персонажа (разумеется, в собственной интерпретации писателя). По мнению Достоевского, знаменитый патриотический монолог («о французике¹⁹³ из Бордо») — не органичен Чацкому, он противостоит внутренней сущности — его духу «русского европейца», оказавшегося бесполезным на родине и уезжающего в Европу¹⁹⁴. То, что говорит в комедии Грибоедова Чацкий, Достоевский переворачивает и обращает против русского европейца, описываемого через Чацкого. Чацкий для Достоевского сам принадлежит к тем, кого он критикует.

В какой-то мере Достоевский мог почерпнуть такое отношение к Чацкому у Пушкина. Григорьев сообщает читателям своей статьи пушкинское высказывание: Чацкий — глуп, умен только сам автор. Гораздо позднее, в «Дневнике писателя», Достоевский видел ошибку Грибоедова в том, что он «выставил Чацкого положительно, тогда как надо бы отрицательно» [Достоевский. ПСС: 24, 303]¹⁹⁵. Пушкин был не единственным автором, чье понимание «Горя от ума» было близко Достоевскому. Ср. размышления Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» о том, что комедия Грибоедова говорит о «дурно понятом просвещении и дон-кишотской стороне нашего европейского образования» [Гоголь 1952: 397], и о том, что «все лица» ее суть «дети полупросвещения» [Там же: 399]. Но пушкинская точка зрения, безусловно, близкая почвенникам Григорьеву и Достоевскому, важна потому, что сам Пушкин фигурирует в ЗЗ как «русский человек», имеющий на этом основании голос в оценке «русского европейца» (см. ниже). Чацкий превращается в ЗЗ как бы в собственного персонажа Достоевского,

¹⁹³ Ср.: в ЗЗ Достоевский употребляет именно эту форму, когда безапелляционно утверждает лакейство французов по отношению к своему императору: «...неужели французик, писавший “correspondence”, газета, ее поместившая у себя, и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы...» [Достоевский 2016: 83].

¹⁹⁴ В этом пункте Достоевский расходится с Григорьевым (тот защищал Чацкого с его монологом), и именно по причине, указанной выше: он «живое лицо», а не литературный тип. Литературный тип ассоциируется у автора ЗЗ с его речью, выражает через нее, пусть и составное (героя-любовника и резонера), но — ампула, роль; живой человек, напротив — может вступать в противоречие с тем, что он говорит; подобным персонажем оказывается и сам повествователь ЗЗ.

¹⁹⁵ Отмечалось, что Чацкий, наряду с Онегиным, Печоринным, Рудиным и другими героями явился литературным прообразом «русского скитальца» в Пушкинской речи Достоевского [Библиотека Достоевского: 39]. Составители этого издания, впрочем, называют отношение Достоевского к Чацкому в ЗЗ положительным без оговорок, что несколько противоречит выводам включенных ими в комментарий работ по теме «Грибоедов и Достоевский» [Бем 1936; Гришунин 1973; Архипова 1997].

который оценивается как нечто безусловно чуждое и неестественное с точки зрения «умного, доброго нашего народа», о котором с таким пафосом говорил сам Чацкий на балу у Фамусова.

Однако имеется еще один текст Грибоедова, переключки с которым в 33 нам представляются вероятными, — «Загородная поездка» (впервые опубликована под именем Грибоедова в 1858 году)¹⁹⁶. В ней автор говорит о «поврежденном классе полуевропейцев», которые «черным волшебством» сделались чужими среди своего народа:

...вдруг слышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги! Приходим назад: то место было уже наполнено белокуроыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот *поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу*. Им казалось дико всё, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невняты, эти наряды для них странны. *Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!* Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а *народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки!* Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами [Грибоедов. ПСС: 2, 277; курсив мой. — А. С.].

Это определение Грибоедова — «поврежденный класс полуевропейцев» — афористически точно выражает мысль Достоевского в 33. Контекст грибоедовских размышлений о народе и, возможно, о судьбе декабристов, не мог быть известен Достоевскому¹⁹⁷. Но для нас важна сама мысль автора о «поврежденном классе полуевропейцев», которая вкупе с пушкинской оценкой Чацкого и размышлениями Григорьева о грибоедовском персонаже создают фон его для оценки у Достоевского — *с точки зрения народа*.

Привлекая идеологическую оценку (возможно, связанную с «Загородной поездкой»), Достоевский выводит Чацкого из-под критики как литературный образ («ужасно нужный когда-то» — т. е. «живой», по Григорьеву),

¹⁹⁶ Издатель Е. Серчевский при включении «Загородной поездки» в корпус грибоедовских сочинений руководствовался указаниями Ф. В. Булгарина и, возможно, опирался на сведения, полученные от Г. Н. Геннади. Полемику между С. А. Фомичевым и В. П. Мещеряковым об атрибуции текста можно вывести за скобки [Фомичев 1977; Фомичев 1977а; Мещеряков 1983; Фомичев 1988], прежде всего потому, что в эпоху Достоевского текст фигурировал как грибоедовский. Первая публикация состоялась 26 июня 1826 года в «Северной пчеле», но по газете Достоевский, безусловно, не мог запомнить это произведение: год издания и анонимность первой публикации не оставляют сомнений на этот счет.

¹⁹⁷ В. П. Мещеряков [Мещеряков 1985] связывает «Загородную поездку» с размышлениями Грибоедова о декабристах и о роли народа в восстании.

одновременно превращая его в свой собственный многослойный литературный персонаж, в котором появляется новый уровень — оценка с точки зрения «умного, доброго нашего народа» (как писатель его себе представлял), оценки как явления безусловно чуждого и неестественного.

В свете вышеизложенного обретает программный статус высказывание о Пушкине, приведенное почти в начале ЗЗ: «Он <Пушкин. — А. С.> художественной силой от среды своей отрешился и с точки народного духа ее в *Онегине* великим судом судил» [Достоевский 2016: 58]¹⁹⁸.

Завершая разговор о грибоедовских образах в ЗЗ, нельзя не указать, что все-таки с типом Чацкого связывались определенные надежды:

<Чацкий> теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает кроме того к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать [Там же: 70].

Указанная здесь близость старого типа «русского европейца» будущим деятелям пореформенной эпохи задает линию, важную для романного творчества писателя уже 1870-х годов, связанную с осмыслением роли поколения Герцена и Достоевского в формировании нравственных устоев и картины мира молодежи, противоречивым образом выразившуюся в историях Верховенского-старшего, Версилова и даже отчасти явленную в «Братьях Карамазовых»: там, словами брата Зосимы Маркела, зараженного ссыльным профессором атеистической идеей и отделившегося тем самым от родных, перед смертью произносится формула «братства», использованная в ЗЗ как ритуал воссоединения между «русскими европейцами» и народной правдой (см. о ней ниже): «...воистину всякий пред всеми больше всех виноват» [Достоевский. ПСС: 14, 262] (о самом себе в молодости Зосима вспоминает, что он за восемь лет в кадетском корпусе «лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел», а солдат вместе с остальными считал «как за совершенных скотов» [Там же: 268], после чего пережил памятный духовный перелом).

Итак, грибоедовские образы в ЗЗ далеко не свидетельствуют о наличии «идейно-художественной зависимости» травелога от «Горя от ума» или о том, что художественные образы в большей степени оказывали влияние на формирование мировоззрения Достоевского, чем общие философские категории. Недостаточно также просто показать, что свои образы Достоевский конструирует на материале литературной классики. Как мы хотели бы продемонстрировать, анализ их функционирования помогает увидеть в ЗЗ важный эксперимент в области взаимодействия «своего» и «чужого»,

¹⁹⁸ Ср. высказывание Григорьева о Пушкине: «В воспитанном по-французски, забалованном барчонке было слишком много *инстинктивного* сочувствия с народной жизнью и народным созерцанием» [Григорьев 1990: 2, 333; курсив мой. — А. С.].

стремление к преодолению этого противостояния как на уровне идей, так и на словесном уровне.

Собственно, *функционируют* они благодаря представленной в тексте народной точке зрения (оговоримся еще раз: как ее представлял Достоевский или, точнее, как он ее изображал или конструировал), или «точке народного духа».

Что конкретно говорится в ЗЗ о Чацком? Во-первых, что он — представитель «нашей русской Европы», т. е. отделенного от основной массы народа меньшинства, к которому принадлежат все упоминаемые в ЗЗ «живые лица» (то есть реальные исторические личности — Белинский, Фонвизин и т. п. — и приравненные к ним персонажи художественной литературы). Образованное меньшинство отделено от народа в силу объективных исторических причин, но этот разрыв может быть преодолен на духовном уровне, доказательством чему служит фигура Пушкина, «русского человека» [Достоевский 2016: 51]¹⁹⁹.

Во-вторых, Чацкий — «ужасно полезный *когда-то*» и «совершенно бесполезный *теперь*». «Теперь» совершается новая история: «русские европейцы», приезжая в Европу, не находят в ней того идеала, который носят в своем сердце, и задумываются о поиске утраченных народных начал (повествователь ЗЗ — один из них, и на его примере показан этот процесс). Фон этой ситуации — конечно, освобождение крестьян. Но был и другой фон, не проговариваемый в ЗЗ явно (и вообще во «Времени» до знаменитой статьи «Роковой вопрос»), — январское польское восстание 1863 года²⁰⁰, обострившее размышления о национальном самоопределении²⁰¹, обнажившее необходимость единства русской нации. Обретение единства — требование, предъявляемое той идеальной нацией, которую имеет в виду Достоевский (точнее было бы сказать — идеей нации, ибо это все-таки конструкт), к отколовшейся ее части. Чацкий же, с его «европейской пропиской», на этот ход не способен.

В-третьих, Чацкий «не нашел себе дела» в России и «улизнул за границу», оставив вершить дела на Руси Молчалину, который «распорядился» своим новым положением и говорит от имени народа («Русь знаю и Русь меня знает»)²⁰² вместо тех, кто это право утратил, т. е. «русских европейцев».

¹⁹⁹ Освященные именем Пушкина размышления над комплексом проблем, рассмотренным нами в связи с ЗЗ, будут развиты позже и в Пушкинской речи, и во многих других художественных и публицистических произведениях Достоевского.

²⁰⁰ Первая часть ЗЗ была опубликована в марте (цензурное разрешение выдано 6 февраля); восстание началось 10 января.

²⁰¹ О том, как это происходило в кругу Достоевских, см. воспоминания Н. Н. Страхова [Достоевский 1883: 1].

²⁰² Интересным образом подобный ход «предсказан» Чацким в комедии, когда он говорит о Молчалине: «А впрочем, он дойдет до степеней известных». В новых условиях «бессловесный» герой становится выразителем «патриотической» точки зрения, и это демонстрирует ироническое отношение Достоевского к подобному «патриотизму» и «русофильству».

Всех трех характеристик нет в «Горе от ума» (говорим здесь только о том, что дает сам текст, а не его толкования). Там Чацкий — патриот, столкнувшийся с косным московским дворянским кругом и переживший разочарование в любви (вспомним, что для Огарева эта мотивировка «бегства» остается важной). Главное же, в комедии Грибоедова Чацкий знает и любит простой народ. Повествователь ЗЗ эту характеристику, искаженную через цитату из Н. Полевого, передает другому грибоедовскому герою, к которому симпатии не испытывает, — Молчалину. Чацкий же характеризуется тем, что принадлежит к Европе и тем, что он а) чужой, б) несвоевременный, в) бездельник. Эти свойства персонажа (уже не грибоедовского, а Достоевского) находят соответствие в высказываниях и действиях, которые Достоевский доверяет «простому народу».

Отметив следы «точки народного духа» в тексте ЗЗ, мы можем убедиться и в том, кому принадлежат приведенные выше оценки:

1) «Чего этот ряженный к нам таскается?» — реакция крестьян на славянофила, демонстрирующая, что он как минимум не воспринимается всерьез, что он — не «свой», а «чужой».

2) Гипотетическое обсуждение на мирском сходе, высечь опростившегося барина или нет? Решают не сечь (потому что «дело благородное»), т. е. опять барин, принадлежащий к образованному сословию, трактуется как «чужой».

3) Диалог Софьи и Бригадирши — персонажей комедии Фонвизина «Бригадир» — неожиданно приобретает свойства «народного» высказывания:

Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А кстати, по поводу Гвоздилова: почему именно не Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития в комедии, вложил Фонвизин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире», а дуре бригадирше, которую уж он до того подделывал душой, да еще не простой, а ретроградной душой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади? А когда надо было правду сказать, ее все-таки сказала не Софья, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой душой, даже и дурной женщиной сделал; а все-таки как будто побоялся и даже художественно-невозможным почел, чтоб такая фраза из уст благовоспитанной поранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтоб ее изрекла простая, глупая баба [Достоевский 2016: 58].

В этом фрагменте обращает на себя внимание не само противопоставление «оранжерейной» Софьи и «простой, глупой бабы» Бригадирши, а признак, по которому оно проводится — способность понять народную правду, в данном случае — правду жены капитана Гвоздилова, подвергавшуюся постоянным побоям мужа. Вот сама фраза:

С о ф ъ я. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество.

Б р и г а д и р ш а. Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь, каково ж было терпеть капитанше? [Фонвизин 1959: 1, 85].

Фраза объявляется Достоевским «нечаянной», так как сам Фонвизин, якобы, не мог сознательно вложить гуманную отповедь в уста «простой, глупой бабы». Как резюмирует повествователь ЗЗ, сама художественная правда заставила его так сделать, Народ — нечаянно — получает своего представителя в словесности в лице персонажа Фонвизина и обретает язык. Другой же персонаж, связываемый с «оранжерейными прогрессистами из самых передовых наших деятелей», отказывается слышать смущающую слух правду.

Такой диалог происходит (якобы) в «действительности» («замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу» [Достоевский 2016: 66]), и позитивного, деятельного выхода из него нет: «оранжерейные прогрессисты» ужасаются реальным условиям народной жизни («слушать об этом не хотят»), тем более не желают участвовать в их изменении. При этом капитан — офицер и дворянин — ведущий себя как самый темный мужик, не выступает представителем своего сословия, и это неважно для Достоевского, поскольку дело не в социальной характеристике. Народ же, по Достоевскому, довольствуется тем представительством, которое имеет (Молчалин и ему подобные). Вместо этого ущербного, хотя и отнесенного к действительности диалога должен состояться другой, воспроизводимый повествователем ЗЗ как возможный и необходимый — диалог между отдельной личностью, стремящейся отдать себя, пожертвовать собой на пользу общества (за этой личностью стоит, конечно, русский дворянин или разночинец — представитель образованного класса), и обществом (за которым в свою очередь угадывается народный «мир»).

4) К прямому выражению «точки народного духа» следует отнести «переложенное» «на разумный, сознательный язык» определение братства — ключевого понятия во всем тексте ЗЗ. Оно отличает русского человека от западного, это воспитываемое внутри нации начало, «укоренившееся <...>, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников» [Там же: 90].

Как сказано выше, в ЗЗ реконструируется воображаемая ситуация диалога между личностью и обществом (то, что имеется в виду не абстрактное общество и даже не народ вообще, а именно русский народ, ясно из предшествующего текста):

...каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу:

— Мы крепки только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось.

А братство, напротив, должно сказать:

— Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастье. Возьми же все и от нас.

Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас [Достоевский 2016: 90–91].

«Народный» «общественный договор» звучит у Достоевского как христианская проповедь. Заключает же его вопрос с подвохом, адресованный читателю: «Эка ведь в самом деле утопия, *господа!* Всё основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. <...> Как вы думаете? Утопия это или нет?» [Там же: 91; курсив мой. — А. С.]. Проповедь о братстве, включающая цитированный диалог, подается в тексте так, что ее будто бы произносит народ; на разум, с точки зрения повествователя, уповают «западнические» господа; следовательно, только им может показаться утопией произнесенная проповедь, отсюда и словечко «господа», между тем как народ, по Достоевскому, давно живет по этой «утопии». Вывод повествователя — «хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции» [Там же: 92], а в России, и не тогда, когда образованные «сто тысяч человек» организуют жизнь народа на разумных основаниях, а когда признают народную правду и начнут жить по ней²⁰³.

Мы видим, что не только «русский европеец» оценивается через взгляд народа, но и народ выступает как участник диалога с «русским европейцем»; ему в ЗЗ предоставлен голос, и этот голос требует ответа, адекватного задачам, поставленным временем.

Один из «русских европейцев», к которому был обращен этот «глас народа», — вероятно, А. И. Герцен, некоторые черты личности и особенности биографии которого совпадают с конструируемым в ЗЗ образом Чацкого. Достоевский не менее двух раз встречался с Герценом в Лондоне во время путешествия 1862 года²⁰⁴. В содержание их разговоров, несомненно, входило осмысление роли русского народа в будущем развитии России (см. упоминание о посещении Достоевского в письме Герцена к Огареву: [Герцен: 27-1, 247]). Герцен — автор «Писем о Франции и Италии», использовавших тот же прием диалога с потенциальным оппонентом, какой употребляет повествователь ЗЗ²⁰⁵. Не так важно, обращался ли на самом деле Достоевский к Герцену через журнальные статьи «Времени» и в их числе —

²⁰³ Ср. неожиданную, на первый взгляд, переключку с известным местом из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, обычно трактуемым в «экономическом» аспекте: «<...> все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» [Радищев 1992: 94].

²⁰⁴ О встречах Герцена и Достоевского периода первой заграничной поездки см. [Летопись 1993: 1, 370–371; Волгин 2021].

²⁰⁵ Подробный сопоставительный анализ текстов Герцена и ЗЗ дан в статье А. С. Долинина, впервые опубликованной в 1922 году и опорной для всех писавших на эту тему: [Долинин А. С. 1963: 220–224].

через ЗЗ (сомнение в этом высказывал В. А. Туниманов: [Туниманов 1980: 289]), важен посыл, присутствующий в тексте ЗЗ — обращение к «русским европейцам», знаковой фигурой среди которых является Герцен, и то, кому передается активная роль в этом призыве.

Сам Герцен называл Чацкого декабристом, и эта номинация, данная «русским европейцем» своему литературному родственнику, показывает дистанцию, существующую между пафосом восприятия этого типа «прогрессистами» и Достоевским (при том, что ряд характеристик Чацкого у обоих писателей совпадает): «печальный, неприкаянный в своей иронии, трепещущий от негодования и преданный мечтательному идеалу <...> это *декабрист*, это человек, который *завершает* эпоху Петра I и силится разглядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную землю... которой он не увидит» [Герцен. ПСС: 18, 180]²⁰⁶.

Теперь понятен смысл обращения Достоевского к высказываниям Григорьева о Чацком, о котором говорилось выше. Они предстают не только как импульс для размышлений Достоевского, но предваряют конструируемую в ЗЗ «точку народного духа»: проведенный в них анализ — это «внутренняя оценка» типа. Без отсылок к этим высказываниям неясна для воспринимавшей стороны — тех же «русских европейцев» — «народная» оценка²⁰⁷.

«Русские европейцы» — действительно лучшие русские образованные люди²⁰⁸ — под воздействием европейской культуры «очаровываются» европейским образом жизни, уезжают в Европу физически или же духовно, не находят себе дела в России. Между тем, в настоящее историческое время, как полагает Достоевский, от них требуется возвращение к национальным

²⁰⁶ Оригинал по-французски: “La figure de Tchazki, qui, mélancolique et dépaysée dans son ironie, frémissante d’indignation et pleine d’un idéal rêveur, apparaît sur la dernière marche des temps d’Alexandre — la veille de l’insurrection sur la place d’Isaac — c’est le *Décembriste*; c’est l’homme qui *acomplit* l’époque de Pierre I-er, et s’efforce de distinguer au moins à l’horizon la tene promise... qu’il ne vena pas” [Герцен. ПСС: 18, 131]. Достоевский не мог знать этих высказываний из статьи «Новая фаза в русской литературе», опубликованной в 1864 году, но нам они нужны, как сказано выше, не для обнаружения следов гипотетической полемики, а как контрастный фон для восприятия ЗЗ. Трактовка Чацкого как декабриста у Герцена устойчива: она повторяется в «Письмах к будущему другу» (1864–1866) и в статье «Еще раз Базаров» (1868). Нужно ли напоминать, что в советское время эта «расшифровка» грибоедовского героя стала единственно верной.

²⁰⁷ Ср. архаичный по форме, но верный по сути вывод И. З. Сермана: «Спор о Чацком в условиях 1862 года был спором о судьбах дворянской революционности и о ближайших перспективах общественного развития России» [Серман 1971: 140].

²⁰⁸ В их число попадают и прямо названный Чацкий, и подразумеваемый Герцен, и сам повествователь ЗЗ, т. е. почти все упоминаемые там «живые лица» (Фонвизин и Карамзин как представители XVIII века стоят особняком). Характерным образом литературные персонажи и реальные люди (писатели) в повествовании сливаются в символический собирательный образ «русских европейцев».

корням. Это требование оформляется в тексте ЗЗ как высказывание, обращенное к ним, и «отправителем» этого высказывания является сам русский народ.

Прагматика ЗЗ, таким образом, продолжает линию «Записок из Мертвого дома», одновременно оставаясь в рамках журнальной публицистики, откликов на сиюминутные, насущные запросы времени, подобно «Роковому вопросу» Страхова — статье, которая отражала тот же этап выработки идеологии внутри редакционного кружка в связи с польским восстанием — симптомом, на который было необходимо отреагировать. Статья Страхова содержит во многом те же идеи, иногда выраженные при помощи тех же формул. Ср.:

...поляки могут смотреть на себя как на народ вполне европейский, могут причислять себя к *«стране святых чудес»*, к этому великому западу, составляющему вершину человечества и содержащему в себе центральный ток человеческой истории. <...> В настоящую минуту, именно по поводу борьбы с поляками, мы невольно стали искать в себе какой-нибудь *точки опоры* и что же мы нашли? Наши мысли обращаются к единому видимому и ясному проявлению *народного духа*, к нашему государству [Страхов 1863: 154].

По словам публициста, защищать своеобразную цивилизацию, находящуюся в гармонии с народным духом,

возлагать на нее надежды и предвидеть для нее будущее — *не чистые ли это мечты, не пустые ли предположения* в глазах каждого европейца? <...> Чтобы спасти нашу честь в наших собственных глазах, мы должны признавать, что тот же народ, который создал великое тело нашего государства, хранит в себе и его душу; <...> ...мы должны положиться именно на народ и на его самобытные, своеобразные начала [Там же: 161; курсивом выделены совпадения с текстом ЗЗ. — А. С.].

Конечно, ЗЗ нельзя приравнять к скандально известному страховскому манифесту, а совпадения можно объяснить редакторским вмешательством или просто разговорами, которые велись между сотрудниками «Времени» и в которых вероятнее, чем в индивидуальной работе, создавались отдельные положения и даже формулы²⁰⁹. Эта междутекстовая диффузия, на наш взгляд, подкрепляет вывод А. Л. Осповата о том, что «почвенничество» — идеология, принципиально находящаяся в процессе становления, идущая за развитием общества, а не диктующая готовые схемы [Осповат А. 1980: 172]. Мы полагаем, что в ЗЗ момент становления, выбора пути, находящий художественное воплощение в образах «русских европейцев», усиливается также за счет образа рассказчика, показанного захваченным врасплох его впечатлениями, и только временная дистанция позволяет ему увидеть главные точки и своего пути, и пути общества.

²⁰⁹ Связь ЗЗ «с текущими публикациями журнала, в выборе и редактировании которых, несомненно, участвовал Ф. М. Достоевский» и которые предлагала рассматривать В. С. Нечаева [Нечаева 1972: 174], не ограничиваются совпадениями с «Роковым вопросом», но это уводит в сторону от предмета нашего исследования.

5.3. «Европейская Европа»

Однако «летние впечатления» ведь еще не могли прямо касаться ни «польского вопроса», ни скитальца Чацкого (о котором Григорьев опубликовал заметку только в августе–сентябре). По крайней мере, отчасти они должны были относиться непосредственно к самой Европе, к увиденному там, к происходившему там. Но и говоря о самой Европе, вступая в диалог с высказываниями иностранцев о России, Достоевский как нам кажется, имел в виду точку зрения «русских европейцев».

Напоминая о том, что писали о русских на этом этапе формирования их самосознания, мы не будем пересказывать путешественников более ранних эпох, Сигизмунда Герберштейна и Адама Олеария, не актуален для изучения «русских европейцев» и Шапп д'Отрош (см. о нем в § 2.1). Концептуально важно мнение мадам де Сталь, рассмотренное нами в предыдущей главе (по-видимому, распространенное в наполеоновскую эпоху). Противопоставление южной и северной Европы и в этом контексте взгляд на Россию как на молодую нацию севера было актуально вплоть до конца 1830-х годов, пока не было написано сочинение, показавшее, что осмысление русских в европейской мысли полностью перестроилось. Речь, конечно, о «России в 1839 году» А. де Кюстина (1843).

Не наше дело избавлять эту книгу от обвинений в клевете, возникших сразу же (отпор Кюстин встретил, в отличие от Шаппа, со стороны не только властей, но и общества; см. о первой реакции [Мильчина, Осповат А. 2008: 719–725]) и поступающих по сей день. Ошибочно воспринимать ее как сборник неагтивных высказываний о России и русских, нанизанных на сюжет путешествия²¹⁰, хотя разошедшиеся цитаты из нее могут к тому склонить. У Кюстина находятся критические и иногда очень едкие отзывы обо всех сторонах русской жизни; так он пишет о судах («Простолюдины в частных своих расправах друг с другом очень редко обращаются в суд. Этот их зоркий инстинкт представляется верным признаком несправедности судей» [Кюстин 2008: 569]), о крепостном праве, монархии, армии, флоте, архитектуре и даже о погоде (общее место, пожалуй, для всех путешественников, упомянутых нами, какую бы страну они ни описывали): «Относительно московских и петербургских зим не знаю, но лето мало где так неприятно, как в этих двух городах» [Там же: 400]. Это во многом справедливые суждения, но выводы Кюстина:

²¹⁰ В июне 1839 года маркиз де Кюстин отплывает на корабле из немецкого Любека и прибывает в Кронштадт. В Петербурге он проводит несколько недель, бывает на балах, знакомится с высшим обществом Российской империи, его принимает у себя Николай I. После знакомства со столицей маркиз решает осмотреть страну, для чего ему приставляют сопровождение. Его путь лежит сначала через Москву, потом Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, потом снова Москва, и, после трех месяцев путешествия, он прибывает назад в Петербург, откуда возвращается домой.

...я говорю: эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами: «Русские сгнили, не успев созреть» [Кюстин 2008: 138], —

предстают, в общем, оскорбительными. Но не новыми, а вполне традиционными для французской интерпретации России (да и сама фраза о «загнивших русских», как признается автор, принадлежит не ему, а кому-то из просветителей; впервые появилась она в «Истории обеих Индий» аббата Рейналя, приписывалась Дидро, см. об этом комм. В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата [Мильчина, Осповат А. 2008: 800]). Достаточно вспомнить отзывы Руссо, отчасти Дидро. То же было у них, но выражено, может быть, мягче, потому что они оставили только афоризмы и рассуждения, без передачи впечатлений, личного опыта. А русские и сами писали о Европе не менее оскорбительные вещи, в том числе и о Франции.

На то, что было нового в его книге, Кюстин сам указал в предисловии: отправившись в Россию монархистом, чтобы получить аргументы против демократии, он увидел там ужасы самодержавия, поменял свои взгляды и вернулся чуть ли не республиканцем, а о столь сильно поразивших его деспотии и рабстве, которых не ожидал увидеть в стране просвещенного монарха, опубликовал книгу. Лишь побочным следствием его разочарования стало мнение о русских: «Если народ живет в оковах, значит, он достоин такой участи; тиранию создают сами нации» [Кюстин 2008: 140]. Это знакомая нам модель «разочарованного путешественника», но на этот раз обращенная в противоположную сторону: из Франции в Россию. В пользу данной версии говорит и подобранный Кюстином эпиграф из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все, живущие в нем» [Там же: 10]. Дополнительной — внутренней — трактовкой выступает религиозное чувство.

Действительно ли в России ждали от Кюстина труда, прославляющего николаевское царствование, на что, возможно, намекал издатель, сообщая об упреках в неблагодарности, или собственные взгляды заставили его выложить солидные порции критики, в контексте нашего исследования не так важно. Политическое содержание «России в 1839 году» находится для нас на втором плане: нас интересует не генезис, а конструирование моделей и идеологическая мифологизация.

На самом деле книга — не об отношении к России (всей Европы или одного остроумного наблюдателя), а об отношении России к Европе.

Кюстин — скептик по отношению к русскому европеизму. Его модель параллельна модели Достоевского. Русская Европа для него — фасад, за которым скрывается реальная пропасть между Россией и Европой.

В диалоге с императрицей Кюстин роняет фразу: «Мне кажется, что ваша страна полна вещей столь удивительных, что поверить в их существование можно, лишь увидев их своими глазами» [Там же: 163]. Ее можно считать ключом: русские — не европейцы, но строят европейский мираж и,

находясь в России, сами в него верят. Если же очистить ее от следов придворного этикета, то останется, пожалуй, «страшный разрыв между внешними претензиями и внутренней реальностью» [Кеннан 2006: 82], и эта мысль повторяется в разных формах по всей книге:

Меня поражает неумеренная тревога русских касательно мнения, какое может составить о них чужестранец; невозможно выказать меньше независимости; русские только и думают, что о впечатлении, которое произведет их страна на стороннего наблюдателя [Кюстин 2008: 94].

Я не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы [Там же: 138].

...Россия такая страна, где все стремятся обмануть путешественника. Известно ли вам, что значит путешествовать по России? Для ума поверхностного это означает питаться иллюзиями; но для всякого, чьи глаза открыты и кто наделен хотя бы малейшей наблюдательностью в сочетании с независимым нравом, путешествие — это постоянная и упорная работа, тяжкое усилие, совершаемое для того, чтобы в любых обстоятельствах уметь различить в людской толпе две противоборствующие нации. Две эти нации — Россия, как она есть и Россия, какой ее желают представить перед Европой [Там же: 220] и т. д.

С Кюстина, по существу, начинается, традиция описания русского самосознания как раздвоенного (предпосылки к чему, вновь напомним, были уже в XVIII веке у Дидро и Руссо).

Кюстин, конечно, не говорит прямо о «русских европейцах», вообще не делит русских по отвлеченным категориям, только на низшие и высшие классы. Но выделяемая им страсть «казаться европейцами» — это и есть проявляющаяся в коммуникации черта русского европеизма. Вспомним для сравнения, что, например, мадам де Сталь говорит о русском национальном характере в целом, хотя черпает примеры для одних добродетелей из простого народа, для других из высших слоев. К 1830-м годам давно прошел период очарования русским характером, не сломленным самим Наполеоном; начался другой период в его осмыслении. Каковы бы ни были политические воззрения путешественников, приехавших в Россию, она могла их очаровать или разочаровать, но эти эмоции относились к нации в целом. Это расхождение — не просто источник взаимного непонимания при встрече. Его нельзя было игнорировать автору русского травелога.

33 в какой-то мере ориентированы на «ответ» Кюстину и другим европейцам²¹¹. В 33 характеризуется француз в целом, немец в целом. Повествователь 33, сам будучи «русским европейцем», т. е. русским только наполовину, намеренно не замечает различий внутри западного общества, и одним из мотивов для этого, как нам кажется, было такое же неразличение со стороны европейских наблюдателей.

²¹¹ Ф. Ансело (1827), А. Мериме (1844), А. Дюма (1862) и др., на произведениях которых мы останавливаться не будем.

Достоевский не мог не читать Кюстина. Во-первых, он цитирует его в ЗЗ:

Russe est sceptique et moqueur, говорят про нас французы, и это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое, по крайней мере не уважаем его в высшей степени, не понимая, в чем дело; лезем в европейские, общечеловеческие интересы, не принадлежа ни к какой нации, а потому, естественно, относимся ко всему холоднее, как бы по обязанности, и во всяком случае отвлеченнее [Достоевский 2016: 105, 477–478; комм. Е. И. Кийко]²¹².

Во-вторых, еще в 1847 году он полемизировал с Кюстином в «Петербургской летописи» (см. об этом [Кийко 1974; Достоевский 2016: 478]), а впоследствии в «Ряде статей о русской литературе» [Туниманов 1980: 198].

Так что внимание, уделенное нами книге Кюстина, обеспечивается как интересом к ней самого Достоевского, так и ее ролью в формировании образа русских, актуального для ЗЗ²¹³.

Кроме того, ЗЗ отчасти следуют за «Россией в 1839 году» в том, что можно было бы назвать обманом читательских ожиданий: Достоевский не пишет травелог, дает мало впечатлений, размышления над ними явно превалируют. Так же и Кюстин:

...впечатления Кюстина о путешествии в Россию на удивление скудны. Очень мало сказано о его поездках за пределы обеих столиц. Даже то, что он видел в этих великих городах, с несомненной преднамеренностью завуалировано и в общем неудовлетворительно [Кеннан 2006: 59].

И как Кюстин, говоря о нации, Достоевский отделяется афоризмами. Впрочем, это было свойственно и Фонвизину, и отчасти Карамзину (см. об этом в лекции А. И. Миллера, заостренно, но верно оценивающего реакцию карамзинского путешественника на формирующуюся в ходе революции французскую нацию: «... вместо того, чтобы писать политические трактаты, он рассказывает анекдоты» [Миллер 2017]).

Центральное место, отведенное в ЗЗ образу «русских европейцев», определяет и перспективу взгляда на Европу. Она также является конструкцией Достоевского. С одной стороны, он описывает ту Европу, которую носят в своем сердце «русские европейцы». В этом смысле в травелоге она становится *не объектом изображения* и даже не поводом поговорить о России, а качественной *характеристикой* «русского европейца», синонимичной отсутствию национальной принадлежности. С другой стороны, «реальная» Европа, впечатлениями о которой делится с читателями повествователь ЗЗ, становится главным аргументом против подражания ей, аргументом в пользу «русского пути» и возвращения к национальным корням.

²¹² Соль этого «согласия» в том, что Кюстин называет русских скептиками и насмешниками, а Достоевский французов — наивными (см. о наивности как отрицательной характеристике в § 3.3).

²¹³ Добавим к этому, что в упоминавшемся «Роковом вопросе» Страхова полякам переадресовано кюстиновское обвинение русских в кажимости, «фасадной» цивилизованности — следствии отступления от национального духа [Страхов 1863: 160].

Правда, если говорить о Европе как «подложке» «русского европейца», то приходится отметить, что ее конкретное описание довольно скупо. Упоминаемые для прославления «добродетелей» парижских буржуа персонажи наподобие Вильгельма Телля или Грандисона, слушавшиеся повествователем в детстве с восторгом романы Радклиф — вот, пожалуй, и все маркеры европейской культуры в ЗЗ. Ср. мнение современного исследователя:

Во всем многомерном тексте «Зимних заметок...» почти нет развернутых характеристик тех или иных явлений европейской культуры. Столь любимые в молодости <самим Достоевским; о повествователе ЗЗ этого неизвестно. — А. С.> Расин, Корнель, Шекспир, Гёте, Шиллер и др. как бы остаются в подтексте повествования. Культура — в ее классическом виде — присутствует, подразумевается, но отнюдь не она определяет нынешний облик Запада. Из обязательных для «среднестатистического» туриста достопримечательностей упомянут вскользь (причем в довольно двусмысленной огласовке) разве что Кельнский собор, и, пожалуй, еще парижский Пантеон (да и то лишь как место, где безмолвный посетитель обязан вкушать плоды французского красноречия). Причем эти авторские (туристические) небрежности подаются как сознательно избранная точка зрения <...> [Волгин 2021: 35].

У рассказчика действительно меньший кругозор, чем у автора, но его наблюдения выходят за рамки туристических.

Торжество буржуа — это рефрен всей второй части ЗЗ, и это не только прямо проговаривается, но и «доказывается» на уровне образов. Проверка контекстов употребления названий наций или производных от них слов позволяет увидеть, как эта особенность восприятия европейцев проявляется также на лексическом уровне.

Прежде всего заметно, что определения, обозначающие нацию, даются в тексте ЗЗ только немцам, французам и англичанам, за двумя исключениями: швейцарский собеседник в вагоне, пересекающем границу Франции, и «итальянский герой» — составной эпитет Гарибальди²¹⁴. Швейцарец же принадлежит к народу, который традиционно соотносим с «естественным» человеческим типом, близким к природе: «Один *швейцарец*, простой и скромный человек, средних лет, чрезвычайно приятный собеседник, с которым мы часа два проболтали без умолку...» [Достоевский 2016: 72; здесь и далее курсив мой. — А. С.]. Характерно, что повествователь берет его в «союзники» по «разоблачению» французского образа жизни (напомним, именно швейцарец сообщает о шпионах)²¹⁵. Остальным перечисленным европейцам — независимо от их конкретной национальной принадлежности — и это важно — сопутствуют следующие группы признаков:

²¹⁴ Речь идет именно о Гарибальди, а не об итальянце вообще, но при выделении по формальному признаку, для нас важно, что ближайший контекст слова «итальянский» — «герой», само по себе являющееся определением (частью перифразы) и безусловно положительным.

²¹⁵ Расстановка персонажей задана Карамзиным: швейцарец Достоевского соответствует датчанину ПРП — хороший европеец, который всё понимает.

1) описания из предметного/вещного мира:

...эти тогдашние солдатики в *немецких париках и штиблетах* [Достоевский 2016: 64];

...с казенными *французскими бородками*... [Там же: 73];

...вытащил свой *немецкий гид* и совершенно углубился в него [Там же: 72], —

сами по себе не заключают осуждения, однако контекст придает этим определениям негативные коннотации (так, в первом случае говорится о подражании русскими Европе, во втором и третьем — о соглядатаях на границе);

2) описания, которые относятся к сфере собственности, характеризующейся крайне негативно:

...богатые *англичане* и вообще *все тамошние золотые тельцы* чрезвычайно религиозны, мрачно, угрюмо и своеобразно [Там же: 83].

...*французские* земледельцы *архисобственники* [Там же: 88].

Зато находится же на свете такое бесстыдство, как например в *англичанках*, которые <...> даже начинают — о ужас! — *торговаться из-за каких-нибудь десяти франков* [Там же: 87].

...сопоставить имя Гарибальди с *хаптурками из казенного мешка* — это, разумеется, мог сделать только один *француз* [Там же: 95]²¹⁶.

Конечно, *капитальчик* — всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с *французом* [Там же: 99].

3) описания внешнего облика иностранцев, построенные так, что облик этот или не самый завидный, или же скомпрометирован внутренней сущностью:

А в Дрездене я даже и перед *немками* провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что *ничего нет противнее типа дрезденских женщин* [Там же: 51–52].

Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как *англичанки*. Всё это с трудом толпится в улицах, тесно, густо. <...> Всё это жаждет добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на первого встречного [Там же: 81].

Английские поэты испокон веку любят воспевать красоту пасторских жилищ в провинции, осененных столетними дубами и вязами, их добродетельных жен и идеально прекрасных белокурых дочерей с голубыми глазами [Там же: 83].

²¹⁶ В. С. Нечаева отмечает, что Достоевский в 33 «откликнулся на итальянскую тему в полном согласии с линией», проводившейся в политических обозрениях сотрудника «Времени» А. Е. Разина: «...у Разина в его одушевленный рассказ о личности и деятельности Гарибальди постоянно вплетаются полные сарказма замечания о давлении Наполеона III на правительство Италии и его вражде к народному герою» [Нечаева 1972: 159].

Признание красоты английских женщин растворено в картине угнетенных Ваалом лондонцев, об одной из таких красавиц говорится, что она «затерялась в толпе промышленяющих женщин»²¹⁷. Последнее же описание идет в тексте после критики в адрес английских священников, которые «серьезно верят в свое тупонравственное достоинство» [Достоевский 2016: 83]. Соответственно, нет доверия и к описанию красоты английских женщин — пасторских жен.

Еще примеры из этой группы:

...мрачный характер не оставляет *англичан* и среди веселья: они и танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделявая па и как будто по обязанности [Там же: 81].

Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь *француз* серьезен, солиден и даже часто умиляется сердцем... [Там же: 85].

Все *французы* имеют удивительно *благородный вид*. У самого *подлого французика*, который за четвертак продаст вам родного отца, <...> такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение [Там же: 86].

Нет, я одному только в нем удивляюсь, — громко проговорил один *француз*, приятной и внушительной наружности, лет тридцати и с отпечатком на лице того необыкновенного *благородства*, которое до *нахальства* бросается вам в глаза во всех *французах* [Там же: 94–95].

Добродетельность, благородство, серьезность, подчеркиваемые в описаниях европейцев (больше всего французов, но также и англичан), ставятся повествователем в мысленные кавычки, сами эти слова перестают восприниматься в их прямом значении. Так, о Париже говорится, что это «самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре» [Там же: 76], и следующее за этим развенчание для привыкшего к парадоксам читателя ЗЗ не выглядит неожиданным.

Контексты, не относящиеся ни к одной большой «отрицательной» группе, которые можно было бы назвать нейтральными, при ближайшем рассмотрении оказываются не более «положительными»:

Я не знаю, но мне показалось, что *немец* куражится. <...> «Ты видишь наш мост, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки *немецки* человек, потому что у тебя нет такого моста». <...> *Немец*, конечно, этого вовсе не говорил [Там же: 53].

Немецкий акцент («всяки немецки человек») — маркер того, что немец говорит это только в сознании путешественника. Текст ЗЗ не скрывает, что в принципе передает только это сознание, поэтому даже гипотетическое

²¹⁷ Напомним о сходном мотиве у П. И. Макарова (см. § 4.1). Возможно, здесь мы имеем дело с теневой стороной национального стереотипа. Ее появление в каждом конкретном случае вряд ли стоит связывать с определенными источниками, но в английской литературе она поддерживается целым рядом образов, несомненно знакомых русским авторам, от Молль Флендерс из одноименного романа Д. Дефо до Нэнси из «Оливера Твиста» Ч. Диккенса.

высказывание самого европейца становится подтверждением его негативного качества — гордости, переходящей в гордыню.

В одном случае прямо проговаривается синонимичность в тексте понятий «французский» и «западный»:

...сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе *французской, да и вообще западной*, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное [Достоевский 2016: 89].

В этом замечании перенос качества, приписываемого повествователем французам, на европейцев в целом сделан с особенной легкостью, всего лишь подстановкой контекстуального синонима. Из-за того, что в ЗЗ с самого начала говорится о взгляде на Европу вообще (взгляде русского, но к данному месту — во второй журнальной части произведения — это уже забывается), он выглядит естественным в ходе повествования, однако утверждению не хватает рациональной убедительности. Полагаем, что здесь мы сталкиваемся с проявлением той логики, которую Достоевский заимствует у Кюстина и русских путешественников, прежде всего Фонвизина: обобщения подаются как наблюдения из увиденного, хотя на самом деле увиденного для этих обобщений недостаточно. В другом месте лексическая обработка идеи еще более разительно подчеркивает пристрастность повествователя:

...неужели *французик*, писавший “correspondance”, газета, ее поместившая у себя, и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы... [Там же: 94].

Как уже упоминалось, «французик» — слово из лексикона Чацкого — использовано так же, как и у Грибоедова, для характеристики исполненного национальной гордостью француза. К этому слову Достоевский будет прибегать и впоследствии: та же форма будет использована, например, в «Игроке» с той же целью — продемонстрировать нравственную неполноценность персонажа, к которому она там отнесена²¹⁸.

Остались нерассмотренными еще несколько примеров:

Француз до сих пор думает, что он способен нравственно давить и уничтожать [Там же: 96].

Француз любит ужасно забежать вперед [Там же: 93].

Француза, то есть парижанина (потому что ведь, в сущности, все *французы* парижане), никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре [Там же: 96].

...самое характеристичное свойство *француза* — это красноречие [Там же].

Национальнейший государь был этот Людовик XIV, вполне во *французском* духе... [Там же: 97].

Здесь невинные, на первый взгляд, характеристики (заставляющие вспомнить и Стерна, и вторую часть — опущенную в ЗЗ — сентенции Фонвизина

²¹⁸ Подробнее о развитии в «Игроке» тем и мотивов ЗЗ см. [Кибальник 2014: 138].

о том, что рассудок помешал бы французу веселиться) в контексте общих рассуждений ЗЗ сплетаются в единый клубок. Красноречие — обман (в суде) или красиво упакованное давление власти (палата депутатов), забегание вперед — гордость достигнутым, а слова Людовика XIV о том, что «государство — это я» звучат как девиз современного Достоевскому буржуа. Важно и то (возвращаясь к предыдущим пунктам национальных характеристик), что для Достоевского современное европейское общество и европейское сознание — это «собственническое» общество, которое вполне соответствует французскому национальному характеру. Даже классическая французская литература и философия — Вольтер, Руссо, о которых рассказывает старик-гид в Пантеоне — для современных французов — это набор заученных фраз, а не стимул и не пример для культурного развития. Так что «французский дух» как синоним и средоточие «европейского духа» — подвergается в ЗЗ однозначному осуждению.

Итак, «европейская Европа» ЗЗ — конструкт, который складывается даже не столько из впечатлений повествователя (эпизодов с которыми, напомним, насчитывается в тексте всего 15), сколько из отдельных характеристик, встраиваемых в его наблюдения и «заметки». Кюстиновское определение русских как нации, свернувшей со своего национального пути в сторону бесплодного подражания Европе, отражается Достоевским в определении европейцев как лишенных в принципе братского начала. Этот памфлет имеет в виду, конечно, не уязвить французов и давно скончавшегося Кюстина; он рассчитан прежде всего на самих «русских европейцев», все еще ожидающих увидеть «страну святых чудес» там, где по словам повествователя ЗЗ, все «остановилось» [Достоевский 2016: 76]²¹⁹. Перевоспитание Чацкого возможно, а «французика» — нет. Общество, оторвавшееся от «почвы», в конкретный исторический момент получает шанс обрести национальную гармонию, стоит только посмотреть не с высоты птичьего полета на свою собственную страну, как это делает столь часто цитируемая в ЗЗ русская литература.

Итоги пятой главы

Мы рассмотрели способы конструирования образа «русского европейца» в ЗЗ. На наш взгляд, эта модель — наиболее важная для понимания того, как в этом тексте формируется в творчестве Достоевского трактовка проблемы «Россия и Европа», знакомая по следующим произведениям и направляемая идеями «почвенничества».

В то же время модель «русский европеец» — как она представлена в ЗЗ — подытоживает развитие в русской литературе путешествий тех моделей,

²¹⁹ Ср. с определением «некролог целого мира», данным Л. П. Гроссманом «книге о Европе» Достоевского, «рассеянной по его романам, газетным обзорам и журнальным статьям» [Гроссман 1915: 56].

которым были посвящены предыдущие главы нашей диссертации. От модели «встречи с Европой» она наследует прагматическую составляющую: явления европейской жизни описываются для целей внутреннего развития России, поставленных русскими же (прямая параллель с деятельностью Петра I). С моделью «разочарования», данной в ПФ, ее сближает общий тон оценок и подчеркнутая народность языка, местами доведенного почти до грубости. «Наивный путешественник» дал «русскому европейцу» формулу контакта с действительностью, а из произведений, нацеленных на исследование «национального характера», заимствуется обостренный интерес к самоопределению.

Совмещая ряд признаков предыдущих моделей, она проявляется в ЗЗ в новом акте коммуникации — между самим «русским европейцем» и его русским реципиентом, а содержанием, передаваемым от первого ко второму, является отношение к явлениям, идеям, образам и ценностям, сформированным в рамках европейской культуры и общественной мысли. Данное описание явления «русского европейца», в отличие от предложенных ранее, учитывает специфику русских литературных тревелогов — художественных повествований о реальных путешествиях, и справедливо как для раннего варианта «русского европейца» в ПРП, так и для трансформированного варианта в ЗЗ.

Первый и основной образец находим в ПРП Карамзина, где и повествователь, и адресат соответствуют названным выше условиям, а сам текст свидетельствует о выполнении им задачи перевода европейских культурных реалий. Современные Карамзину путешествия, несмотря на использование отдельных элементов, входящих в модель «русского европейца», не дают полного представления о ней.

Сравнив «русского европейца» ПРП сначала с повествователем «Записок...» А. С. Шишкова (впоследствии как раз оппонента европейски ориентированных литераторов), а затем радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», мы увидели, что в случае с Шишковым, несмотря на заинтересованное внимание к увиденному в Европе, нельзя говорить о культурном трансфере, а «Путешествие...» Радищева, предлагая европейскую по сути программу, не соответствует коммуникативной модели «русского европейца» из-за фактического отсутствия определенного адресата.

Далее мы обратились к материалу ЗЗ, где эта модель взламывается. Достоевский оставляет структуру коммуникации «русского европейца», но содержанием ее становится критика самих «русских европейцев». Текст ЗЗ сигнализирует о конструировании образа на уровне контекста («русский» в ЗЗ почти всегда означает «русский европеец»), временной организации (русские описываются через прошлое — допетровское время и XVIII век, и к истокам еще не поздно вернуться) и используемых в повествовании литературных образов (пушкинских, гоголевских и т. д.). Главный среди них — образ Чацкого, который в трактовке Достоевского наполняется содержанием хотя и важным для Грибоедова как, например, автора «Загородной прогулки», но не явленном в «Горе от ума». Это — полувропеец,

чья историческая роль уже сыграна, а актуальным для России в ЗЗ объявляется тип, обладающий тем же набором моральных качеств, но стремящийся стать на почву не европейцев, а русского народа — перенять братское начало, которое составляет суть его национального характера. Сконструированный образ «русского европейца» подвергается воображаемому испытанию «точкой народного духа» и не проходит его; задача же тех «русских европейцев», к которым обращено произведение, заключается в том, чтобы вернуться к этой «точке», т.е. обратиться к народу, который сам выступает в ЗЗ как активный носитель идеи национального диалога.

Вступая в диалог с европейскими путешественниками, писавшими о России, и прежде всего с А. де Кюстином, Достоевский переворачивает ряд формулировок и стереотипов, отложившихся в них. Внимание к книге Кюстина было обусловлено, на наш взгляд, тем, что она первая в обширной «россике» предложила, кроме взгляда на Россию и русских, взгляд на отношение самой России к Европе. Повествователь ЗЗ, различая «русских европейцев» и другие типы внутри русского общества, но описывая французов, немцев, англичан как нации в целом, отсылает, с одной стороны, к неразличению иностранцами наблюдателями нюансов внутри русского национального характера, а с другой — к раздвоенности русского самосознания, которую они начали отмечать. Сами же национальные типы европейцев складываются в единый тип западного человека, чуждого идеалам «братства».

Европа не только входит в структуру образа «русского европейца» как непригодное, но привычное нравственное мерило, но и демонстрирует через своих представителей ошибочность ориентации на нее. «Русский дух» и «французский дух» сопоставимы. Но это — не два близких пути к одной цели, а движение к двум разным целям. Все то же самое говорилось и в других статьях Достоевского и его сотрудников во «Времени» — не заявленных как фельетон или травелог или «письмо из-за границы», имеющие жанровые ограничения. Но воздействие литературного произведения, а не просто журнального материала проходит по другим законам (и не всегда становится успешным актом коммуникации). В наши задачи как раз входило показать природу взаимодействия текста с читателем: не вычленив традиционные шаблоны или провести сопоставления с теми или иными фактами внелитературной жизни, а указать на те способы, которыми текст «проговаривается» о себе, какими способами конструируются в нем образы «русских европейцев» и собственно европейцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема «Россия и Европа» рассматривалась нами в аспекте конструированного в травелогах отношения России и русских к Европе. Размышления об этом отношении объединяют большую часть исследованных произведений, включая три основных — «Письма из Франции» Д. И. Фонвизина, «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского.

«Нет, наверное, ни одного сочинения типа “записки путешественников”, о котором не было сказано кем-то, что оно дает больше информации о самом путешественнике, чем об описанной им стране», — пишет, со ссылкой на М. Харбсмайера, П. У. Меллер в увлекательной статье о датском путешественнике петровской эпохи Юсте Юле [Меллер 1995: 53]. С этим невозможно не согласиться, и, пожалуй, можно только уточнить, что любое литературное путешествие, т. е. созданное с расчетом на художественное, эстетическое восприятие, дает информацию об образе автора и о тех образцах, на которые он ориентировался, еще больше, чем о реальном путешественнике.

Однако в чем же, если обобщить, специфика рассмотренных нами русских травелогов, обсуждающих проблему «Россия и Европа»? Думается, в том, что они включают рефлексии не просто о самих себе, но о том, как русские относятся к Европе. Разочарованный повествователь французских писем Фонвизина, «русский путешественник» Карамзина, наконец, желчный и пристрастный, до болезненности лелеющий свою пристрастность, путешественник Достоевского, — все они показаны своими авторами как те, кто не просто сравнивает Россию, например, с Францией, но придает огромное значение тому, что он и такие, как он, соотечественники-путешественники могут вынести из сопоставления.

Такая рефлексия определяет, на наш взгляд, модель «русский в Европе» и те ее разновидности, которые были рассмотрены в данной работе. Мы показали становление и развитие этой модели в русских травелогах, указали на зависимость от прагматики текста, проанализировали, как модель приспособляется к конкретным общественно-политическим обстоятельствам (и европейским, и российским).

Рассмотрение в историко-литературной перспективе, по хронологии внутри каждой модели, позволило показать, что в рамках выбранного периода прошли основные этапы эволюции модели, которые были подытожены в произведении, заключающем его, — «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Как мы показали, развитие модели «русский в Европе» происходит в травелогах нелинейно. Ряд текстов совмещает ее разные варианты, проявившиеся в разное время; наиболее «сильные» создают свой вариант, как правило, формирующий вокруг образа повествователя и ведущегося им диалога: «разочарованный путешественник», «наивный путешественник», «русский европеец». Наиболее загадочным остается, как ни странно,

понятие «русский путешественник». Получившее взрывное распространение после Карамзина, в его собственном тексте оно, как мы предположили, связывалось с задачами культурного перевода, что отвечало и целям «Московского журнала», в котором «Письма русского путешественника» первоначально публиковались.

Мы также сделали ряд конкретных наблюдений:

1) показали, что отбор материала в записках А. А. Матвеева о его пребывании во Франции соответствовал программе культурных преобразований Петра I; интерес этого путешественника состоял, в частности, в репрезентации идеи монархии новым для русской культуры способом — через скульптурное изображение правителя;

2) определили место в истории русских литературных путешествий перевода Кантемира из Дж. П. Мараны (в контексте переписки самого Кантемира);

3) продемонстрировали, что в середине XVIII века идея пользы путешествий выражалась в русской литературе в двух вариантах — позитивном, при котором создание травелога понималось как особая форма культурной деятельности, и негативном, воплощенном в сатирических произведениях о пустившихся в странствие невеждах, вернувшихся домой ни с чем; отметили, что эти тенденции повлияли на практику описания путешествий с включением критики нравов и элементов воспитательного императива;

4) отметили в «Письмах из Франции» следы спора с критикой французскими авторами (в том числе Шаппом д'Отрошем) России и русских; скорректировали сложившееся представление о заимствованиях Фонвизиным сведений о театральном триумфе Вольтера, указав на компилятивный, а не буквальный подход к переводу источников описания;

5) на основании некоторых высказываний в «Письмах из Франции» и рассмотрения их автографа и известных списков заново поставили вопрос об их датировке, выдвинув аргументы за и против гипотезы Г. А. Гуковского и Г. П. Макогоненко;

6) сопоставив высказывания в травелогах Фонвизина и Карамзина о философах-просветителях, предположили знакомство последнего с текстом «Писем из Франции», а также с сатирической поэмой Вольтера «Русский в Париже»;

7) сравнивая повествовательную технику Карамзина и его последователь на примере отдельных эпизодов, подтвердили суждение о рецепции «Писем русского путешественника» как произведения, распадающегося на фрагменты, которые уже сами оказывают воздействие на сентиментальные путешествия, тиражировавшие некоторые сцены;

8) прокомментировали соотношение образов «наивного путешественника» у Карамзина и Достоевского, расширив сопоставительную базу этих произведений;

9) представили комментарий к «Письмам из Лондона» П. И. Макарова; возможность найти реалии, ставшие основой различных фрагментов травелога, а также тип их обработки в произведении говорят в пользу гипотезы,

синтезирующей противоположные представления о соотношении вымысла и подлинности в «Письмах русского путешественника» и подражающих им текстах;

10) проанализировали взгляды М. Н. Загоскина и П. А. Вяземского на «Письма из Франции», показав особенности ретроспективного восприятия этого произведения в 1830-е годы;

11) подробно рассмотрели функционирование в «Зимних заметках...» образов, заимствованных Достоевским из литературных произведений, и их роль в формировании его концепции «русского путешественника»;

12) высказали предположение о типе связи между травелогом Достоевского и произведением А. де Кюстина «Россия в 1839 году».

Хотя мы привлекали к рассмотрению тексты разных жанров и даже родов литературы, а основные исследуемые произведения, за исключением карамзинского, можно назвать травелогам лишь условно, мы подошли к ним именно как к путешествиям. Под таким углом зрения в них выделяется самый важный элемент для анализа моделей типа «русский в Европе» — образ повествователя, непосредственно связанный с прагматикой произведения, формирующего свою аудиторию — фрондирующее дворянство у Фонвизина, европейски образованную публику у Карамзина или побуждаемых к полемике «русских европейцев» у Достоевского. Если обратиться не к литературным путешествиям, а к литературе путешествий, картина изменится. Вероятно, не столько результаты исследования будут другими, сколько нужно будет выбрать иную методологию, поскольку эта область русской письменности, как свидетельствует о том недавно изданный библиографический справочник [Русский травелог 2018], столь широка, что едва ли может быть охвачена использованными нами способами анализа. Возможно, к этому материалу применимы методы «дальнего чтения» или какие-то другие, основанные на статистике и подсчетах, но это не в нашей компетенции²²⁰.

Однако и литературных путешествий, не успевших привлечь к себе внимание, немало. Большая часть эпистолярных и мемуарных текстов, ожидающих исследователей в архивах, конечно, можно назвать бесхитростными документами, интересными, скорее, личностью автора (как, например, «Журнал путешествия из Петербурга в Хрущово» (1802) Е. И. Голенищевой-Кутузовой [РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Ед. хр. 75]). Но есть среди них и тексты, которые не только испытывают на себе влияние литературных

²²⁰ Отметим, однако, что семиотический подход позволяет изучить такие разные явления, находящиеся на периферии литературы путешествий, как путеводитель и национальный миф. Оба принадлежат к типу властного, руководящего дискурса и либо служат «источниками и импульсами» для произведений литературы путешествий [Киселева 2008: 25], либо делают рельефными такие функции этой литературы, как конструирование воображаемого сообщества, репрезентация нации: [Идеологическая география 2012: 13–14]. См. в этой тартуской коллективной монографии особенно гл. 2 «Идеологизация пограничного пространства в русской литературе и публицистике XIX в.».

путешествий, но и моделируются по определенной схеме. Укажем, например, на произведение А. Ф. Воейкова «Путешествие из Дерпта в Псково-Печерский монастырь (Из дорожных записок одного русского путешественника)» (1831), посвященное отъезду автора из Дерптского университета в 1820 году [РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 508]²²¹. Здесь «тихий Дерпт» противопоставляется русскому обществу, но его преимущества путешественник осознает только уезжая:

Живучи в Ливонии, мне страстно хотелось возвратиться на Русь, в последнее время даже я чувствовал тоску по Отчизне; теперь, когда желание мое исполняется, мне сгрустнулось по Ливонии. Жаль покинуть тихий Дерпт, круг ученых немцев, просвещенное общество высшего здешнего дворянства, которое предпочитает Дерпт Риге; здесь нашел я скромный и трудолюбивый образ жизни, знание цены денег и времени; домашнее хозяйство, коим не стыдятся занимаются Графини и Баронессы; сельское домоводство, которое здесь, несмотря на песчано-болотную пошву земли, находится на высокой степени совершенства; благочестие, а не ханжество, добрые нравы, а не лицемерство, желание быть счастливым, а не казаться [Там же. Л. 2–2 об.].

Это идиллическое настроение сменяется у него иным, когда встречные поселяне запели историческую песнь о Б. П. Шереметеве и сражении на Амовже (Эмайыги) — книжный патриотизм в путешественнике берет верх над расположенностью к дерптским жителям, и вскоре он забывает об университете и городе, полностью перейдя в регистр «исторических воспоминаний». Путешественник вслушивается и приводит песнь о Шереметеве практически полностью. Впрочем, несмотря на заглавие рукописи, путешествие заканчивается очерком ливонских поместий, а не монастыря, которому, видимо, должен был быть посвящен отдельный текст. В том, что высказываемое в произведении отношении к Дерпту сконструированное, сомневаться не приходится²²², однако пока неясна прагматика текста, почему он остался неопубликованным и т. д.

Расширяя круг текстов, можно было бы включить в него активно исследуемые в последнее время произведения: «Фрегат “Паллада”» И. А. Гончарова [Сорочан 2016; Wojanowska 2018], «Год в чужих краях» М. П. Погодина [Жданов 2018], путевые заметки Н. И. Греча (в связи с его агентурной деятельностью: [Рейтблат 2018: 118]), А. А. Бестужева-Марлинского [Степанищева 2016; Полякова 2019], Е. Ф. Розена [Киселева 2018: 228–241], А. И. Герцена [Кузьмина 2018] и т. д. Оговаривая невключение этих и некоторых других текстов в настоящее исследование, подчеркнем, что мы стремились не к тому, чтобы создать всеобъемлющую схему, а к тому, чтобы показать принцип и существующие связи между текстами и представленными в них моделями. Имеются, безусловно, и другие модели,

²²¹ Произведение впервые упомянуто в печати: [Никитина 2021: 2915]. О других путешествиях Воейкова см. [Там же: 2912–2921; Балакин 2022: 233–235].

²²² О двойственном отношении к Дерпту как родине-чужбине в семействе Протасовых-Мойер см.: [Киселева 2018: 149–151].

не отмеченные нами. Некоторые — гибкие, позволяют включать образ *Другого* и работать с ним, некоторые — довольно жесткие и замыкают Россию на самой себе.

В основной части нашей работы не упоминается «Путешествие в Арзрум». Между тем это произведение, стоящее несколько особняком, создавалось А. С. Пушкиным после рецензии на «Путешествие ко святым местам» А. Н. Муравьева (1832) и «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833–1835) и должно было подключать рефлексию о жанре. Как установлено в работах современных исследователей²²³, вопреки объявленному в предисловии желанию «ответить на инсинуации» В. Фонтанье, французская книга о персидском походе Паскевича явилась лишь «одной из побудительных причин» выбора «формы полуфиктивных “путевых записок”» [Долинин А. А. 2020: 406], а не мишенью. Пушкин в действительности пародировал «романтический ориентализм, прежде всего Байрона и его последователей» [Там же: 414]. Можем ли мы заключить, что Пушкин использует при этом некую особую модель, к тому же осмысляющую проблему «Россия и Европа» в путешествии, вообще говоря, на Восток? В качестве рабочей гипотезы выдвинем следующее рассуждение.

Повествователь «Путешествия в Арзрум» — поэт, от которого ждут воспеания подвигов русского воинства, причем, конечно, в духе ориентализма, т. е. подражания искусственной форме. При этом для него война на Востоке — «часть общеевропейского цивилизаторского дела» [Там же: 416], и солидарность с Европой он прячет за показным возражением случайному «невежественному французу» (которому, конечно, не нужно отвечать, поскольку он самозванный представитель Европы). Это и есть патриотизм, но не требуемый правительством, а подлинный, связанный с пониманием общности интересов и духовных ценностей русской и европейских культур — и он тоже спрятан повествователем за формами, которые, по его мнению, от него ожидалось. Знаменитое место, в котором путешественник думает, что перебирается через границу, а его цель оказывается уже занятой русскими войсками, можно читать как метафору того, что происходит с ним в повествовании: он полагает, что выступает против французской трактовки борьбы с Востоком, предлагая свою — русского литератора и путешественника. Но спор фиктивен, ведь на самом деле русская и европейская точки зрения совпадают, другой берег уже занят. Пушкин конструирует свою модель, напоминающую нам о модели в «Зимних заметках...», только у него повествователь не отделяет от себя критикуемую маску, а играет с ней, лишь иногда приоткрывая настоящее лицо.

²²³ В трактовке «Путешествия в Арзрум» мы опираемся на статью А. А. Долинина в «Пушкинской энциклопедии» (2020), подводящую итог как собственным разысканиям исследователя, так и традиции изучения произведения в целом.

Перспективы продолжения темы, повторимся, связаны, на наш взгляд, не столько с расширением набора рассматриваемых текстов, сколько с поиском новых моделей, использованных в них, а также, возможно, с подключением другой исследовательской «оптики».

Так, представляется целесообразным изучить пересечение темы «Россия и Европа» в травелогах с другим наджанровым образованием — письмами, о чем лишь отчасти говорилось в основном тексте настоящей работы. Письма о «важнейших истинах» и высоких материях, нравоучительные письма «для исправления сердца и разума», эпистолярные романы, переписка великих мира сего, сатирические письма («похвальное письмо ничему», «почта духов», «переписка моды» и т. п.), «общественно-политические» письма-послания, подобные радищевскому «Письму к другу...», наконец, письма-репортажи — все эти разновидности литературных писем, характерные для XVIII века, соединились в «Письмах русского путешественника», но продолжали развиваться и после книги Карамзина. Так, письмо из-за границы от сообщений, перепечатаваемых из иностранных газет и журналов, прошло путь к цельным произведениям: «Письмам об Испании» В. П. Боткина и, в первую очередь, «Хронике русского» А. И. Тургенева. Модели, использованные в них, должны быть близки к моделям в путешествиях, и иногда их трудно разделить.

Построение «русской карты Европы» также может стать продолжением нашего исследования. Маршрут задает ожидания от путешествия, выстраивая его структуру. В путешествиях на Запад и на Восток работают разные идеологемы, и для изучения конкретных идеологем нужно сосредоточиться на текстах, однородных с точки зрения маршрута. Для отношений России к Европе путешествия в Западную Европу более значимы, чем путешествия на Север или Восток; но если брать большой корпус травелогов, то выделение направлений неизбежно. Важны ключевые страны — начиная с Карамзина таких четыре: Франция, Германия, Англия и Швейцария, и с Карамзина же каждая из них «отвечает» за свои идеологемы. Периферийными странами будут Австрия, Испания, Бельгия и Голландия. Австрия — казалось бы, ключевой сосед России, как и Турция, в концепцию «русского путешественника в Европе» не вписывается. Италия играет очень важную роль и в жизни русских художников, и в жизни писателей, но число травелогов заметно уступает большому значению итальянских маршрутов в реальности.

Вряд ли уместно расширять хронологический охват выборки. Путешествия, написанные до XVIII века — это хождения, со своей специфической поэтикой, и они продолжают существовать параллельно со светскими текстами в течение всего периода империи. Впоследствии, уже в XX веке, путешественник в русской литературе — это русский, изгнанный из рая, деклассированный и бездомный, будь то Андрей Старцов, Вазир-Мухтар или Федор Годунов-Чердынцев. Но произведения Фебина, Тынянова, Набокова уже нельзя назвать ни травелогам, ни литературными путешествиями:

отмеренный последним срок пришелся на рассмотренный нами период и закончился примерно в годы расцвета русского романа.

Наконец, последние заметки, выходящие за пределы нашего исследования. Какими бы варварами ни предстали перед Фонвизиним «господа французы», «изволившие» обжигать свинью на улице, какими корыстными ни показались ему на поверку философы-просветители (или склочными — немецкие ученые у Карамзина), какие адские силы ни вели карнавал французской революции в «Письмах русского путешественника» или гуляние лондонской черни у Достоевского, как ни ограничены в своей закостенелости, лишены потенциала развития практически все европейцы, составившие галерею национальных типов в «Зимних заметках о летних впечатлениях», — все эти отталкивающие образы ни в одном травелоге все же никак не сливаются в образ врага. От фонвизинской максимы «Достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собой одну нацию» до мечты Достоевского о всемирном братстве, русские путешественники высказывали приверженность открытости культуры, в противоположность замкнутости на себе, которую когда-то находили в русском обществе европейские путешественники, и наиболее ясно это выразил Карамзин: «Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Руских» [Карамзин 1984: 254].

Душевная приятельница Карамзина А. И. Плещеева, как известно, обвиняла его в том, что он переменялся после «проклятых чужих краев» [Барсков 1915: 2]. Радищева, путешествовавшего лишь в воображении, обвинили в неблагонадежности, что было куда опаснее для автора, но так же неверно. Способность принять *Другого* — свойство не только взросления, но и движения. Перемещаясь из одной точки в другую, путешественник всегда откуда-то *уходит*, унося с собой опыт, в котором оставляет эту точку неизменной, тогда как она меняется и стремится от него в противоположную сторону, увеличивая разрыв. Поэтому тот, кто находится в движении и поиске, дает двусмысленный, но точный ответ на раздосадованный вопрос того, кто остался дома: «Где ж лучше?» — Где нас нет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Архивные материалы

- Древлехранилище ИРЛИ. Колл. В. Н. Перетца. Ед. хр. 386. Л. 1–63 — *Фонвизин Д. И.* Письма из Франции к одному вельможе в Москву (копия в рукопис. сб. 1798). ОР РНБ. Ф. 588. Ед. хр. 244. Л. 1–1 об. — Автобиография В. В. Измайлова (1806). РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 3076. — *Кантемир А. Д.* Письмо некоего сицилианца к своему приятелю [Пер. с фр.: *Marana J. P.* Lettre d'un Sicilien à un de ses amis, contenant une agréable Critique de Paris & des François]. Б/д.
- РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 3. Ед. хр. 3410. Л. 10–23. — *Фонвизин Д. И.* Письма к П. И. Панину. Автограф (1778).
- РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2712. Л. 1–6. — *Салаев И. Г.* Письма к П. А. Вяземскому (18 марта 1830 – 15 февраля 1832).
- РГАЛИ. Ф. 561. Оп. 3. Ед. хр. 498. Л. 1–1 об. — *Фонвизин Д. И.* Письмо к П. И. Панину от 25 янв./5 фев. 1778 из Монпелье. Копия (кон. XVIII – нач. XIX века).
- РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. № 213. Л. 1–102. — *Гуковский Г. А., Барсков Я. Л. и др.* Договоры и переписка с издательством “Academia” по собранию сочинений Фонвизина, с приложением плана издания (7 сент. 1932 – 20 нояб. 1937).
- РГВИА. Ф. 312. Оп. 1. № 1314. Л. 1–16. — Главное инженерное училище. Дело о заказе во Франции учебных пособий по рисованию (май 1838 – июнь 1845).
- РО ИРЛИ. Р. II. Оп. 1. Ед. хр. 465. — *Фонвизин Д. И.* Письма из Франции к одному вельможе в Москву. Копия в переплете (нач. XIX века).
- РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 508. Л. 1–10. — *Воейков А. Ф.* Путешествие из Дерпта в Псково-Печерский монастырь. Из дорожных записок одного русского путешественника. Автограф, писарская копия (1831).
- РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 1–10. — *Голенищева-Кутузова Е. И.* Журнал путешествия из Петербурга в Хрущово. Автограф (1802).

II. Источники

- Архив Тургеневых — Архив братьев Тургеневых. СПб. / Пг., 1911–1921. Вып. 1–5. Барсков 1915 — *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. 1780–1792. Пг., 1915. 340 с.
- Белинский 1953 — *Белинский В. Г.* [Рец. на:] Тоска по родине. Повесть. Сочинение М. Н. Загоскина. Москва. В тип. Николая Степанова. 1839. Две части. В 12-ю д. л. В I-й части 222, во II-й — 300 стр. // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 3: Статьи и рецензии. Пятидесятилетний дядьюшка. 1839–1840. С. 291–301.
- Братья Демидовы 2006 — Путешествие братьев Демидовых по Европе: письма и подневные журналы, 1750–1761 годы / Подг. текста Г. А. Победимовой при участии С. Н. Исколя; вступ. статья Г. А. Победимовой. М.: Индрик; Наука, 2006. 511 с.
- ВЕ 1806 — Вестник Европы / Изд. М. Каченовским. 1806. № 7. С. 161–175; № 8. С. 241–260; № 9. С. 3–22.
- Второв 2015 — *Второв И. А.* <Дорожные заметки> / Публ. А. Ю. Соловьева // XVIII век. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2015. Сб. 28. С. 441–472.

- Вяземский. ПСС — *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: [В 12 т.] СПб., 1878–1883.
- Герцен. ПСС — *Герцен А. И.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1964.
- Глинка 1986 — *Глинка Ф. Н.* Сочинения / Сост., автор послесловия и комм. В. И. Карпец. М.: Советская Россия, 1986.
- Глинка 1990 — *Глинка Ф. Н.* Письма к другу / Сост., вступ. статья и комм. В. П. Зверева. М.: Современник, 1990 (сер. «Библиотека “Любителям российской словесности”». Из литературного наследия).
- Гоголь 1952 — *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 8: Статьи. 816 с.
- Грибоедов. ПСС — *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1995–2006.
- Григорьев 1862 — [*Григорьев А. А.*]. Русский театр. Современное состояние драматургии и сцены // *Время*. 1862. № 11. С. 173–183.
- Григорьев 1980 — *Григорьев А.* Эстетика и критика. М., 1980.
- Григорьев 1990 — *Григорьев А. А.* Сочинения: В 2 т. / Сост. и комм. Б. Ф. Егорова. М., 1990.
- Дашкова 1775 — [Б. п.]. Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям // *Опыт трудов Вольного Российского собрания при имп. Московском университете*. 1775. Ч. 2. С. 105–144.
- Дашкова 1995 — *Дашкова Е. Р.* Le petit Tour dans les Highlands. Небольшое путешествие в Горную Шотландию / Публ. и прим. Э. Г. Кросса; пер. Н. М. Сперанской // XVIII век. СПб.: Наука, 1995. Сб. 19. С. 239–268.
- Демидов 1786 — Журнал путешествия его высокородия господина статского советника и ордена святого Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова по иностранным государствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 по возвращение в Россию ноября 22 дня 1773 года. М., 1786.
- Достоевский 1865 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1866. Т. 2. 256 с.
- Достоевский 1883 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 14 т. СПб., 1882–1883.
- Достоевский 2016 — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. и писем: В 35 т. СПб.: Наука, 2016. Т. 5: Повести и рассказы 1862–1866; Игрок; наброски и планы 1864–1866. 632 с.
- Достоевский ЗТ № 1 — *Достоевский Ф. М.* Записная тетрадь № 1 (дипломатическая транскрипция) / Подг. К. А. Баршт, С. В. Березкина, Т. Н. Галашева. 2017. <http://lib2.pushkinskiydom.ru/%D1%87-1-%D1%81-1-60> (дата обращения: 06.06.2022).
- Достоевский. ПСС — *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Л., 1972–1990.
- Екатерина II 1849 — Сочинения императрицы Екатерины II / Изд. А. Смирдина. СПб.: В типографии Императорской Академии наук, 1849. Т. 1.
- Екатерина II 1878 — Письма Императрицы Екатерины II барону Мельхиору Гримму (годы с 1774 по 1796) / Изд. и снабдил предисловием акад. Я. К. Грот. СПб., 1878. 734 с. (Сборник Императорского Русского исторического общества; Т. 23).
- Екатерина II 1901 — Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб.: Изд. Имп. Акад. наук, 1901. Т. 7: Антидот.
- Епистола к Ротенбургу 1760 — [Б. п.]. Епистола к Ротенбургу о путешествиях // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1761. Апрель. С. 451–462.
- Журнал 1841 — Журнал ежедневный пребывания в Париже государя императора Петра Алексеевича // *Русский вестник*. 1841. № 2. С. 401–413.
- Журнал для милых 1804 — Журнал для милых. 1804. № 5.

- Загоскин 1898 — *Загоскин М. Н.* Полн. собр. соч. СПб.; М.: Товарищество М. О. Вольф, 1898. Т. 5: Аскольдова могила. Тоска по родине. 473 с.
- Измайлов 1802 — Путешествие в полуденную Россию, в письмах, изданных Владимиром Измайловым: [В 4 ч.] М., 1802.
- Измайлов 1804 — *Измайлов В. В.* Несколько слов к приятелю // Патриот: Журнал воспитания / Изд. В. Измайловым. 1804. Т. 2. С. 356–363.
- Кантемир 1868 — *Кантемир А. Д.* Перевод с италийского на французской язык некоего италийского письма, содержащего утешное критическое описание Парижа и французов, писанного от некоего сицилианца к своему приятелю // Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1868. Т. 2: Сочинения и переводы в прозе, политические депеши и письма. С. 359–383.
- Кантемир 2002 — *Майелларо Дж.* Переписка кн. А. Д. Кантемира с сестрой Марией на итальянском языке. 1734–1744. [Часть 1] // Русско-итальянский архив II / Сост. Д. Рицци и А. Шишкин. Салерно, 2002. С. 25–78.
- Карамзин 1964 — *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: В 2 т. / Под ред. П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко. М.; Л.: Художественная литература, 1964.
- Карамзин 1984 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984 (сер. «Литературные памятники»).
- Карамзин 1991 — *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении / Предисловие, подг. текста и прим. Ю. С. Пивоварова. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1991. 127 с.
- Климов 2011 — Похождение прапорщика Климова (мемуары XVIII века) / Подг. текста, статья и комм. Е. Д. Кукушкиной. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. 261 с.
- Козлов 2003 — *Козлов С. А.* Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб.: Историческая иллюстрация, 2003. Т. 1. 494 с.
- Козлов 2007 — *Козлов С. А.* Путевые записки Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна 1793–1800. Предыстория первого путешествия россиян вокруг света. СПб.: Историческая иллюстрация, 2007. 302 с. (сер. «Русский путешественник эпохи Просвещения»; т. 3).
- Козлов 2009 — *Козлов С. А.* От Лейпцига до Очакова: дневниковые записки Р. М. Цебрикова. 1785–1788. СПб.: Историческая иллюстрация, 2009. 230 с. (сер. «Русский путешественник эпохи Просвещения»).
- Козлов 2011 — *Козлов С. А.* Русские пленные Великой Северной войны 1700–1721. СПб.: Историческая иллюстрация, 2011. 413 с.
- Козлов 2016 — *Козлов С. А.* Русские открывают Японию: из рукописного наследия мореплавателей В. М. Головина и А. И. Хлебникова, 1810–1820-е гг. СПб.: Историческая иллюстрация, 2016. 502 с. (сер. «Русский путешественник эпохи Просвещения»; т. 5).
- Кюстин 2008 — *Кюстин А., де.* Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. СПб.: Крига, 2008. 704 с.
- Кюхельбекер 1979 — *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подг. Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1979. 789 с. (сер. «Литературные памятники»).
- Макаров 1803а — *Макаров П. И.* Россиянин в Лондоне, или Письма друзьям моим // Московский Меркурий. 1803. Ч. 1. С. 19–40.
- Макаров 1803б — *Макаров П. И.* [Рец. на:] Путешествие в Малороссию, изданное К. П. Шаликовым. М., 1803 г. 236 стр. В 12 д. л. // Московский Меркурий. 1803. Ч. 2. № 5. С. 118–133.

- Макаров 1804 — *Макаров П. И.* Россиянин в Лондоне, или Письма друзьям моим // Вестник Европы. 1804. Ч. 15. № 9. С. 3–22.
- Макаров 1805 — *Макаров П. И.* Письма из Лондона // Сочинения и переводы Петра Макарова. М., 1805. Т. 2. С. 7–59.
- Макаров 1817 — *Макаров П. И.* Письма из Лондона // Сочинения и переводы Петра Макарова. 2-е изд. М., 1817. Т. 2. Ч. 3. С. 5–50.
- Макаров 1990 — *Макаров П. И.* Письма из Лондона // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма / Сост., автор вступ. статьи и прим. В. И. Коровин. М.: Современник, 1990. С. 500–515 (сер. «Классическая библиотека “Современника”»).
- Матвеев 1972 — Русский дипломат во Франции (Записки А. Матвеева) / Публ., подг. текстов И. С. Шарковой; под ред. А. Д. Люблинской. Л.: Наука, 1972. 296 с.
- Матвеев 1997 — *Матвеев А. А.* Описание возмущения московских стрельцов // Рождение империи / Сост. А. Либерман, С. Шокарев. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 359–414 (сер. «История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв.»).
- Мерсье 1935 — *Мерсье Л.-С.* Картины Парижа: В 2 т. / Пер. В. А. Барбашевой; ред. и комм. Е. А. Гунста; статья Ц. Фридлянда. М.: Academia, 1935–1936.
- МЖ 1791 — *Карамзин Н. М.* О иностранных книгах // Московский журнал. 1791. Ч. 3. № 8. С. 201–216.
- Нартов 1842 — *Нартов А.* Достопамятные повествования и речи Петра Великого (окончание) // Москвитянин. 1842. № 11. С. 116–142.
- Невилль 1996 — *Невилль де ла.* Записки о Московии / Предисловие, пер., комм. А. С. Лаврова; отв. ред. Назаров В. Д., Малинин Ю. П. М.: Аллегро-пресс, 1996. 304 с. (сер. «Россия и российское общество глазами иностранцев XV–XIX вв.»; вып. 1).
- Новиков 1951 — *Новиков Н. И.* Избр. соч. / Изд. подг. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951.
- Новонайденный автограф 1968 — Новонайденный автограф Пушкина / Подг. текста, статьи и комм. В. Э. Вацура и М. И. Гиллельсона. М.; Л., 1968.
- О путешествии 1769 — [Б. п.]. О путешествии в чужие края // Полезное с приятным. Полумесячное упражнение на 1769 год. Третий полумесяц. С. 13–16.
- Огарев 1861 — *Огарев Н.* Предисловие // Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон: Trübner & Co, 1861. Отд. 1: Стихотворения. Ч. 1. С. III–XCVI.
- Остафьевский архив 1899 — Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с прим. В. И. Сайтова. СПб., 1899. Т. 3: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1824–1836. 364 с.
- Письма 1980 — Письма русских писателей XVIII века / Отв. ред. Г. П. Макогоненко; [подг. текста А. Б. Шишкина, В. П. Степанова и др.]. Л.: Наука, 1980. 472 с.
- Полевой 1990 — *Полевой Н. А.* Избранная историческая проза. М., 1990.
- Процесс Радищева 1952 — *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1952. 359 с.
- Пушкин. ПСС — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
- Радищев 1992 — *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Изд. подг. В. А. Западов. СПб., 1992 (сер. «Литературные памятники»).
- Радищев. ПСС — *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч.: В 3 т. Л., 1938–1952.

- Россия и Запад 2000 — Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Вып. 1: Литературные источники первой четверти XVIII века / Отв. ред. Е. Н. Лебедев. М.: Наследие; ИМЛИ РАН, 2000. 493 с.
- Россия и Запад 2003 — Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Вып. 2: Литературные источники XVIII века (1726–1762) / [Изд. подг. Э. Л. Афанасьев, Н. Д. Блудилина и др.]; отв. ред. В. М. Гуминский. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 845 с.
- Россия и Запад 2008 — Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Вып. 3: Литературные источники последней трети XVIII века / Отв. ред. Н. Д. Блудилина. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 846 с.
- Руссо 1969 — *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты / Изд. подгот. В. С. Алексеев-Попов, Ю. М. Лотман, Н. А. Полторацкий, А. Д. Хаютин. М.: Наука, 1969 (сер. «Литературные памятники»).
- Сатирический дух 1789 — Сатирический дух г. Вольтера, или Собрание некоторых любопытных сатирических его сочинений / Пер. с фр. И<вана> Р<ахманинова>. С указанного дозволения. СПб., 1789. 192 с.
- Сб. РИО 1871 — Сборник РИО. СПб., 1871. Т. 7.
- Сенковский 1838 — [Сенковский О. И.] Литературная летопись. Январь, 1838. Новые книги. <Ночи Пюблик-Султан-Багадур> // Библиотека для Чтения. 1838. Т. XXVI. Отд. VI. С. 35–98.
- Сивков 1914 — Путешествия русских людей за границу в XVIII в. / Сост. К. В. Сивков. СПб.: Книгоиздательство типо-литография «Энергия», 1914. 134 с.
- СПЖ 1798 — Санкт-Петербургский журнал. 1798. № 9. С. 1–5; № 10. С. 1–23.
- Сталь 2017 — *Сталь Ж. де.* Десять лет в изгнании = Dix années d'exil / Пер. с фр., статьи и комм. В. А. Мильчиной. СПб.: Крига, 2017. 471 с.
- Стерн 1968 — *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие / Пер. А. А. Франковского. М., 1968.
- Страхов 1863 — *Русский* [Страхов Н. Н.]. Роковой вопрос // Время. 1863. № 4. С. 152–163.
- Сумароков 1787 — *Сумароков А. П.* Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. М.: Н. И. Новиков, 1787. Ч. 1–10. 2-е изд.
- Толстой 1992 — Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699 / Изд. подг. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М.: Наука, 1992 (сер. «Литературные памятники»).
- Фонвизин 1830 — Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина. М.: И. Г. Салаев, 1830. Ч. I–IV.
- Фонвизин 1838 — Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина. М.: В тип. Семена, 1838. 229 с. 2-е изд.
- Фонвизин 1866 — *Фонвизин Д. И.* Соч., письма и избр. переводы / Ред. изд. П. А. Ефремова. СПб.: И. И. Глазунов, 1866. 691 с.
- Фонвизин 1959 — *Фонвизин Д. И.* Собр. соч.: В 2 т. / Изд. подг. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1959.
- Фонвизин, Радищев 1984 — *Фонвизин Д. И., Радищев А. Н.* Избранное / Вступ. статья и прим. Г. П. Макогоненко. М.: Правда, 1984. 528 с.
- Чернышевский 1949 — *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М.: Гос. изд. худ. литературы, 1949. Т. 2: Статьи и рецензии. 1853–1855. 944 с.
- Шаликов 1990 — *Шаликов П. И.* Путешествие в Малороссию // Ландшафт моих воображений: Страницы прозы русского сентиментализма / Сост., авт. вступ. статьи и прим. В. И. Коровин. М.: Современник, 1990. С. 516–570 (сер. «Классическая библиотека “Современника”»).

- Шапп 2005 — *Karrer d'Ankoss* Э. Императрица и аббат: Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д'Отероша / Пер. с фр. О. Павловской. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 463 с.
- Шаховской 1961 — *Шаховской А. А.* Новый Стерн: Комедия в одном действии // Шаховской А. А. Комедии, стихотворения / Вступ. статья, подг. текста и прим. А. А. Гозенпуда. Л.: Советский писатель, 1961. С. 735–752 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Шишков 1824 — *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. СПб., 1824. Ч. 2.
- Шишков 1834 — Записки адмирала А. С. Шишкова, веденные им во время путешествия его из Кронштада в Константинополь. СПб.: В типографии Императорской Российской академии, 1834.
- Шишков 1897 — Русский путешественник прошлого века за границей (собственно-ручные письма А. С. Шишкова 1776 и 1777 г.) // Русская старина. 1897. Т. ХС. № 5. С. 409–423.
- Шувалов 1845 — Письма Ивана Ивановича Шувалова к сестре его родной, княгине Прасковье Ивановне Голицыной, урожденной Шуваловой // Москвитянин. 1845. Ч. V. № 10. Отд. 1. С. 131–155.
- Boisserée 1821 — *Ansichten, Risse und einzelne Theile des Doms von Köln: mit Ergänzungen nach dem Entwurf des Meisters, nebst Untersuchungen über die alte Kirchen-Baukunst und vergleichenden Tafeln der vorzüglichsten Denkmale* / Hrsg. von S. Boisserée. Stuttgart: Auf Kosten des Verfassers und der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1821. Bd 1.
- Brice 1706 — *Brice G.* Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable. Paris: Nicolas Le Gras, 1706. Т. 1–2.
- Correspondance littéraire 1880 — *Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Revue sur les textes originaux comprenant oute ce qui a été publié à diverses époques les fragments suprimés en 1813 par la censure les parties inédites conservées a la bibliothèque ducale de Gotha et l'Arsenal a Paris* / Notices, notes, table générale par Maurice Tourneux. Paris: Garnier frères, libraires-éditeurs, 1880. Т. 12.
- Fonvazine 1995 — *Fonvazine D.* Lettres de France (1777–1778) / Traduites du russe et commentées par H. Grosse, J. Proust et P. Zaborov; préface de W. Berelowitch. Paris, 1995.
- Friedrich der Große 2012 — *Friedrich der Große.* Potsdamer Ausgabe = *Frédéric le Grand.* Édition de Potsdam. Berlin: Akademie Verlag, 2012. Bd VII. Werke des Philosophen von Sanssouci. Oden, Episteln, Die Kriegskunst. = Œuvres du Philosophe de Sans-Souci. Odes, Épîtres, L'art de la guerre / Aus dem Französischen übersetzt von Hans W. Schumacher; hrsg. Von Jünger Overhoff und Vanessa de Senarclens. 648 p.
- Gazette de France 1778 — *Gazette de France.* 1778. № 46. 8 Juin.
- Journal de la littérature 1778 — *Journal de politique et de la littérature.* 1778. Т. 1. № 10. 5 Avril.
- Journal de Paris 1778 — *Journal de Paris.* 1778. № 90. 31 Mars; № 119. 28 Avril; № 172. 21 Juin.
- Perks 1793 — *The youth's general introduction to geography, containing a Description of the several Empires, Kingdoms and States in the World ... by Wm. Perks, Pimlico.* London, 1793. 2nd ed.

III. Исследования

- Алпатов 1976 — *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая половина XVIII века. М.: Наука, 1976. 456 с.
- Альтшуллер 2007 — *Альтшуллер М. Г.* Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 448 с. (*Historia rossica*). 2-е изд., доп.
- Андерсон 2002 — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2002.
- Андреев 2005 — *Андреев А. Ю.* Русские студенты в немецких университетах XVIII – первой половины XIX века. М.: Знак, 2005. 432 с. (сер. “*Studia historica*”).
- Антонов, Кобак 1994 — *Антонов В. В., Кобак А. В.* Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб., 1994. Т. 1.
- Архипова 1997 — *Архипова А. В.* Александровская эпоха в интерпретации Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1997. Т. 14. С. 82–84.
- Багно 1988 — *Багно В. Е.* Дорогами «Дон Кихота». М., 1988.
- Балакин 2022 — *Балакин А. Ю.* Близко к тексту: Разыскания и предположения. СПб.; М.: «RUGRAM_Пальмира», 2022. 377 с. (сер. «Пальмира — университет»). 2-е изд., испр. и доп.
- Барсков 1915 — *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII-го века. 1780–1792 гг. Петроград, 1915. LXII, 336 с.
- Бартенев 1857 — *Бартенев П.* Биография И. И. Шувалова. М., 1857.
- Безродный 2021 — *Безродный М. В.* Из комментария к «Пиковой даме»: 11–16 // Русская литература. 2021. № 4. С. 103–108.
- Белов 2011 — Ф. М. Достоевский. Указатель произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем на русском языке, 1844–2004 гг. / Сост. С. В. Белов. СПб., 2011.
- Бем 1936 — *Бем А. Л.* «Горе от ума» в творчестве Достоевского // Бем А. Л. У истоков творчества Достоевского. Прага, 1936. С. 13–33.
- Берелович 1996 — *Берелович В.* Посланец Петра Великого А. А. Матвеев в Париже 1705–1706 гг. / Пер. с фр. З. С. Ельмеевой и Н. С. Прилипка // Исторический архив. 1996. № 1. С. 203–214.
- Берков 1952 — *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1952. 572 с.
- Библиотека Достоевского — Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Науч. описание / Отв. ред. Н. Ф. Буданова. СПб., 2005.
- Библиотека Матвеева — Библиотека А. А. Матвеева (1666–1728): Каталог / Сост. И. М. Полонская и др. М.: ГБЛ, 1985. 215 с.
- Билинкис 1976 — *Билинкис М. Я.* К вопросу о проблемах мемуарного жанра в русской литературе первой трети XVIII века // Проблемы эстетики и поэтики. Межвузовский сб. науч. трудов. Ярославль, 1976. Вып. 160. С. 3–10.
- Билинкис 1995 — *Билинкис М. Я.* Русская проза XVIII века: документальные жанры, повесть, роман. СПб.: Издательство СПбГУ, 1995. 102 с.
- Блудилина 2005 — *Блудилина Н. Д.* Запад в русской литературе XVIII века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2005. 41 с.
- Брусовани, Гальперина 1988 — *Брусовани М. И., Гальперина Р. Г.* Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского в 1862 и 1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1988. Т. 8. С. 272–292.

- Булкина 2008 — *Булкина И.* Монах был путеводителем нашим...»: Киев конца XVIII – начала XIX вв. глазами путешественников // *Vademecum*. Путеводитель как семиотический объект. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. С. 240–262.
- Булкина 2019 — *Булкина И.* «...В вибрациях его меди»: отражения «петербургского текста» в киевской литературе // *Intermezzo festoso. Liber amicorum in honorem Lea Pild*: Историко-филологический сборник в честь доцента кафедры русской литературы Тартуского университета Леа Пильд. Тарту, 2019. С. 286–300.
- Бухаркин 1999 — *Бухаркин П. Е.* Н. М. Карамзин — человек и писатель — в истории русской литературы. СПб.: СПбГУ, 1999.
- Бухаркин 2004 — *Бухаркин П. Е.* Об одном письме Д. И. Фонвизина: опыт культурологического комментария (К вопросу о формировании «Петербургского текста» русской литературы) // XVIII век. СПб.: Наука, 2004. Сб. 23. С. 104–117.
- Вагеманс 2016 — *Вагеманс Э.* Травелог бельгийских монархистов о николаевской России vs сочинение Астольфа де Кюстина // *Quaestio Rossica*. 2016. Т. 4. № 1. С. 55–78.
- Вагеманс 2017 — *Вагеманс Э.* Царь в Республике. Второе путешествие Петра Великого в Нидерланды (1716–1717) / Пер. с нидерл. В. К. Ронина. СПб.: Издательство «Европейский Дом», 2017. 2-е изд., испр. 260 с.
- Вацуру 1988 — *Вацуру В. Э.* Второв И. А. // *Словарь русских писателей XVIII века*. Л., 1988. Вып 1: А–И. С. 179–181.
- Вацуру 1994 — *Вацуру В. Э.* В преддверии пушкинской эпохи // Арзамас. Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 5–27.
- Вацуру 1999 — *Вацуру В. Э.* «Сиерра-Морена» Н. М. Карамзина и литературная традиция // XVIII век: Сборник. СПб., 1999. Сб. 21. С. 327–336.
- Вацуру 2000 — *Вацуру В. Э.* «К вельможе» // Вацуру В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 179–216.
- Вацуру 2002 — *Вацуру В. Э.* Готический роман в России. М., 2002.
- Вачева 2018 — *Вачева А.* Образы уходящего мира в «Письмах русского путешественника» // Карамзин-писатель: коллективная монография / Под ред. Н. Д. Кочетковой, А. Ю. Веселовой, Р. Бодэна. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2018. С. 45–60.
- Векшина 2010 — *Векшина А.* «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского как риторическое путешествие // *Сon amore*: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 83–91.
- Велижев 2007 — *Велижев М. Б.* Об источниках «петровской» концепции С. Н. Глинки // *Петр Великий* / Сост. и ред. Е. В. Анисимов. М.: ОГИ, 2007. С. 34–67 (сер. «Нация и культура / Новые исследования: Россия / Russia»).
- Видугирите 2019 — *Видугирите И.* Гоголь и географическое воображение романтизма. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 320 с.
- Власов 2019 — *Власов С. В.* Французские образцы «Опыта российского сословника» Д. И. Фонвизина // *Литературная культура России XVIII века*. СПб., 2019. Вып. 8. С. 309–339.
- Волгин 2021 — *Волгин И. Л.* Достоевский как турист (1862): открытие Европы или тайный визит к Искандеру? // *Неизвестный Достоевский*. 2021. Т. 8. № 3. С. 31–71.
- Вошинская 2005 — *Вошинская Н.* Два д’Отроша (J. Charpe d’Auteroche. Voyage en Sibirie. Э. Каррер д’Анкосс. Императрица и аббат. Незданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д’Отероша) // *Отечественные записки*. 2005. № 5.

- Гиллельсон 1969 — *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. 392 с.
- Гиллельсон 1974 — *Гиллельсон М. И.* Проблема «Россия и Запад» в отзывах писателей пушкинского круга // Русская литература. 1974. № 2. С. 121–130.
- Гинзбург 1986 — *Гинзбург Л. Я.* П. А. Вяземский // Вяземский П. А. Стихотворения / Вступ. статья Л. Я. Гинзбург; сост., подг. текста и прим. К. А. Кумпан. Л.: Советский писатель, 1986 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Гришунин 1973 — *Гришунин А. А.* Грибоедов и «Горе от ума» в наследии Достоевского // Искусство слова: Сб. статей к 80-летию Д. Д. Благого. М., 1973. С. 192–198.
- Гроссман 1915 — *Гроссман Л. П.* Достоевский и Европа // Русская мысль. 1915. № 11. С. 54–93.
- Гуковский 1936 — *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы XVIII века: Дворянская фронда в литературе 1750-х – 1760-х годов М.; Л.: Издательство Академии наук, 1936. 236 с.
- Гуковский 1938 — *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л.: Художественная литература, 1938. 313 с.
- Гуковский 1941 — *Гуковский Г. А.* Карамзин // История русской литературы: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 5. Ч. 1. С. 55–105.
- Гуковский 1947 — *Гуковский Г. А.* Фонвизин // История русской литературы: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. Т. 4. Ч. 2. С. 152–200.
- Де Лазари 2004 — *Де Лазари А.* В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М., 2004.
- Де-Пуле 1875 — *Де-Пуле М. Ф.* Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники // Русский вестник. 1875. Т. 116. № 4. С. 494–544; Т. 117. № 5. С. 105–187; № 6. С. 463–524; Т. 118. № 7. С. 56–107; № 8. С. 550–621; Т. 119. № 9. С. 121–181.
- Долинин А. А. 2020 — *Долинин А. А.* «Путешествие в Арзрум» // Пушкинская энциклопедия: Произведения. СПб.: Нестор-История, 2020. Вып. 4: П–Р. С. 402–426.
- Долинин А. С. 1940 — *Долинин А. С.* Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов // Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общетсвенному движению / Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 238–254.
- Долинин А. С. 1963 — *Долинин А. С.* Достоевский и Герцен // Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М., 1963. С. 215–230.
- Живов 2002 — *Живов В. М.* Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 381–435 (сер. «Язык. Семиотика. Культура»).
- Живов 2017 — *Живов В. М.* История языка русской письменности: В 2 т. М.: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. Т. 2. 480 с.
- Жилиякова 1983 — *Жилиякова Э. М.* О жанровом своеобразии «Зимних заметок о летних впечатлениях» (Достоевский и Карамзин) // Проблемы литературных жанров. Томск, 1983. С. 73–74.
- Заборов 1978 — *Заборов П. Р.* Русская литература и Вольтер. XVIII – первая треть XIX века Л., 1978.
- Заборов 1994 — *Заборов П. Р.* Новонайденные автографы Д. И. Фонвизина // Русская литература. 1994. № 4. С. 181–183.

- Захаров 1985 — *Захаров В. Н.* Система жанров Достоевского: Типология и проблематика. Л., 1985.
- Зиннер 1968 — *Зиннер Э. П.* Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. [Иркутск], 1968. 248 с.
- Зорин 1989 — *Зорин А. Л.* Второв И. А. // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1: А–Г. С. 497.
- Зорин 2001 — *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 414 с. (сер. “Historia rossica”).
- Зорин 2016 — *Зорин А. Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. Москва: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с.
- Зубков 2014 — *Зубков К. Ю.* Наука о литературе и литературная классика: опыт критического обзора юбилейной гончаровской литературы // *Slavica Revalensia*. 2014. Vol. 1. С. 155–175.
- Иванов Д. 2009 — *Иванов Д.* Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра: [Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе]. Тарту: Tartu Ülikooli kirjastus, 2009. 223 с. (Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuensis; 24).
- Иванов М. 1974 — *Иванов М. В.* Проблемы истории и французская революция в творчестве Карамзина 1790-х годов // *Русская литература*. 1974. № 2. С. 134–142.
- Идеологическая география 2012 — «Идеологическая география» Российской империи: пространства, границы, обитатели / Ред. Л. Киселева. Тарту, 2012. С. 13–14 (сер. “Humaniora: Litterae Russicae”).
- Кантор 2001 — *Кантор В. К.* Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001. 704 с.
- Кибальник 2014 — *Кибальник С. А.* Проблемы интертекстуальной поэтики Ф. М. Достоевского (на материале романа «Игрок») // *Русская литература*. 2014. № 1. С. 135–148.
- Кийко 1974 — *Кийко Е. И.* Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839» // *Достоевский. Материалы и исследования*. Л.: Наука, 1974. Вып. 1. С. 189–200.
- Киселева 1982 — *Киселева Л. Н.* Еще раз о С. Н. Глинке — читателе «Слова о полку Игореве» // *Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана* / Сост. С. Исаков. Таллин: Ээсти раамат, 1982. С. 97–100.
- Киселева 1995 — *Киселева Л.* Русский «архаист» в Европе // «Свое» и «чужое» в литературе и культуре: *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*, IV. Тарту: Tartu Ülikool kirjastus, 1995. С. 66–86.
- Киселева 2002 — *Киселева Л.* «Смоляне в 1611 году» А. А. Шаховского как попытка создания национальной трагедии // *Тыняновский сборник*. Вып. 11: Десятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: ОГИ, 2002. С. 301–317.
- Киселева 2008 — *Киселева Л.* Путеводитель как семиотический объект: К постановке проблемы (на примере путеводителей по Эстонии XIX в.) // *Путеводитель как семиотический объект*. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. С. 15–40 (сер. “Humaniora: Litterae Russicae”).
- Киселева 2018 — *Киселева Л. Н.* Эстонско-русское культурное пространство. М.: Викмо-М, 2018. 344 с.

- Киселева 2019 — *Киселева Л. Н.* Багаж путешественника (к поэтике «Писем русского путешественника») // *Intermezzo festoso. Liber amicorum in honorem Lea Pild:* Историко-филологический сборник в честь доцента кафедры русской литературы Тартуского университета Леа Пильд. Тарту, 2019. С. 28–40.
- Клейн 2020 — *Клейн И.* Дерзкий “Monsieur K*”: О «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина // XVIII век. Сборник 30: А. П. Сумароков и русская литература его времени. СПб., 2020. С. 305–328.
- Клубков 2011 — *Клубков П. А.* Этимологии Третьяковского как факт истории лингвистики // Клубков П. А. Формирование петербургской традиции лингвистической русистики (XVIII – начало XIX в.): Историко-лингвистические очерки. СПб.: СПбГУ, 2011. С. 38–54.
- Ключевский 1957 — *Ключевский В. О.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1957. Т. 4.
- Ключкин 1997 — *Ключкин К.* Сентиментальная коммерция: «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 84–98.
- Козлов 2008 — *Козлов С. А.* Русские путешественники Нового времени: имперский взгляд или восприятие космополита? // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context.* Sapporo, 2008. С. 133–147.
- Козьмин 1959 — *Козьмин М. Б.* Журнал «Утра» и его место в русской журналистике XVIII века // XVIII век. Сб. 4 / Отв. ред. П. Н. Берков. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1959. С. 104–135.
- Кондаков 2019 — *Кондаков Д. А.* Русские литераторы XVIII века глазами парижской полиции // *Slovĕne.* 2019. Vol. 8. № 1. С. 254–268.
- Коптева 2011 — *Коптева Э. И.* Литературно-биографический анекдот в «Письмах из Франции» Д. И. Фонвизина и «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2011. № 2. С. 273–279.
- Костин 2005 — *Костин А. А.* Житие Федора Васильевича Ушакова А. Н. Радищева как повесть о юности // Вестник молодых ученых. 2005. № 4. Сер. Филологические науки. № 2. С. 53–60.
- Кочеткова 1975 — *Кочеткова Н. Д.* Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века (А. Н. Радищев) // Литературное наследие декабристов. Л.: Наука, 1975. С. 100–120.
- Кочеткова 2010 — *Кочеткова Н. Д.* Фонвизин Павел Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 2010. Вып. 3. С. 319–323.
- Кросс 1995 — *Кросс Э. Г.* Поездки княгини Е. Р. Дашковой в Великобританию (1770 и 1776–1780 гг.) и ее «Небольшое путешествие в Горную Шотландию» (1777) / Пер. Ю. Д. Левина // XVIII век. СПб.: Наука, 1995. Сб. 19. С. 223–238.
- Кросс 1996 — *Кросс Э.* У Темзских берегов: Россияне в Британии в XVIII веке / Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. СПб.: Академический проект, 1996. 387 с. (сер. «Современная западная русистика»).
- Кузьмина 2018 — *Кузьмина М. Д.* Русский европеизм в зеркале литературы: От древнерусских хождений к «Былому и думам» А. И. Герцена. СПб.: Росток, 2018. 304 с.
- Кукушкина, Старикова 1988 — *Кукушкина Е. Д., Старикова Л. М.* Дмитревский Иван Афанасьевич // Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. С. 266–268.
- Кулишкина 2010 — *Кулишкина О.* «Свое» и «чужое» в русском травелоге конца XVIII – XIX вв. (Фонвизин, Карамзин, Достоевский) // Конструкты национальной идентичности в русской культуре XVIII–XIX веков. М., 2010.

- Кучеров 1941 — *Кучеров А. Я.* Сентиментальная повесть и литература путешествий // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.; Л.: Издательство АН СССР, 1941. Т. 5. Ч. 1. С. 113–115.
- Лаппо-Данилевский 2010 — *Лаппо-Данилевский К. Ю.* Тейльс Иван Антонович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб.: Наука, 2010. Вып. 3: Р–Я. С. 224–225.
- Ларионова 2020 — *Ларионова Е. О.* <Пометы на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине»> // Пушкинская энциклопедия: Произведения. СПб.: Нестор-История, 2020. Вып. 4: П–Р. С. 256–259.
- Левченко 2012 — *Левченко Я. С.* Другая наука: русские формалисты в поисках биографии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 298 с.
- Лейбман 1999 — *Лейбман О. Я.* Макаров Петр Иванович // Словарь русских писателей XVIII века. СПб., 1999. Вып. 2. К–П. С. 263–265.
- Летопись 1993 — Летопись жизни и творчества Достоевского. 1821–1881: В 3 т. СПб., 1993. Т. 1: 1821–1864.
- Лобанова 1992 — *Лобанова Л. П.* Измайлов Владимир Васильевич // Русские писатели 1800–1917. М. 1992. Т. 2. С. 408–409.
- Ложкин 2000 — *Ложкин Б. Є.* Романи М. М. Загоскіна кінця 1830-х – початку 1840-х років як художній підсумок творчості письменника: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Харків, 2000. 17 с.
- Ложкова 2014 — *Ложкова Т. А.* «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки в контексте ораторской прозы начала XIX века // Политическая лингвистика. 2014. № 2 (48).
- Лотман 1981 — *Лотман Ю. М.* Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе, конец XVIII – начало XIX в. / Отв. ред. Г. П. Макогоненко, А. М. Панченко. Л.: Наука, 1981. С. 102–131.
- Лотман 1987 — *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987 (сер. «Писатели о писателях»).
- Лотман 1988 — *Лотман Ю. М.* «О Древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб.: Искусство–СПБ, 1997. С. 588–600.
- Лотман, Успенский 1977 — *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977. [Вып.] XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова. С. 3–36.
- Лотман, Успенский 1984 — *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 525–606 (сер. «Литературные памятники»).
- Люстров 2013 — *Люстров М. Ю.* Фонвизин. М., 2013 (сер. «Жизнь замечательных людей»).
- Мадариага 2002 — *Мадариага И. де.* Россия в эпоху Екатерины Великой / Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 976 с. (сер. “Historia Rossica”).

- Мазур 2004 — *Мазур Н. Н.* Из истории формирования русской национальной идеологии (первая треть XIX в.) // «Цепь непрерывного предания...» Сборник памяти А. Г. Тартаковского. М., 2004. С. 196–250.
- Майорова 2002 — *Майорова О.* Политический подтекст споров вокруг празднования тысячелетия России // Тыняновский сборник. Вып. 11: Десятые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы. М.: ОГИ, 2002. С. 318–332.
- Макогоненко 1961 — *Макогоненко Г. П.* Денис Фонвизин: Творческий путь. М.; Л.: Гослитиздат, 1961. 443 с.
- Марасинова 2017 — *Марасинова Е. Н.* «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 508 с. (сер. “Historia Rossica”).
- Маркович 1995 — *Маркович В. М.* «Горе от ума» и движение русской литературно-критической мысли (XIX – начало XX в.) // «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской...»: К 200-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. Сб. литературоведческих и методических статей. СПб.: Симпозиум, 1995. С. 4–41.
- Маркович 1996 — *Маркович В. М.* «Русский европеец» в прозе Тургенева 1850-х годов // Памяти Григория Абрамовича Бялого: К 90-летию со дня рождения. Научные статьи. Воспоминания. СПб., 1996. С. 24–42.
- Матвеева 1994 — *Матвеева О. М.* «Зимние заметки о летних впечатлениях» как художественно-документальное произведение и их роль в формировании поэтики зрелого Достоевского // Документальное и художественное в литературном произведении: Сб. тр. Иваново, 1994. С. 92–102.
- Меднис 1999 — *Меднис Н. Е.* Венеция в русской литературе. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1999. 392 с.
- Мезин 2018 — *Мезин С. А.* Дидро и цивилизация России / Отв. ред. М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 272 с. (сер. “Historia Rossica”).
- Меллер 1995 — *Меллер П. У.* «Внутри их по-прежнему сидит мужик»: Образ русских в записках датского морского командора Юста Юля, посланника при Петре Первом (1709–1711) // «Свое» и «чужое» в литературе и культуре: *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*, IV. Тарту: Tartu Ulikool kirjastus, 1995. С. 53–65.
- Мещеряков 1983 — *Мещеряков В. П.* Грибоедов: Литературное окружение и восприятие (XIX – начало XX в.). / Отв. ред. Ф. Я. Прийма. Л., 1983.
- Мещеряков 1985 — *Мещеряков В. П.* Новое о Грибоедове // *Русская литература*. 1985. № 1. С. 195–205.
- Миллер 2017 — *Миллер А. И.* Понятие «нация» у Карамзина: от «Писем русского путешественника» до «Мнения русского гражданина». https://www.youtube.com/watch?v=i6fmyvw_2QA (дата обращения: 06.06.2022).
- Мильчина, Осповат А. 2008 — *Мильчина В. А., Осповат А. Л.* Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб.: Крига, 2008. 368 с.
- Михновец 2014 — *Михновец Н. Г.* «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского в современных западных исследованиях // *Русская литература*. 2014. № 3. С. 118–128.
- Мозговая 1995 — *Мозговая Е. Б.* Образ Петра I — императора в произведениях Бартоломео Карло Растрелли // *Монархия и народовластие в культуре Просвещения* / Ред. Г. С. Кучеренко и др. М.: Наука, 1995. С. 3–16.
- Моряков 2017 — *Моряков В. И.* Французские просветители Рейналь и Дидро о самодержавии и крепостном праве в России // *Вестник Московского ун-та. Сер. 8: История*. 2017. № 6. С. 31–45.

- Нечаева 1972 — *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861–1863. М., 1972.
- Никитина 2021 — *Никитина Д. М.* Жанровые особенности описаний А. Ф. Воейковым подмосковных усадеб // Филологические науки. Вопросы теории и практики. = *Philology. Theory & Practice*. 2021. Т. 14. Вып. 10. С. 2912–2921.
- Николози 2007 — *Николози Р.* Микрокосм нового: Кунсткамера, Петербург и символический порядок Петровской эпохи / Пер. с нем. Т. Ластовка под ред. К. Богданова // *Петр Великий* / Сост., ред. Е. В. Анисимов. М.: ОГИ, 2007. С. 156–174 (сер. «Нация и культура / Новые исследования: Россия / Russia»).
- Новашевская 2020 — *Новашевская К. А. А. Шаховской* — идеолог русского национального театра: [Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе]. Тарту: University of Tartu Press, 2020. 251 с. (*Dissertationes philologiae slavicae Universitatis Tartuensis*; 42).
- Одесский 2005 — *Одесский М.* Укрощенный messiанизм: «Руфь» В. В. Измайлова — библейская инсценировка для детского театра // *Toronto Slavic Quarterly*. 2005. Spring. № 12. <http://sites.utoronto.ca/tsq/12/odesskij12.shtml> (дата обращения 12.04.2022).
- Ольшевская, Травников 1992 — *Ольшевская Л. А., Травников С. Н.* «Умнейшая голова в России...» // Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699 / Изд. подг. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М.: Наука, 1992. С. 251–291 (сер. «Литературные памятники»).
- Осповат А. 1980 — *Осповат А. Л.* Заметки о почвенничестве // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1980. Вып. 4. С. 168–173.
- Осповат К. 2020 — *Осповат К. А.* Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 477 с. (сер. «Интеллектуальная история»).
- Павлов-Сильванский 1897 — *Павлов-Сильванский Н.* Проекты реформ в записках современников Петра Великого. Опыт изучения русских проектов и неизданные их тексты [1897] / Предисловие И. В. Курукина. М.: ГПИИБ, 2000. 287 с.
- Панофски 2011 — *Панофски Г.* Приезд Карамзина в Берлин и его встреча с русским ветераном в Потсдаме. Факты вместо вымыслов // XVIII век. СПб.: Наука, 2011. Сб. 26: Старое и новое в русском литературном сознании XVIII века. С. 254–287.
- Панофски 2018 — *Панофски Г.* Отражение европейской эстетики XVIII века в «Письмах русского путешественника» // Карамзин-писатель: коллективная монография / Под ред. Н. Д. Кочетковой, А. Ю. Веселовой, Р. Бодэна. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2018. С. 27–44.
- Першкина 2013 — *Першкина А. Н.* Журнал братьев Достоевских «Время»: История, поэтика, проблемы атрибуции. Дис. ... канд. филол. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2013.
- Петрунина 1981 — *Петрунина Н. Н.* Проза 1800–1810-х годов // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2. С. 51–79.
- Пигарев 1954 — *Пигарев К. В.* Творчество Фонвизина. М.: Издательство АН СССР, 1954. 316 с.
- Плюханова 2015 — *Плюханова М.* Борис Иванович Куракин в Риме в 1707 году // Из России в Италию: творческая интеллигенция и Рим (XVIII–XIX век) = *Dalla Russia in Italia. Intellettuali e artisti a Roma (XVIII e XIX secoli)* / A cura di S. Androssov, T. Musatova, A. d'Amelia, R. Giuliani. Salerno: Università di Salerno, 2015. С. 23–40 (*Collana di Europa Orientalis*; 24).

- Померанцев 2000 — *Померанцев И.* Достоевский и литература путешествий // *Russian Literature*. 2000. Vol. 47 (1). С. 93–109.
- Пономарев 2013 — *Пономарев Е. Р.* Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920–1930-х годов. СПб.: СПГУТД, 2013. 2-е изд., испр. и доп.
- Проскурина 2017 — *Проскурина В. Ю.* Империя пера Екатерины II: литература как политика. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 256 с. (сер. «Интеллектуальная история»).
- Пумпянский 1947 — *Пумпянский Л. В.* Сентиментализм // *История русской литературы*: В 10 т. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1947. Т. 4: Литература XVIII века. Ч. 2. С. 430–445.
- Пумпянский 2012 — *Пумпянский Л. В.* <О стиле Карамзина>. Эксцерпты из книги В. Сиповского — Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899 / Вступ. статья, подг. текста и комм. Н. И. Николаева // *Litterarum fructus*: Сб. статей в честь Сергея Ивановича Николаева. СПб.: Альянс-Архео, 2012. С. 296–307.
- Пыпин 1899 — *Пыпин А. Н.* История русской литературы: В 4 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. Т. 3. 535 с.
- Рак 2011 — *Рак В. Д.* Фонвизин в работе со словарем французских синонимов аббата Габриэля Жирара // *Западный сборник: В честь 80-летия П. Р. Заборова*. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2011. С. 351–358.
- Рассадин 1980 — *Рассадин Ст. Б.* Фонвизин. М.: Искусство, 1980. 288 с. (сер. «Жизнь в искусстве»).
- Роботи 1926 — *Роботи Т. А.* Литература «путешествий» // *Русская проза: Сб. статей / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова*. Л.: Academia, 1926. С. 42–73 (сер. «Вопросы поэтики»).
- Руднев, Хэн Фу 2019 — *Руднев Д., Хэн Фу.* «Перевод некоего итальянского письма» А. Д. Кантемира (1726): история текста и особенности языка // *Slověne*. 2019. Vol. 8. № 1. С. 223–253.
- Русский травелог 2018 — *Русский травелог XVIII – начала XX веков. Аннотированный указатель / Ред. Т. И. Печерская; сост. А. А. Богодерова, Н. А. Ермакова и др.* Новосибирск: Немо Пресс, 2018. 829 с.
- Серман 1971 — *Серман И. З.* Достоевский и Ап. Григорьев // *Достоевский и его время*. Л., 1971. С. 130–142.
- Серман 1988 — *Серман И. З.* Письма Д. И. Фонвизина к П. И. Панину из Франции (проблема жанра) // *Oxford Slavonic Papers. New series*. 1988. Vol. 21. P. 105–119.
- Серман 2004 — *Серман И. З.* Где и когда создавались «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина? // *XVIII век*. СПб.: Наука, 2004. Сб. 23. С. 194–210.
- Сивков 1914 — *Сивков К. В.* Путешествия русских людей за границу в XVIII веке. СПб.: Энергия, 1914. 134 с.
- Сиповский 1899 — *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб.: Типография В. Демакова, 1899. — VIII, 578, [2], 64, [1] с. (Записки историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета; Ч. 49).
- КСИР 2015 — *Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825) / [Сост. А. Р. Румянцев и др.]; [ред. Е. Е. Соколинский]*. СПб.: Российская национальная библиотека, 2015. Т. 4: Журналы (Н–П): с росписью содержания. 743 с.

- Соловьев 2011 — *Соловьев А. Ю.* Поиск счастья «русским путешественником» (сентиментальный сюжет в «Путешествии в полуденную Россию» В. В. Измайлова) // Русская литература. 2011. № 3. С. 139–147.
- Соловьев 2013 — *Соловьев А. Ю.* История текста «Путешествия в полуденную Россию» В. В. Измайлова // XVIII век. Сборник 27: Пути развития русской литературы XVIII века. СПб., 2013. С. 343–361.
- Соловьев 2020 — *Соловьев А.* Вклад Опояза в изучение русских литературных путешествий // Эйхенбаумовский сборник / Сост. и ред. К. В. Сарычева. М., 2020. С. 186–196.
- Соловьев 2021 — *Соловьев А. Ю.* Русская литература путешествий в исследованиях последних лет // Русская литература. 2021. № 3. С. 254–262.
- Старцев 1990 — *Старцев А. И.* Радищев: Годы испытаний: Очерки. М.: Советский писатель, 1990. 432 с. 2-е изд., доп.
- Стенник 1993 — *Стенник Ю. В.* Проблема композиции «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева // Скафтымовские чтения. Саратов, 1993. С. 12–16.
- Степанов 1986 — *Степанов В. П.* Полемика вокруг Д. И. Фонвизина в период создания «Недоросля» // XVIII век. Л.: Наука, 1986. Сб. 15: Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. С. 204–229.
- Стефко 2009 — *Стефко М. С.* Европейский город в записках русских путешественников конца XVIII – начала XIX вв.: стратегия описания и источники представлений (на примере Парижа) // Вестник Самарского гос. ун-та. 2009. № 3 (69). С. 84–89.
- Стричек 1994 — *Стричек А.* Денис Фонвизин: Россия эпохи Просвещения / Пер. с фр. Е. Демьяновой, А. Каменского. М., 1994.
- Строев 1999 — *Строев А. Ф.* «Россиянин в Париже» Вольтера и «Русской парижанец» Д. И. Хвостова // Вольтер и Россия / Под ред. А. Д. Михайлова, А. Ф. Строева. М., 1999. С. 31–42.
- Тиме 2003 — *Тиме Г. А.* «Русский европеец» — фантом или реальность? [Рец. на: *Кантор В. К.* Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001. 704 с.] // Русская литература. 2003. № 1. С. 246–251.
- Тиме 2007 — *Тиме Г. А.* О феномене русского путешествия в Европу. Генезис и литературный жанр // Русская литература. 2007. № 3. С. 3–18.
- Тоддес 2019 — *Тоддес Е. А.* Избранные труды по русской литературе и филологии / [Сост. Е. Э. Лямина и др.]. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 757 с. (сер. «Научная библиотека» / «Новое литературное обозрение: научное приложение; вып. 174).
- Томашевский, Вольперт 2004 — *Томашевский Б. В., Вольперт Л. И.* Сталь // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 2004. Т. 18/19: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 318–320.
- Тополова 2014 — *Тополова О. С.* «Русский путешественник прошлого века за границей (собственноручные письма А. С. Шишкова 1776 и 1777 гг.):» Особенности эпистолярного «путешествия» // Вестник славянских культур. 2014. № 4 (34). С. 132–141.
- Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. К 200-летию со дня выхода в свет. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. 509 с.
- Туниманов 1980 — *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского (1854–1862). Л.: Наука, 1980. 296 с.
- Тынянов 1929 — *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы. [Л.]: Прибой, 1929. 596 с.

- Уварова 1994 — *Уварова С. В.* Макаров Петр Иванович // Русские писатели, 1800–1917. М., 1994. Т. 3. К–М. С. 473–474.
- Удовик 2005 — *Удовик В. А.* Жизненный путь А. Р. Воронцова. СПб.: Нестор-История, 2005. 158 с.
- Устинов 2001 — *Устинов Д.* Формализм и младоформалисты. Статья первая: постановка проблемы // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 296–321.
- Федосеева 2003 — *Федосеева А.* «Страна, к которой нельзя не привязаться»: Английские впечатления русских путешественников // *Studia slavica* (Tallinn). 2003. Vol. 3. С. 35–43.
- Фокин 2013 — *Фокин С. Л.* Достоевский и Мане: Французская женщина и парижские буржуа // Межэтнические и межконфессиональные связи в русской литературе и фольклоре. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; РХГА, 2013. С. 257–267 (сер. «Россия – Запад – Восток: Литературные и культурные связи»; вып. 1).
- Фомина 2014 — *Фомина Е.* Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева: [Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе]. Тарту: University of Tartu Press, 2014. 150 с. (*Dissertationes philologicae slavicae Universitatis Tartuensis*; 31).
- Фомичев 1977 — *Фомичев С. А.* Спорные вопросы грибоедовской текстологии // Русская литература. 1977. № 2. С. 68–69.
- Фомичев 1977а — *Фомичев С. А.* Заметки о грибоедовской текстологии // А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977.
- Фомичев 1988 — *Фомичев С. А.* Комментарии // Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988. С. 697–699.
- Халиуллин 2021 — *Халиуллин К. Р.* Антинаполеоновские кампании 1805–1807 годов и военная тема в русской поэзии // Русская литература. 2021. № 3. С. 142–155.
- Хобсбаум 1998 — *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. А. А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1998. 305 с.
- Хэн Фу 2022 — *Хэн Фу.* Переводы А. Д. Кантемира: репертуар, приемы, примечания. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. СПб., 2022
- Цылина 2014 — *Цылина А. А.* «Письма из Лондона» П. И. Макарова: Проблема литературных влияний // Литературная культура России XVIII века. СПб., 2014. Вып. 5. С. 267–284.
- Чичерин 1971 — *Чичерин А. В.* Ранние предшественники Достоевского // Достоевский и русские писатели: Традиции. Новаторство. Мастерство. Сб. статей. М., 1971. С. 355–374.
- Шёнле 2004 — *Шёнле А.* Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840 / Пер. с англ. Д. Соловьева. — СПб.: Академический проект, 2004. 272 с. (Современная западная русистика; Т. 51).
- Шишкин, Глезеров 2022 — *Шишкин В. В.* Литературная дуэль. Как Екатерина Великая «сражалась» с аббатом из Франции / Интервью С. Глезерова // Санкт-Петербургские ведомости. 2022. 27 июля.
- Шмурло 1896 — *Е. Ш.* [Шмурло Е. Ф.]. Матвеев Андрей Артамонович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1896. Т. XVIII–А (36). С. 778.
- Шокарев 1997 — *Шокарев С.* Записки современников Петра Великого об эпохе преобразований // Рождение империи / Сост. А. Либерман, С. Шокарев. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 415–426 (сер. «История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX вв.»).

- Штедтке 2001 — *Штедтке К.* Субъективность как фикция. Проблема авторского дискурса в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина // *Логос*. 2001. № 3 (30). С. 143–151.
- Эджертон 1966 — *Эджертон В. Б.* Знакомство Фонвизина с Лабланшери в Париже // XVIII век. М.; Л.: Наука, 1966. Сб. 7: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. С. 165–173.
- Эйхенбаум 1969 — *Эйхенбаум Б. М.* Карамзин // Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л.: Художественная литература, 1969. С. 203–213.
- Эткинд 2001 — *Эткинд А. М.* Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., 2001.
- Якубович 1983 — *Якубович И. Д.* Достоевский в Главном инженерном училище (Материалы к летописи жизни и творчества писателя) // *Достоевский. Материалы и исследования*. Л.: Наука, 1983. Т. 5. С. 179–186.
- Arndt 2004 — *Arndt C. H.* Dostoevsky's Engagement of Russian Intellectuals in the Question of Russia and Europe: From "Winter Notes on Summer Impressions" to "The Devils". PhD dissertation. Brown University, 2004.
- Baudin 2011 — *Baudin R.* Nikolaï Karamzine à Strasbourg. Un écrivain-voyageur russe dans l'Alsace révolutionnaire (1789). Strasbourg, 2011 (Études orientales, slaves et néo-helléniques).
- Berelowitch 1995 — *Berelowitch W.* Aux sources d'un modele a construire: la France de 1705 vue par un Russe // *De Russie et d'ailleurs. Melanges Marc Ferro*. Paris, 1995. P. 389–403.
- Björling 1997 — *Björling F.* Dostoevskij's outburst of wounded patriotism: prejudice or perspicacity? On the first visit to Europe as presented in "Winter Notes on Summer Impressions" // *Culture and History*, № 14: Reciprocal Images. Russian culture in the mirror of travellers' accounts: (based on the Kollekolle Conference, Copenhagen, 2.–5. December 1994) / Quest editor Peter Ulf Moller. Oslo: Scandinavian University Press, 1997. P. 74–92.
- Black 1975 — *Black J. J.* Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: A Study in Russian Political and Historical Thought. University of Toronto Press, 1975. 264 p.
- Cross 1971 — *Cross A. G.* N. M. Karamzin: A Study of His Literary Career, 1783–1803. Carbondale, Il., 1971.
- Dickinson 2006 — *Dickinson S.* Breaking Ground: Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin. Amsterdam; New York: Rodopi, 2006 (Studies in Slavic Literature and Poetics; vol. XLV).
- Dictionnaire 1891 — *Dictionnaire des parlementaires français...: depuis le 1^{er} Mai 1789 jusqu'au 1^{er} Mai 1889... / Publ. sous la dir. de MM. Adolphe Robert, Edgar Bourloton et Gaston Cougny*. Paris, 1891. Vol. 3.
- Dwyer 2011 — *Dwyer A.* Of Hats and Trains: Cultural Traffic in Leskov's and Dostoevskii's Westward Journeys // *Slavic Review*. 2011. Vol. 70. № 1 (Spring 2011). P. 67–93.
- Kleespies 2002 — *Kleespies I.* East West Home is Best: The Grand Tour in D. I. Fonvizin's *Pis'ma iz Francii* and N. M. Karamzin's *Pis'ma Russkogo Putešestvennika* // *Russian Literature*. 2002. Vol. LII. P. 251–269.
- Kleespies 2006 — *Kleespies I. A.* Caught at the Border: Travel, Nomadism, and Russian National Identity in Karamzin's "Letters of a Russian Traveler" and Dostoevsky's "Winter Notes on Summer Impressions" // *The Slavic and East European Journal*. 2006. Vol. 50. № 2. P. 231–251.

- Levitt 2009 — *Levitt M. C.* An Antidote to Nervous Juice: Catherine the Great's Debate with Chappe d'Autheroche over Russian Culture // *Levitt M. C. Early Modern Russian Letters: Texts and Contexts. Selected Essays.* Boston, Mass.: Academic Studies Press, 2009. P. 339–357 (Studies in Russian and Slavic Literatures, Cultures and History).
- Offord 2000 — *Offord D.* Beware the Garden of Earthly Delights: Fonvizin and Dostoevskii on Life in France // *The Slavonic and East European Review.* 2000. Vol. 78. № 4 (Oct.). P. 625–642.
- Offord 2005 — *Offord D.* Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing. Netherlands: Springer, 2005. 287 p.
- Panofsky 2010 — *Panofsky G. S.* Nikolai Mikhailovich Karamzin in Germany: Fiction as Facts. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010. 181 p. (Opera slavica, Neue Folge).
- Pomian 1987 — *Pomian K.* Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise XVIe–XVIIIe siècle. Gallimard, 1987.
- Rothe 1960–1962 — *Rothe H.* Karamzinstudien I, II // *Zeitschrift für slavische Philologie.* 1960. Bd XXIX. S. 102–125; 1962. Bd XXX. S. 272–306.
- Rothe 1968 — *Rothe H. N. M.* Karamzin's europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Bad Homburg; Berlin; Zürich, 1968 (“Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven”; Bd 1).
- Simankov 2017 — *Simankov V.* Originals and Translations: A Study Based on Old Slavic Texts and Russian Eighteenth-Century Journals. PhD Dissertation. Providence, RI: Brown University, 2017. 612 p.
- Smoliarova 2019 — *Smoliarova T.* Theatrical Metaphor and the Discourse of History: Nikolai Karamzin // *Theater as Metaphor* / Ed. J. Küpper, E. Penskaya. De Gruyter, 2019. P. 191–206.
- Waegemans 1985 — *Waegemans E.* Betrachtungen über das Reisen in der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts // *Zeitschrift für Slawistik.* 1985. Bd 30. № 3. S. 430–435.
- Waquet 1984 — *Waquet F.* Qu'est-ce que la République des Letters?: essai de sémantique historique // *Bibliothèque de l'École des Chartes.* 1984. T. 147. P. 473–502.
- Zorin, Korchmina 2018 — *Zorin A., Korchmina E. S.* Karamzin and Money // *Cahiers du Monde Russe.* 2018. Vol. 59. № 1. P. 117–140.

KOKKUVÕTE

Probleem „Venemaa ja Euroopa“ vene reisikirjades (Fonvizin, Karamzin, Dostojevski)

„Venemaa ja Euroopa“ on üks uue aja vene kirjanduse, kriitika ja publitsistika võtmetähtsusega probleeme. Just valitud kronoloogilisel perioodil — 18.–19. sajandi keskpaik — hakkas venelaste suhtumine Euroopasse kujunema omaette kirjeldusobjektiks, mis on eriti iseloomulik traveloogidele (ka sünonüümidena: „reisikiri“, „reisikirjandus“, „travel literature“, „travel writing“, „Reisebericht“). Käesolevas väitekirjas käsitletakse ainult neid reisikirju, kus autorid on, esiteks, seda probleemi oma põhiteemana vaadelnud ja, teiseks, kasutanud mudelit „venelane Euroopas“. Selle mudeli evolutsioon on antud töös tähelepanu keskpunktis.

Käesolevas väitekirjas käsitletakse ainult neid reisikirju, kus autorid on: 1) seda probleemi oma põhiteemana vaadelnud ja 2) kasutanud mudelit „venelane Euroopas“. Selle mudeli evolutsioon on antud töös tähelepanu keskpunktis.

Vene reisikirjandus on väga ulatuslik ja ükski uurimus ei suuda kogu materjali hõlmata, seetõttu keskendusime olulistele, pretsedenti loovatele tekstidele: **Deniss Fonvizini „Kirjad Prantsusmaalt“** (1778); **Nikolai Karamzini „Vene reisija kirjad“** (1791–1801). Viimastega on liidetud tema järgijate tekstid (Vladimir Izmailov, Pjotr Makarov, Pjotr Šalikov) ja Fjodor Glinka „Vene ohvitseri kirjad“; **Fjodor Dostojevski „Talviseid märkmeid suviseist muljeist“** (1863). Kuigi need tekstid on korduvalt uurimisobjektiks olnud, pakutakse väitekirjas nende analüüsimiseks välja uus lähenemisviis. Fonvizini, Karamzini ja Dostojevski teosed kujutavad endast kolme kõige tähelepanuväärsemat näidet erinevate mudelite konstrueerimisest: „pettunud reisija“, „naiivne reisija“, „vene reisija“, „vene eurooplane“. Väitekirja näitab, et need, varem uurimata mudelid on vene reisikirjanduses kõige mõjukamad.

Dissertatsiooni igas peatükis räägitakse ühest mudelist. Esimeses peatükis „*Venelane Pariisis*“: *kohtumine Euroopaga* vaadeldakse ajaliselt kõige varasemat mudelit, mis on tekkinud Peetri-ajastul ja levinud umbes 1770. aastateni: venelane räägib sellest, kuidas toimub tema esimene *kohtumine Euroopaga*. Konkreetsetes reisikirjeldustes, nagu peatükis näidatud, on jutustajal juba enne reisi kujundatud teatud ootus. Eeldatakse, et see tulenes reisimise eesmärgi väljakujunenud konventsioonist ja sellele „vale“ lähenemise ohust. Seda mudelit analüüsitakse erineva pragmaatilise suunitlusega tekstide näitel: diplomaat Andrei Matvejevi kirjad, kirjanik Antioh Kantemiri kirjad õele ning isenda ja perekonna jaoks peetud päevaraamatud (Nikita Demidov), mälestused haridusliku eesmärgiga reisidest (Aleksandr Vorontsov). Need tekstid on asetatud vene kirjanduses ilmunud reisimist puudutavate mõtiskluste (Aleksandr Sumarokov jt) ja Lääne-Euroopa allikates (muuhulgas Voltaire'il) venelasi kujutavate kirjutiste konteksti. Töös näidatakse, et kirjeldatud mudel on 18. sajandi traveloogide kirjanduslik konstruktsioon, mis võis hiljem olla kaasatud nii dokumentaalset

kui ka kirjanduslikku laadi teostesse, hõlmates nii kõiki kolme põhiteksti — Fonvizinit, Karamzini ja Dostojevskit.

Teine peatükk *Erapoolikus kui võte: Denis Fonvizini „Kirjad Prantsusmaalt„*, on pühendatud mudelile, mis teatud mõttes kasvab välja esimesest ja mis ilmnes Fonvizini „Kirjades“ — *pettunud reisija*. Jutustaja, kes väidab, et tema kirjelduse eesmärk on uurida prantslaste rahvuslikku iseloomu, ei modelleeri mitte iseloomu, vaid suhtumist sellesse. Fonvizini kasutatud võte sobitub tema kaasaegsesse Lääne-Euroopa traditsiooni (Charles Pinot Duclos, Louis-Sebastien Mercier). Veel üheks Fonvizini poleemika aineseks olevaks eeltekstiks on väitekirja autori arvates välismaalaste kirjutised Venemaast. Selles peatükis vaadeldakse ka jutustaja ja konstrueeritava adressaadi-oponendi kuvandite suhet, mis lokaliseerub nii Euroopas kui ka Venemaal. Traveloog, luues „vene reisija“ kuju, pöörab tema tunnetuse enda kui rahvuse esindaja poole.

Karamzin asetab „Vene reisija kirjades“ oma lugeja samasse olukorda, kus olid Peeter I aegsed reisijad esimese Euroopaga tutvumise ajal. Kolmandas peatükis *Nikolai Karamzini ja Fjodor Dostojevski „naiivne reisija“* vaadeldakse, kuidas Karamzin modelleerib seda olukorda läbi jutustaja kuju, keda esitatakse kui *naiivset reisijat*. Lisaks analüüsitakse sellel kujundil põhinevaid võtteid, mis määravad ära teksti suhtumise probleemi „Venemaa ja Euroopa“.

„Vene reisija kirju“ läbivad pidevalt reisija enesemääratlused, mis on kord varjatud, kord nähtavad, ja kõik need, nagu töö näitab, viivad üldistava ja pealkirjas välja toodud „vene reisijani“. Jutustaja hääle konstrueerimine tekstis on lahutamatu seotud probleemiga „Venemaa ja Euroopa“. Karamzini pakutud mudeli spetsiifika väljaselgitamiseks kõrvutatakse tema teksti selles peatükis tema jätkajate — Vladimir Izmailovi, Pjotr Šalikovi, Pjotr Makarovi — reisidega, kes kasutavad otsesõnu Karamzini leide. „Naiivse reisija“ kujund ilmneb, esiteks, jutustaja ja lugeja võrdsustamises, teiseks — tunnetusprotsessi näitamises erinevate vaatenurkade (sõna otseses mõttes) kõrvutamise kaudu. Naiivsus kui reisija omadus ei määra vaadet Euroopale tervikuna, vaid detailides, millest moodustubki „Vene reisija kirjades“ mosaiik. See mudel, nagu kaks eelmistki, elab traveloogides veel väga kaua, peegeldudes ka Dostojevski „Talviste märkmete suvisest muljeist“ ülesehituses. Siin kasutatakse seda poleemikas Karamziniga nii narratiivi kui autoripositsiooni tasandil. Antud peatükis näidatakse, kuidas apelleerimine Karamzinile on Dostojevski jaoks võti ligipääsu saamiseks mudelile, mida ta püüab lõhkuda.

Karamzini üldistav definitsioon „vene reisija“ tõstab dissertandi arvates esile keele selle sõna semiootilises tähenduses kui tõlkeinstrumendi: Euroopa kultuuri, elustiili, pärandi tõlkimise, mis saab Peeter I töö jätkuks, seejuures minevikust lahku lõomata. Sündmuste tasandil on „naiivne reisija“ näidatud tegelikkuse tunnetamise protsessi subjektina, mis annab kokkuvõttes rikastatud, keerulise maailmapildi.

Nagu väitekirjas näidatud, eeldab venelaste suhtumist Euroopasse kirjeldav mudel jutustava instantsi ning konstrueeritud *rahvusliku iseloomu* esiplaanile toomist. Pärast *venelikkuse* rõhutamist Karamzinil oli see pööre vältimatu.

Neljandas peatükis *Eurooplaste ja venelaste rahvuslike iseloomude konstrueerimine kirjanduslikel reisidel* jälgitakse, kuidas on muutunud vene traveloogide põhiobjekt pärast „Vene reisija kirju“ ja kuidas oma rahvuslik iseloom on osutunud huvitavamaks kui võõras. Eristatakse kahte konstrueerimisviisi: kirjanduslik mäng metafooride ja paradoksidega ning kirjelduse allutamine ideoloogemile. Viimane oli ühine vene ja Lääne-Euroopa traveloogi traditsioonidele ning arenes neis samaaegselt 18.–19. sajandi vahetusel. See mudelivahetus ei saanud jätta mõjutamata eelmiste mudelite valitsemisajal loodud traveloogide retseptiooni. Seda käsitletakse Fonvizini „Kirjade Prantsusmaalt“ 1830. aastate retseptiooni näitel nii kirjandusprotsessis osalejate kitsa ringi tajus kui ka laiemale avalikkusele mõeldud arvustustes. Kahe positsiooni kokkupõrge — orienteerumine rahva vaimule või ajaloolisele maailmavaatele — leidis kajastust poleemikas Fonvizini teose üle Aleksandr Puškini ja Pjotr Vjazemski vahel. „Erapoolikuse“ motiivi tõlgendab Vjazemski Fonvizini eurooplaste kirjelduses kui omanäolise mõistuse omadust, Puškin ja temast sõltumatult esinenud Ivan Salajev aga kui ajaloolist dokumenti.

Vaadeldi ka seda, kuidas „Kirjad Prantsusmaalt“ said materjaliks arutlustele vene reisijatest Mihhail Zagoskini jutustuses „Igatsus kodumaa järele“, mille tegevus toimub 19. sajandi alguses.

Viies peatükk „Vene eurooplaste“ ja „euroopalik Euroopa“ Dostojevski „Talvistes märkmetes suviseist muljeist“ arendab ja üldistab varem käsitletud mudeleid. Need ühinevad *vene eurooplase* kujundis ja funktsioonis, mida ta teoses omab. Reisikirjanduses kujunenud „vene eurooplase“ figuuri tõlgendatakse väitekirjas teisiti kui kaasaegses mõtteleos ja filosoofilises kirjandusteaduses. Seda vaadeldakse kui osa subjekt-objektsest traveloogi korrastatusest; näidatakse, kuidas Dostojevski seda mudelit üheaegselt nii kinnistab kui ka transformeerib. „Talvistes märkmetes“ signaaliseerib konstrueerimisest võõraste kirjanduslike kujundite (nt Tšatski ja teiste Gribojedovi „Häda mõistuse pärast“ tegelaste) kasutamine, kellest saavad Dostojevski tegelased. „Vene eurooplase“ mudel „Talvistes märkmetes“ eeldab erilist kommunikatsiooni „vene eurooplase“ ja liht-rahva vahel, mille edukusest sõltub Dostojevski sõnul riigi tulevik. Pöördumine Euroopa konteksti poole näitab, et „Talvised märkmed“ oli hiline, kuid täpne repliik kujuteldavas dialoogis eurooplastega, kes mõtestasid Venemaa suhtumist Euroopasse (eelkõige Astolphe de Custine'iga). Euroopa ise muutub Dostojevskil „vene eurooplase“ iseloomustuseks ja selles tekstis kujundatud tõlgendus probleemist „Venemaa ja Euroopa“ leiab seejärel edasiarendust kirjaniku edasistes kirjutistes.

Samas, nagu viiendas peatükis näidatud, võtab mudel „vene eurooplase“ kokku nende mudelite arengu vene reisikirjades, millele olid pühendatud väitekirja eelmised peatükid. Mudeliil „kohtumine Euroopaga“ pärib ta pragmaatilise osa: Euroopa elu nähtusi kirjeldatakse Venemaa sisemise arengu eesmärkidel. „Kirjades Prantsusmaalt“ antud „pettumuse“ mudeliga lähendab seda üldine hinnangute toon ja keele rõhutatud rahvapärasus. „Naiivne reisija“ andis „vene eurooplasele“ kontaktivalemi tegelikkusega. Teostest, mille eesmärk on uurida „rahvuslikku iseloomu“, on laenatud teravdatud huvi enesemääramise vastu.

Doktoritöös vaadeldavate vene traveloogide spetsiifika seisneb selles, et need sisaldavad refleksiooni mitte lihtsalt iseenda kohta, vaid ka selle kohta, *kuidas venelased Euroopasse suhtuvad*.

Mudeli „venelane Euroopas“ ja selle variantide käsitlemine viidi töös läbi ajaloolis-kirjanduslikus perspektiivis, kronoloogiliselt iga mudeli sees. Kokkuvõttes võimaldas see näidata, et valitud kronoloogilise perioodi raames on jälgitavad mudeli evolutsiooni põhietapid, mis võeti kokku seda sõlmivas teoses „Talviseid märkmeid suviseist muljeist“.

Oluline on rõhutada veel ühte väitekirja järeldust. Jutustaja kujund Fonvizini, Karamzini ja Dostojevski traveloogides on otseselt seotud oma lugejaskonda kujundava teose pragmaatikaga. Fonvizinil on selleks lugejaks eesrindlik aadelkond, Karamzinil euroopalikult haritud publik, Dostojevskil poleemikaks kutsutud „vene eurooplased“.

Laiendades tekstide ringi, võiks pöörduda selliste viimasel ajal aktiivselt uuritud teoste poole nagu Puškini „Teekond Arzrumi“, Ivan Gontšarovi "Fregatt „Pallada“", Mihhail Pogodini „Aasta võõrastes maades“, Nikolai Gretši, Aleksandr Bestužev-Marlinski, Jegor Rozeni, Aleksandr Herzeni jt reisimärkmed. Kuid käesolevas väitekirjas ei tahetud luua kõikehõlmavat skeemi, oluline oli näidata tekstide ja neis esitatud mudelite põhimõtteid ja olemasolevaid seoseid. On kindlasti ka teisi mudeleid, mis ei ole väitekirjas mainitud. Mõned neist on paindlikud, võimaldades lisada *Teise* kuju ja töötada sellega, mõned on üsna jäigad ja lühistavad Venemaa iseendal. Teema jätkamise perspektiivid ei ole käesoleva töö autori seisukohalt seotud mitte vaadeldavate tekstide kogumi laiendamisega, vaid neis kasutatud uute mudelite leidmisega ja võib-olla ka mõne uue uurimisvaatepunkti lisamisega.

„Vene Euroopa kaardi“ loomine võib samuti olla jätkuks uurimistöole. Marsruut paneb ette teatud ootused reisile, kujundades selle struktuuri. Reisidel Läände ja Idasse töötavad erinevad ideologeemid ning konkreetsete ideologeemide uurimiseks tuleb keskenduda tekstidele, mis on marsruudilt sarnased. Venemaa suhete jaoks Euroopaga on reisimine Lääne-Euroopasse olulisem kui reisimine Põhja või Idasse; kuid kui võtta suur korpus travelooge, siis on sihtkohtade eristamine vältimatu.

Vaevalt on asjakohane laiendada valimi kronoloogilist ulatust. Enne 18. sajandit kirjeldatud reisid on religioossed palverännakud. Neil on spetsiifiline poeetika ja nad eksisteerivad kogu impeeriumiaja vältel paralleelselt ilmalike tekstidega. Hiljem, juba 20. sajandil, on vene kirjanduse reisija venelane, kes on paradiisist välja aetud, deklasseeritud ja kodutu. Kuid sellele kujundile orienteeritud teoseid ei saa nimetada ei traveloogideks ega reisikirjadeks: viimastele määratud aeg saabus vaadeldud perioodil ja lõppes umbes vene romaani õitsenguaastatel.

ABSTRACT

The issue of Russia and Europe in Russian literary travelogues (Fonvizin, Karamzin, Dostoevsky)

“Russia and Europe” is one of the key issues for Russian literature, criticism and opinion journalism of the Modern Times. In namely this chronological period — from the 18th to the early 19th centuries — the attitude to Europe started to become a subject of depiction. This is particularly characteristic of travelogues (the terms “travelogue”, “travel literature”, “travel writing”, “Reisebericht” are used synonymously). The current thesis observes only these of them where the authors, first, disclosed this issue as the theme of their text and, second, used the model of the “Russian in Europe”. The attention is centred on the evolution of this model.

Russian travel literature is very broad and no one research can exhaust the whole material; therefore, the thesis concentrates on the precedential texts — *Letters from France* by Denis Fonvizin (1778) and *Letters of a Russian traveller* by Nikolay Karamzin (1791–1801). The latter is linked with the texts of his followers (Vladimir Izmailov, Pyotr Makarov, Pyotr Shalikov) and *Letters of a Russian Officer* by Fyodor Glinka and *Winter Notes on Summer Impressions* by Fyodor Dostoevsky (1863). Although these writings have been a research subject for many times, they are analysed in this thesis from a novel aspect. The works of Fonvizin, Karamzin and Dostoevsky are three most notable examples of *constructing* various models: “the disappointed traveller”, “the naive traveller”, “the Russian traveller”, “the Russian European”, and these models, as shown in the thesis, although greatly influential in Russian literature, have almost not been studied.

Each of the chapters of the thesis discusses one of these models. The first chapter, “*Russian in Paris: Encounter with Europe*” views the temporally earliest model, which appeared in the era of Peter I and lasted until approximately the 1770s — a Russian narrates about his first *encounter with Europe*. In concrete travelogues, as shown in the chapter, the narrator has expectations that have taken shape before the journey. These are assumed to be caused by the developed convention about the purpose of the travel and the dangers of the “wrong” approach to them. The analysis of this model is based on texts with various pragmatic purposes: diplomat’s notes (Andrey Matveyev), translation and private correspondence (Antioch Cantemir), diaries kept for oneself and the family (Nikita Demidov), memories about educational travels (Alexander Vorontsov). These works are placed in the context of reasonings about travelling which appeared in Russian literature (Alexander Sumarokov and others) and also of the images of Russians in Western European sources (particularly, Voltaire). The thesis shows that the described model is a literary construction of 18th-century travelogues, and, therefore, as a consequence, it could have been employed in works

of documentary and literary character to which all the three main texts — by Fonvizin, Karamzin and Dostoevsky — belong.

The second chapter, “Partiality as Device: *Letters from France* by Denis Fonvizin”, deals with the model that in some ways grows out of the first one — the *disappointed traveller* appearing in Fonvizin’s *Letters*. The narrator who declares that the aim of his description is studying the national character of the French does not so much model their character but the attitudes to himself. The device used by Fonvizin blends with the contemporary Western European tradition (Charles Pinot Duclos, Louis-Sebastien Mercier). There is also another reason for Fonvizin’s polemics — in the opinion of the author of the thesis, these are foreigners’ writings about Russia. This chapter also discusses the relation between the images of the narrator and the constructed addressee — the opponent who is located not only in Europe but also in Russia. When creating the image of the “Russian traveller”, the travelogue turns his perception on himself as a representative of the nation.

Karamzin, in his *Letters of a Russian Traveller*, places his reader into the same situation of the first encounter with Europe as the real travellers of Peter I’s time. The third chapter of the thesis “The “naive traveller” of Nikolay Karamzin and Fyodor Dostoevsky” observes how Karamzin models this situation through the image of the narrator who is presented as a *naive traveller*. In addition, the devices based on this image and determining the attitude of the text to the issue of Russia and Europe are analysed.

Letters of a Russian Traveller are penetrated by the traveller’s identity formation, either disguised or open, and all of it, as shown in the thesis, leads to the generalised “Russian traveller” as expressed in the heading. The organisation of the narrator’s voice in the text is inseparably linked to the issue of Russia and Europe. To reveal the specific features of Karamzin’s model, his text is juxtaposed in this chapter with the travels of his followers — Vladimir Izmailov, Pyotr Shalikov and Pyotr Makarov who directly apply Karamzin’s findings. The image of the “naive traveller” is expressed, first, in equating the narrator with the reader, second, in demonstrating the cognitive process through confrontation of various points of view (in the direct meaning of the word). Naivety as a characteristic of the traveller does not determine his view of Europe as a whole but of particulars and details which make up the mosaic of *Letters of a Russian Traveller*. This model, like the two previous ones, survives in travelogues for a very long time, being reflected in the composition of Dostoevsky’s *Winter Notes on Summer Impressions*. Here, it is used for polemics with Karamzin in the attitude, narration and the author’s position. This chapter demonstrates how, for Dostoevsky, appeal to Karamzin plays the role of a key to the model that he attempts to break.

In the opinion of the author of the thesis, for Karamzin, the generalised definition of “Russian traveller” gives the key role to the theme of language, translation of European culture, way of life and heritage, which becomes a continuation to the efforts of Peter I but without a break with the past. At the level of events, the “naive traveller” is shown as a subject of the cognitive process of reality, which, in conclusion, provides an enriched complex picture of the world.

As shown in the thesis, the model describing Russians' attitude to Europe, implies foregrounding both the narrator and the constructed *national character*. After Karamzin, who concentrated attention on the *Russian*, this turn was inevitable. The fourth chapter "Construction of national characters of Europeans and Russians in literary travels" studies how the main object of Russian travelogues changed after *Letters of a Russian Traveller*, and how one's own national character proved to be more interesting than the foreign. Two methods of construction are distinguished: literary game with metaphors and paradoxes and subjection of the description to the ideologeme. The latter of these varieties was common for both Russian and Western European travelogue traditions and developed in them simultaneously at the turn of the 19th century. Finally, the change in the model definitely had an influence on the reception of the travelogues written in the period when the earlier models predominated. This is viewed by describing the reception of Fonvizin's *Letters from France* in the 1830s by the narrow circle of participants in the literary process but also in reviews meant for the public at large. The collision of the two positions — orientation to the national soul or to the historical worldview — was reflected in the polemics on Fonvizin's book between Alexander Pushkin and Pyotr Vyazemsky. Vyazemsky treats the motif of "partiality" in Fonvizin's description of Europeans as a feature of original mind; Pushkin and, independently of him, Ivan Salayev as a feature of a historical document.

It is also observed how *Letters from France* became the material for reflecting about Russian vagabonds in Mikhail Zagoskin's story *Yearning for Homeland*, the protagonist of which undertakes his journey in the early 19th century.

The fifth chapter "“Russian Europeans” and “European Europe” in Dostoevsky's *Winter Notes on Summer Impressions*" develops and generalises the models discussed earlier. They are united in the image of the *Russian European*, in his function within the book. The figure of the Russian European, which develops in travel literature, is treated in the thesis differently than in the contemporary history of ideas and in philosophical study of literature. It is viewed as part of the subjective-objective organisation of the travelogue; it is demonstrated how Dostoevsky simultaneously strengthens and transforms this model. In *Winter Notes*, the signal speaking about construction is the use of literary images of others (for example, of Chatsky and other protagonists of Griboyedov's *Woe from Wit*) who become Dostoevsky's characters. The model of the Russian European in *Winter Notes* implies special communication between the Russian European and the simple folk on whose success, in Dostoevski's opinion, the future of the Russia depends. The use of the European context shows that *Winter Notes* was a belated but precise reply in the imaginary dialogue with Europeans who interpreted the attitude of Russia to Europe (primarily Astolphe de Custine). For Dostoevsky, Europe itself turns into a characterisation of the Russian European, and the treatment of the issue of Russia and Europe as formulated in this text is developed in the author's further works.

At the same time, as shown in the fifth chapter, the model of the Russian European sums up the development of those models in Russian travel writings

that were dealt with in the previous chapters of the thesis. From the model of “encounter with Europe”, follows the pragmatic component — the phenomena of European life are described for the purposes of internal development of Russia set by the Russians themselves. It is drawn closer to the model of disappointment expressed in *Letters from France* by the general tone of judgements and the accentuated folksiness of the language bordering on vulgarity. The “naive traveler” gave the “Russian European” the formula for contact with the reality. The works targeted to studying the national character reveal particular interest in self-determination.

The specific feature of the Russian travelogues viewed in the thesis dealing with the issue of Russia and Europe lies in the fact that they contain reflections not only about themselves but also on *how Russians relate to Europe*.

The observation of the model of Russians in Europe and these of its varieties which form the theme of the current thesis was carried out in historical and literary perspective, chronologically within each model. As a result, this made it possible to show that, within the framework of the selected chronological period, the model went through the main stages of evolution which were summed up in the book concluding the period — *Winter Notes on Summer Impressions*.

It is important to underscore another conclusion of the thesis. The narrator’s image in Fonvizin’s, Karamzin’s and Dostoevsky’s travelogues is directly related to the pragmatics of their creation, which forms its readership. For Fonvizin, it is discontented nobility, for Karamzin — the public who has received European education and for Dostoevsky — “Russian Europeans” provoked to polemics.

If the circle of texts were broadened, such books that have been actively studied lately like *A Journey to Arzrum* by Pushkin, *Frigate Pallada* by Ivan Goncharov, *A Year in Foreign Lands* by Mikhail Pogodin, travel notes of Nikolay Grech, Alexander Bestuzhev-Marlinsky, Yegor Rozen, Alexander Herzen, etc. might be discussed. In the current thesis, however, there was no attempt to create an all-embracing scheme; it was important to show the principle and the existing connections between the texts and the models presented in them. Undoubtedly, there are other models not mentioned in the thesis. Some are flexible and allow to include the image of *the other* and to work with them; the others are quite rigid and close Russia within itself. From the viewpoint of the author of the current thesis, the prospects for continuation of the theme are not related to broadening the selection of the texts under discussion but to searching for new models used in them and also, to switching to some other research perspective.

The research could also be continued by constructing the “Russian map of Europe”. The route provides the expectations from the journey by drawing up its structure. Different ideologemes are at work in journeys to the West and to the East, and for studying of concrete ideologemes, it is necessary to concentrate on texts with similar routes. For attitudes of Russia to Europe, travels to Western Europa are more significant than to the North or the East, but if a large corpus of travelogues is selected, separation of directions is inevitable.

Broadening of the chronological scope of the sample would hardly be necessary. The travel stories written before the 18th century describe religious pilgrimages. They have specific poetics and continue to exist along with secular texts throughout the whole Imperial period. Subsequently, already in the 20th century, the traveller in Russian literature is a Russian banished from the paradise, declassed and homeless. But the works addressing this image cannot be called travelogues or literary travels — the time meant for the latter fell into the period under discussion and ended approximately in the years of flourishing of the Russian novel.

CURRICULUM VITAE

АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ

Гражданство: Российская Федерация
Дата и место рождения: 2 января 1985, Ленинград
Адрес: 190020, Россия, Санкт-Петербург,
Рижский пр., д. 25, кв. 11
Эл. почта: an.solovjov@gmail.com
Языки: русский, английский

Образование

1992–2000 средняя школа № 221, Санкт-Петербург
2000–2002 Академическая гимназия, Санкт-Петербург
2002–2008 Санкт-Петербургский государственный университет
(филологический факультет)
2008–2011 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
аспирантура
2015–2022 Тартуский университет, докторантура, кафедра русской
литературы (экстерн)

Профессиональная деятельность

2007–2008 Государственный музей истории Санкт-Петербурга,
младший научный сотрудник
2009 Российская национальная библиотека,
библиотекарь II категории
2009–2010, 2018–... Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
научный сотрудник
2010– ... редактор журнала «Русская литература»

Профессиональное совершенствование

2017 дополнительная образовательная программа *Event in Literature, Arts, and Life, University of Tartu, 16–17 February*, участник

Научная деятельность

Область научных интересов: история русской литературы XVIII–XIX веков, литература путешествий, прагматика литературы. Участие в качестве исполнителя в пяти научных проектах ИРЛИ РАН. Опубликовано 45 работ, в том числе 12 в международных изданиях.

ELULOOKIRJELDUS

ANDREI SOLOVEV

Kodakondsus: Vene Föderatsioon
Sünniaeg ja koht: 2.01.1985, Leningrad
Aadress: 190020, Venemaa, Peterburi,
Rižski prospekt 25–11
E-post: an.solovjov@gmail.com
Keeleoskus: vene, inglise

Haridus

1992–2000 Peterburi keskkool nr 221
2000–2002 Peterburi Akadeemiline gümnaasium
2002–2008 Peterburi riiklik ülikool, filoloogia teaduskond
2008–2011 VTA Vene kirjanduse instituut (Puškini Maja), aspirantuur
2015–2022 Tartu ülikool, slavistika osakond, vene kirjanduse eriala (ekstern)

Teenistuskäik

2007–2008 Peterburi ajaloomuuseum, nooremteadur
2009 Venemaa Rahvusraamatukogu, teise kategooria raamatukoguhoidja
2009–2010, 2018–... VTA Vene kirjanduse instituut (Puškini Maja), teadur
2010– ... Ajakirja „Russkaja literatura“ toimetaja

Erialane enesetäiendus

2017 täiendõppekava *Event in Literature, Arts, and Life, University of Tartu, 16–17 February*, osaleja

Teadustegevus

Teaduslikud huvid: 18.–19. saj vene kirjandus, reisikirjandus, kirjanduse pragmaatika. Osalus täitjana viies VTA Vene kirjanduse instituudi teadusprojektides, avaldatud 45 tööd, sh 12 rahvusvahelistes väljaannetes.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

А. Соловьев. Встреча русского человека с Европой в путевых заметках петровского времени (А. А. Матвеев) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2022. Т. 19. № 3. С. 486–496 (*в печати*).

А. Соловьев. «Русские европейцы» в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского (проблема конструирования «национальной» характеристики) // Русская филология. 28: Сборник научных работ молодых филологов / Отв. ред. Т. Гузаиров, И. П. Кюльмоя. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. С. 62–76.

А. Соловьев. «Россиянин в Париже»: От критики нравов к проблеме национального характера // Русская филология. 31: Сборник научных работ молодых филологов / Отв. ред. Т. Степанищева, М. Григорьев. Тарту: Тартуский университет, 2020. С. 60–71.

А. Соловьев. «Наивный путешественник» у Н. М. Карамзина и Ф. М. Достоевского // Карамзин-писатель = Nikolai Karamzin écrivain: Коллективная монография / Под ред. Н. Д. Кочетковой, А. Ю. Веселовой, Р. Бодэна. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2018. С. 275–289.

А. Соловьев. Вклад Опояза в изучение русских литературных путешествий // Эйхенбаумовский сборник / Сост. и ред. К. В. Сарычева / Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей). М., 2020. С. 186–196.

А. Соловьев. “Frenchman! Frenchman!”: Национальные образы в «Письмах из Лондона» П. И. Макарова // Пространство безграничной словесности: Сборник статей к 70-летию В. Е. Багно. СПб.: Нестор-История, 2021. С. 406–418.

А. Соловьев. Русская литература путешествий в исследованиях последних лет // Русская литература. 2021. № 3. С. 254–262.

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS

1. **Юрий Кудрявцев.** Очерки по русской фонологии и морфонологии. Тарту, 1996. 157 с.
2. **Светлана Туровская.** Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект (на материале современного русского языка). Тарту, 1997. 136 с.
3. **Елена Погосян.** Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997. 158 с.
4. **Ирина Белобровцева.** Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997. 167 с.
5. **Светлана Кульюс.** Эзотерические коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998. 207 с.
6. **Леа Пильд.** Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы). Тарту, 1999. 136 с.
7. **Роман Лейбов.** «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. 143 с.
8. **Валентина Щаднева.** Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания. Тарту, 2000. 212 с.
9. **Александр Данилевский.** Поэтика «Повести о пустяках» Б. Темиряева (Юрия Анненкова). Тарту, 2000. 151 с.
10. **Татьяна Фрайман.** Творческая стратегия и поэтика Жуковского (1800 – первая половина 1820-х годов). Тарту, 2002. 165 с.
11. **Татьяна Троянова.** Антропоцентрическая метафора в русском и эстонском языках (на материале имен существительных). Тарту, 2003. 166 с.
12. **Елена Нымм.** Литературная позиция И. Ясинского (1890–90-е гг.). Тарту, 2003. 169 с.
13. **Эрика-Оксана Хааг.** Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. Тарту, 2004. 165 с.
14. **Вадим Семенов.** Иосиф Бродский в северной ссылке: поэтика автобиографизма. Тарту, 2004. 176 с.
15. **Роман Войтехович.** Психея в творчестве М. Цветаевой: Эволюция образа и сюжета. Тарту, 2005. 165 с.
16. **Анжелика Штейнгольд.** Отражение древнеславянских верований в русском лексиконе. Тарту, 2006. 202 с.
17. **Катрин Кару.** Уступительные конструкции в эстонском и русском языках. Тарту, 2006. 248 с.
18. **Оксана Паликова.** Двухязычный словарь и функционально значимые связи слова. Тарту, 2007. 139 с.

19. **Тимур Гузаиров.** Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. 156 с.
20. **Татьяна Кузовкина.** Феномен Булгарина: проблема литературной тактики. Тарту, 2007. 163 с.
21. **Ольга Бурдакова.** Имперфективация глаголов *v* продуктивного класса в современном русском языке. Тарту, 2008. 194 с.
22. **Ирина Абисогмян.** Становление чешской лексикографии в эпоху национального Возрождения: традиции и новаторство. Тарту, 2009. 200 с.
23. **Ирина Табакова.** Основные типы аббревиатур в современном польском языке (к специфике моделей производящих синтаксических структур). Тарту, 2009. 205 с.
24. **Дмитрий Иванов.** Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра. Тарту, 2009. 224 с.
25. **Инна Булкина.** Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное. Тарту, 2010. 213 с.
26. **Алексей Вдовин.** Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. Тарту, 2011. 238 с.
27. **Ольга Мусаева.** Рецепция творчества Федерико Гарсиа Лорки в русской культуре (1930–1960-е гг.). Тарту, 2011. 217 с.
28. **Мария Боровикова.** Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х – 1910-х годов). Тарту, 2011. 148 с.
29. **Ольга Ягинцева.** Этимологическое исследование некоторых диалектных названий предметов домашнего обихода. Тарту, 2014. 127 с.
30. **Ирина Рудик.** Русская тема в сборнике Марины Цветаевой «Версты, Стихи. Выпуск I (1922)». Тарту, 2014. 166 с.
31. **Елизавета Фомина.** Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева. Тарту, 2014. 150 с.
32. **Павел Успенский.** Творчество В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. – 1917 г.). Тарту, 2014. 214 с.
33. **Константин Поливанов.** «Доктор Живаго» как исторический роман. Тарту, 2015. 262 с.
34. **Сирье Купп-Сазонов.** О роли грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках). Тарту, 2015. 249 с.
35. **Андрей Федотов.** Русский театральный журнал в русском контексте 1840-х годов. Тарту, 2016. 178 с.
36. **Кристина Сарычева.** Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870-х – 1900-х гг. Тарту, 2016. 173 с.
37. **Алисия Чекада.** Теоретические основы составления двуязычного словаря: на примере польского и эстонского языков. Тарту, 2017. 131 с.
38. **Артем Шеля.** «Русская песня» в литературе 1800–1840-х гг. Тарту, 2018. 268 с.
39. **Александра Чабан.** Н. С. Гумилев — критик поэтов-символистов: динамика оценок и эволюция критического языка. Тарту, 2018. 183 с.

40. **Елена Вельман-Омелина.** Эстонско-русский перевод и развитие современной официально-деловой коммуникации: теоретический и практический аспекты. Тарту, 2018. 192 с.
41. **Ксения Филимонова.** Эволюция эстетических взглядов В. Шаламова и русский литературный процесс 1950-х – 70-х годов. Тарту, 2020. 159 с.
42. **Карина Новашевская.** А. А. Шаховской — идеолог русского национального театра. Тарту, 2020. 251 с.
43. **Анна Герасимова.** Проблема реального реципиента художественного текста: анализ современных читательских практик. Тарту, 2020. 199 с.
44. **Алексей Козлов.** Литературная репутация писателя-беллетриста: Н. Д. Ахшарумов в 1850–1880-е годы. Тарту, 2021. 242 с.
45. **Лариса Муковская.** Выражение количественности в имени в русском и эстонском языках. Тарту, 2021. 184 с.
46. **Александра Пахомова.** Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.). Тарту, 2021. 287 с.
47. **Мария Нестеренко.** Проблема женского литературного творчества в России в первой трети XIX в. Случай А. П. Буниной. Тарту, 2021. 218 с.